
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XV

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XV

6-ой год издания

НЬЮ-ИОРК

1947

Printed in the United States of America
by Grenich Printing Corp. 151 W. 25th St., New York 1, N. Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Б. Зайцев. — Путешествие Глеба	5
В. Набоков. — Кн. С. М. Качурину (Послание в стихах).....	81
В. Яновский. — Американский опыт	84
Р. Гуль. — Конь рыжий.	105

СТИХИ:

Д. Крачковского, Г. Раевского, Е. Таубер, Е. Шуваловой....	131
--	-----

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

А. Керенский. — О революции 1917 года.....	138
М. Вишняк. — Из 30-летнего далека.....	152
Н. Тимашев. — Три победителя или один?.....	171

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Ю. Денике. — Гамлет 1947.....	186
Н. Татищев. — Поэт в изгнании (Борис Поплавский).....	199
В. Коварская. — Пути живописи в современной России....	208

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

М. Коряков. — Панихида	213
В. Александрова. — Встреча с Европой.....	234
М. Добужинский. — Новгород (из воспоминаний детства)..	249
Б. Николаевский. — Советская каторга на Колыме.....	261
С. Шварц. — Ф. И. Дан.....	289

БИБЛИОГРАФИЯ:

В. Александрова. — «Темные аллеи» И. А. Бунина.....	295
М. Вишняк. — Книга Каутского о коммунизме.....	297
М. Карпович. — «Вторая Дума» В. А. Маклакова.....	299
Н. Тимашев. — Книга М. В. Вишняка о конвенции против антисемитизма	300
М. К. — «В тихом местечке Франции» М. А. Осоргина	301
Е. Извольская. — «Третий час» (Письмо в редакцию).....	302

ПУТЕШЕСТВІЕ ГЛѢБА*)

VI.

Отецъ правильно угадалъ будущее: ему въ Москвѣ все-таки не понравилось. При неодобрѣніи матери на второе-же лѣто сталъ онъ присматривать себѣ «монрэпо» — съ тѣмъ, чтобы бросить службу.

Смотрѣть имѣнія ѣздилъ одинъ, иногда съ Глѣбомъ. Въ одну изъ поѣздокъ такихъ забрались они въ глушь Тульской губерніи, отъ станціи далековато. Ъхали, ѡхали — Глѣбу казалось, послѣ ночи въ вагонѣ — Богъ знаетъ куда заѡхали: поля и лѣсочки, опять поля, деревеньки... Все что то среднее, отчасти и миловидное, но не нарядное.

Хуторокъ помѣщика Кноррера стоялъ на юру, въ полѣ. Молодой фруктовый садъ вокругъ, — хозяинъ тоже молодой, чернобровый, въ рейтузахъ и дворянской фуражкѣ, вокругъ гончія, въ домикѣ безпорядокъ. Ружья, рога и табакъ суть основа жилья этого.

Кнорреръ ждалъ ихъ. Весело сѣлъ въ дрожки, повезъ осматривать Прошино. «Значить, сосѣдями будемъ? Вы тоже охотникъ? Ну, да охота у насъ неважнецкая. Зайчишки, а по перу совсѣмъ плохо».

Пока къ Прошину этому ѡхали, налетѣлъ дождь, свѣтлый, скорый, блеснулъ сквозь солнце каплями летящими да и умчался, все славно осребрилъ, пыль примялъ на дорогѣ. Ржи вдвое заблагоухали, такъ и ходили сѣрозелеными волнами вокругъ кнорреровскихъ дрожекъ, тарантаса отцова.

*) См. 12-ую, 13-ую и 14-ую книги «Нового Журнала».

Мысокъ рощи завидѣлся изъ за бугра, верхушки березъ — Прошино. Ну, какъ скудно! Косогоръ какой-то, тамъ ниже, по склону, очевидно усадьба.

Миновали березы по канавкѣ, проѣхали мимо флигеля, подѣ уклонъ влѣво къ дому, довольно скромному: одноэтажный, обшить красноватымъ тесомъ. У подѣзда ждалъ молодой человѣкъ, типа управляющаго. Снявъ картузь, обнаружилъ лысину, почтительно поклонился.

Въ домѣ все ветхое, давно не жили. Мебели мало. Слегка затхло и сыровато, и грустно. Распахнули стеклянную дверь на балконъ — полуживой, перильца шатучія, половицы чуть держатся, но навстрѣчу кинулся такой кустъ цвѣтущаго жасмина, въ такой роскоши бѣло-золотистаго оперенія, въ капляхъ сіяющихъ, свѣтоносныхъ, въ такомъ благовоніи — голова кружится. «Это имѣннице давно безъ хозяина», сказалъ Кнорреръ. «Видите, какъ все заросло».

Заросло фантастически! Предъ балкономъ лужайка — запущенный лугъ. На него затесались даже побѣги тополей сосѣднихъ. Все спутано, но все цвѣтетъ, благоухаетъ, сіяетъ въ искрахъ подъ солнцемъ, все радость и хвала Божія.

Шатучею лѣсенкой внизъ спустились, лужайку перестѣкли, мимо старыхъ липъ. Прудъ тоже очарованный, дымно-зеркальный, съ водяными комариками по ртути водѣ, съ мелкими всплесками рыбешекъ. Тамъ ниже яблоневый садъ, еще прудокъ, все задичавшее, все въ тишинѣ и сіяніи послѣ дождя. Отецъ посмотрѣлъ на Глѣба. «Ну, нравится?» Глѣбъ былъ взволнованъ. Вотъ тебѣ и убогій косогоръ! Глухо онъ отвѣтилъ: «Очень». «Да, братецъ ты мой, мнѣ тоже!»

Осмотрѣвши усадьбу вернулись. Жена управляющаго накрывала уже во флигелѣ — лысый Инниховъ принесъ водочки. И яичница на сковородѣ, щи, пѣтухъ престарѣлый — все въ сопровожденіи національной нашей славы: «чи-икъ! По единой, ваше здоровье!» — все развивалось естественнo, при жужжаніи мухъ, нѣжномъ вѣяніи іюньскомъ изъ окна.

Водочка благотворно дѣйствуетъ и на отца и на Кноррера. Начинаются охотничьи рассказы. Глѣбъ все это знаетъ, всѣ

отцовы прибаутки, и веселый его хохотъ надъ воображаемымъ русскимъ нѣмцемъ, языкомъ его («Онъ бѣгу-иль, я стрѣлу-иль — съ дробами!» и т. п.). Извѣстна и ближайшая программа: отецъ начнетъ называть Кноррера «кумомъ», потомъ ляжетъ вздремнуть, потомъ пойдутъ межи осматривать, свѣрять землю съ планомъ.

Глѣбъ подъ шумокъ вышел. Около людской, налѣво, Инниховъ разговаривалъ съ двумя тощими типами — длинныя палки у нихъ въ рукахъ, за спиною котомки. Запыленные лица, спутанныя бороденки, рубахи въ заплаткахъ. Нѣчто смиренно-покорное и усталое.

Вотъ отошли они, сѣли на лавочку, вынули по ломтю хлѣба, стали жевать. Медленно, какъ-бы съ вѣковой утомленностью. «Кто это?» спросилъ Глѣбъ Иннихова. «А такъ, баринъ, мордва... Работки нѣтъ-ли, спрашивают. Мордвины, значить. Издалеча. На работку набиваются. Да намъ не для ча. Ежели папаша купятъ, хозяйство заведут, а у насъ тутъ дѣловъ никакихъ нѣтъ, только что съ супругой караулимъ усадьбу». Глѣбъ вздохнулъ, почему-то взглянулъ въ небо. Инниховъ на него посмотрѣлъ — взоромъ этихъ сараевъ, людскихъ, конюшенъ. «Имѣньице, если въ порядокъ привести, золотое дно. Пусть папаша рѣшаются».

Глѣбъ опять пошелъ мимо дома, жасмина, двухъ прудовъ внизъ по склону сада — вновь любовался и волновался сказочнымъ оцѣпенѣніемъ этихъ краевъ. Солнце обсушило теперь влагу. Тропинкой черезъ кусты акацій — изгородь сада фруктового — спустился къ рѣчкѣ. Сладко, мучительно-нѣжно пахло пригрѣтою луговою травой. Тотъ-же песочекъ прибрежный, поблескивающая вода, легонькая трясогузка... — все это ужъ онъ зналъ, въ этомъ росъ съ лѣтъ младенчества и не было все же конца очарованью простодушной рѣки съ лознякомъ полуплывущимъ въ ней, медленно вьющимися, по теченью, бархатно-зеленѣющими подводными травами, скользящими какъ угри, со стайкою мелкихъ гольцовъ подъ золотой рябью солнца. Да будетъ благословенно имя Господне!

На той сторонѣ прошелъ рощей березовой — всегдашняя

дѣвическая чистота! — поднялся въ поле. Отсюда Прошино казалось зелено-кудрявой чашей. Далекій видъ открылся на поля въ блескъ солнца, на взгорья, лѣса. Прямо внизу, но въ другой сторонѣ, сѣрѣла деревянная колокольня. Это Поповка, село и ближайшая церковь, онъ вспомнилъ, что видѣлъ ее, когда подѣзжали.

Глѣбъ сѣлъ на междѣ, у опушки, въ тѣни березъ, нѣжно за нимъ струившихся. Ему нравилось, что вотъ это его страна, его солнце, небо, свѣтъ, воздухъ, все такое, о чемъ можетъ онъ и долженъ сказать. Волненіе продолжалось. Да, это поэтическое волненіе. Пусть Инниковъ разсуждаетъ о коровахъ. Онъ, Глѣбъ, для другого. Такъ было, такъ будетъ.

Внизу, слѣва, междѣ сѣрозеленыхъ ржей появились на тропкѣ двѣ фигуры. Медленно они подвигались. Рыжеватая бороденки, въ рукахъ длинныя палки, за плечами котомки. Ржи точно передъ ними раздвигались. Потомъ вновь смыкались, въ серебристыхъ волнахъ. Глѣбу нравилось смотрѣть на мордвиновъ этихъ, мирно среди ржей шагавшихъ, съ ними будто сливавшихся. Онъ полузакрывъ глаза. А можетъ, они ржами и порождены? Вонъ шагаютъ, и все дальше, ржи все загребаютъ, все ихъ поглощаютъ. Изъ ржей вышли и во ржахъ потонули.

Онъ вернулся возбужденный, острый, точно наполненный. Отецъ кончилъ ужъ осмотръ хозяйства. Говорилъ теперь съ Кнорреромъ. «Ну, покупаемъ?» сказалъ Глѣбу вполголоса, сядясь на тарантасъ. «Покупаемъ, конечно».

.

Посѣвы, пахота, работники, поденныя, покось, уборка, цѣлый круговоротъ земли, съ хлопотами и заботами, волненіемъ отъ заходящей тучи, огорченіемъ когда нѣтъ дождя, боязнь раннихъ холодовъ весеннихъ, для садовъ опасныхъ — все это жизнь деревни. Отецъ бросилъ Москву. Ѣздилъ теперь по полямъ тульскимъ на дрожкахъ, сердился на Инникова, выставлялъ водку косарямъ, училъ кучеровъ обѣзжать молодую лошадь — занятіе занятное. Мать вѣдала цвѣтникомъ, огородамъ, амбарами. Во все это Глѣбъ вклинивался инороднымъ

тѣломъ. Изъ Москвы прїѣзжалъ и зимой, лѣтомъ подолгу жилъ, у себя во флигелѣ, жилъ и жилъ, былъ еще одинъ, и часто ему казалось, что вотъ въ Прошинѣ этомъ хоть и милая усадьба, пруды, садъ, а всетаки скучно. Благодати-же этого житія деревенскаго, напоющей силы Россіи, приволья ея и свободы еще не понималъ, не цѣнилъ — въ этомъ съ Устовъ росъ. «Такъ и надо». Другого не зналъ.

Землю, поля, мужиковъ принималъ родственно, душою и поэтически, но съ огромнаго разстоянія. Да, родина. Но насколько иной міръ, хоть и отдѣленный всего огородомъ. Времена Савосекъ, Масетокъ, дѣтской общительности отошли. Владиміръ Соловьевъ, греческая скульптура, переписка Флобера... Мужики, бабы, дѣвки... — въ чемъ то родное и милое, но и далекое. Онъ ихъ стѣснялся. Частью — даже робѣлъ. Станный онъ въ ихъ глазахъ, «чуждой».

Всетаки, на покосъ иногда выходилъ. Навивалъ съ дѣвками воза сѣна, хохоталъ съ ними, валялся на копнахъ, бѣглые поцѣлуи проносились легко да и незамѣтно, среди вѣчныхъ шалостей, возбужденія, подъема и радости русского покоса. Кареглазая Паша, крупная и свѣжая, вся благоволеніе и сила полей нашихъ, ему даже нравилась. Раза два онъ ее провожалъ на зарѣ до ригъ, тамъ среди ржей дружелюбно они цѣловались. Но все это скользило, летѣло, оставляя слѣдъ лишь мгновенный.

Настоящее, чѣмъ онъ жилъ, было внутреннее — писаніе, исканіе. Онъ много работалъ у себя во флигелѣ. Днемъ самъ писалъ, ночью читалъ. До разсвѣта иной разъ горѣла лампа и его можно было принять за чернокнижника. Но скорѣе онъ былъ бѣлокнижникъ. Соловьевъ проводилъ по высотамъ — Богъ, человѣкъ, міровая душа, ходъ Вселенной. Ужъ не Глѣбъ простодушной Калуги, о. Парфенія подходилъ къ вѣчнымъ тайнамъ, а молодой писатель начинающейся новой эпохи русской. Голосу русской души и поэзіи надлежало издать свой звукъ, отличный отъ прежняго. Но и самой душѣ надлежало опредѣлиться. Это не сразу давалось. Богъ, Вѣчность, безсмертіе мучили. Соловьевъ раздвигалъ нѣчто, стройный и вели-

чавый, многоводный и гармоническій. Глѣбъ уходилъ въ него съ возбужденіемъ, страстью молодости. Міръ и движеніе его восхищали. Все-же надо было на чемъ-то остановиться, имѣть и свой взглядъ. Онъ колебался, нерѣдко томился, изнемогалъ. Но рѣка уносила его, свѣтлая и многоводная, все дальше и дальше отъ безысходности отрочества.

Противъ такой жизни Глѣба мать ничего не имѣла. Правда, слишкомъ много съ книгами, но такой ужъ былъ съ дѣтства, Herr Professor. А теперь, разъ литературой занялся, такъ еще и понятнѣе. Съ родителями милъ, какъ всегда замкнутъ и нѣсколько отдаленъ, но ужъ это его характеръ. И свою роль мать понимала такъ, чтобы къ полудню, когда сыночка соблаговолить встать, кофе ему на балконъ подали-бы горячее, и со сливками, и по возможности оттянуть обѣдъ, чтобы къ цыплятамъ онъ успѣлъ проголодаться. Чтобы къ обѣду, ужину было то, что онъ любить. Чтобы во флигелѣ у него былъ порядокъ, чтобы его верхового конька не брали на работу.

На второе лѣто, однако, многое измѣнилось. По внѣшности будто и то-же: Глѣбъ перешелъ на слѣдующій курсъ, пріѣхалъ въ той-же студенческой тужуркѣ и фуражкѣ съ голубымъ околошемъ, былъ такой-же худошавый и остроугольный, но такой да и не такой.

Какъ и въ прошломъ году мать до трехъ, четырехъ часовъ видѣла наискосокъ, со своей постели чрезъ поповскій садикъ свѣтъ въ окнѣ флигеля: Глѣбъ занимается. Косари, мѣрно позвякивали косами, побрякивая брусками, проходили по утренней росѣ въ Салтыково, а онъ растворялъ окно, смотрѣлъ на любимую яблоню аркадъ черезъ дорогу, на ракиту, подъ которой любилъ сидѣть. Все это и раньше было. Но теперь сталъ онъ нервнѣе и порывистѣе, еще замкнутѣй, иногда вдругъ раздражался или впадалъ въ возбужденіе, много писалъ, потомъ рвалъ. Ждалъ писемъ, много самъ отправлялъ ихъ. Видимо, падалъ духомъ, когда чего-то не получалъ. Усвоилъ привычку забирать ружье, уходить в лѣсъ. Нравилось переходить черезъ Апань, забираться в осинникъ по взгорью, сидѣть, лежать тамъ, воображая себя лейтенантомъ Гланомъ гам-

сунова «Пана», слушать — въ воображеніи — «первую желѣзную ночь, вторую желѣзную ночь», наблюдать ходъ облаковъ, полетъ ястребовъ — ихъ иногда онъ и стрѣлялъ. А потомъ вдругъ мучительно въ Прошинѣ становилось скучно. Глѣбъ впадалъ въ уныніе и замолкалъ. Лунатически вокругъ комнаты не ходилъ, но къ обѣду являлся хмурый, точно въ тучѣ.

«Что это съ нимъ такое?» спрашивалъ отецъ у матери, потягивая пиво. «Обидѣлся на чтонибудь?» «Ничего не обидѣлся, просто такое расположеніе духа». Отецъ качалъ головой. «Книжные люди... книжные люди. Онъ бы чтонибудь полезное сдѣлалъ, за уборкой-бы понаблюдалъ». Тогда мать, недовольно: «За уборкой можетъ и твой Инниковъ понаблюдать». «Инниковъ такой-же мой, какъ и твой. Да я всегда думалъ, что онъ болванъ. Такъ и оказалось». «А если болванъ, такъ зачѣмъ-же ты его держишь?»

Отецъ отмахивался съ такимъ видомъ, что спорить все равно нечего. И подперевъ рукой голову, поникалъ надъ очереднымъ стаканомъ пива, послѣ котораго, вмѣсто того, чтобы ссориться съ матерью, самое разумное отправиться на боковую: что онъ и дѣлалъ, какъ нѣкогда въ Устахъ, Людиновѣ.

На слѣдующій день Глѣбъ выходитъ какъ всегда къ кофе на балконъ около двѣнадцати. Отецъ давно все отпилъ, что слѣдуетъ. Но сидитъ за столомъ, читаетъ. Когда Глѣбъ появляется, то закладываетъ страницу спичкой, чтобы не забыть, гдѣ остановился: память плохая стала.

Глѣбъ, по привычкѣ дѣтства, цѣлуетъ его въ лобъ. «Что поднялся спозаранку, ангелъ?» говоритъ отецъ. «Или спалъ плохо?» Глѣбъ хмуръ. «Нѣтъ, ничего. Я вѣдь поздно ложусь». «Знаю, знаю. И не одобряю. Вредно для здоровья. Отказать».

Глѣбъ молча наливаетъ себѣ кофе. Жарко. Балконъ этотъ хоть и крытый и выходитъ на сѣверъ, а и на немъ душно.

— Читаю, братъ, Щедрина. Вотъ это писатель! Не то что твой Андрей Бѣлый.

Глѣбъ тянется, чтобы отрѣзать хлѣбъ, и задѣваетъ рукавомъ спичку въ книгу.

— Э-э, нѣтъ, братецъ ты мой, ты мнѣ закладку не сдвигай, а то придется съ начала читать, забуду гдѣ остановился.

— А я нынче въ Москву собираюсь, неожиданно говоритъ Глѣбъ.

Отецъ поправляетъ закладку, успокаивается. Изъ того-же кожаного портсигара, что еще въ Устахъ носилъ, вынимаетъ новую папироску.

— По что ѣдешь?

— Такъ... надо-. По дѣламъ.

Отецъ закуриваетъ. По дѣламъ! Въ самый покось и вдругъ дѣла такія. Каждая лошадь, каждый человѣкъ на счету, а ему въ Москву...

Изъ за березъ надъ ригами выѣзжаютъ два воза съ сѣномъ, медленно двигаются къ сараямъ. Отецъ встаетъ, грузно приклоняется къ периламъ. Малый, ведущій за недоуздокъ переднюю лошадь, останавливается предъ сараемъ. «Изъ Салтыкова сѣно?» кричитъ отецъ. «Изъ Салтыкова». «Ты куда-же его прешь?» «Иконниковъ въ этотъ сарай велѣлъ?... «А я твоему Инникову ноги повыдергаю... матери его чортъ! Что же вы мнѣ его сгноить, что-ли, собираетесь? Изъ Салтыкова! Сейчасъ-же разваливай, здѣсь, и пускай дѣвки растрясуть... сырое сѣно въ сарай!» Отецъ вовсе разстроенъ. Хотѣлъ-бы сочувствія сына — сырое сѣно въ сарай! — но тотъ равнодушенъ. Чепуха всѣ эти покосы, копны и растряски. Отецъ оборачивается къ Глѣбу. «Вотъ лучше бы посмотрѣлъ, какъ они его растрясуть, или самъ-бы помогъ». Глѣбъ невозмутимо пьетъ кофе съ ледянымъ масломъ. Никуда онъ не пойдетъ кромѣ флигеля. Все будетъ какъ всегда. Отецъ покипятится, прогоритъ и опять возьмется за Щедрина. А Глѣбъ во флигель отправится, дочитывать о милетской скульптурѣ. Въ затянутыя отъ мухъ сѣтками окна чуть чуть будетъ тянуть вѣтерокъ. Душно! А за обѣдомъ опять цыплята, опять отецъ будетъ ворчать, опять жара. Что дѣлаетъ теперь въ Москвѣ Элли? Ахъ, всѣ эти исторіи съ разговоромъ, какъ тягостно! Глѣбъ ѣстъ цыпленка и отсутствуетъ. Мать непокойна. Почему отсутствуетъ?

Можно себя утѣшать тѣмъ, что вѣдь онъ Глѣбъ, Негг

Professor, со странностями. Безпокойство-же остается. Что онъ въ Москву ѣдетъ, она уже знаетъ. По литературнымъ дѣламъ... по однимъ-ли литературнымъ? Да, но во всякомъ случаѣ, если онъ ѣдетъ, то долженъ ѣхать съ удобствомъ. «Никаноръ, чтобы къ вечеру коляску готовилъ, тройкой». Дѣвушка Поля почтительно слушаетъ. (Глѣба въ столовой уже нѣтъ).

«Тройкой въ коляскѣ?» Отецъ подымаетъ голову, полусонно, отъ своего пива. «Въ самый покось!» Поля уходитъ. «Не на палочкѣ-же верхомъ ему ѣхать». Отецъ качаетъ головой и впадаетъ въ безнадежность.

Термометръ показываетъ 27 въ тѣни, по Реомюру. Собаки лежатъ на боку, высунувъ языки. Во флигелѣ Глѣба жарко. Забравъ мохнатую простыню онъ идетъ купаться мимо двухъ своихъ прудовъ внизъ на Абрань. Жара и блаженный духъ пригрѣтой травы и песочка, и трясогузки, и прохладная тѣма — зеркало воды, куда радостно погрузить изомлѣвшее тѣло, все какъ въ дѣтствѣ, все что въ природѣ, стихіи — вѣчность, и самъ онъ конечно, вѣчность, но течетъ и мѣняется и въ зеркальных струи сейчасъ не тотъ Глѣбъ входитъ, какъ нѣкогда въ воды Жиздры. Неужели все такъ-же нервничаетъ, мучится изъ за развода и мужа Элли? Непремѣнно надо ее повидать. А въ Москвѣ-ли она? Можетъ быть, укатила ужъ въ Угличъ этотъ или подѣ Новгородъ, всюду у ней друзья, тетки какія-то, и что въ голову ни придетъ, то она въ мигъ и сдѣлаетъ. Да, не станетъ раздумывать.

Пока Глѣбъ купается, за Прошинымъ вырастаетъ туча. Ахъ, скорѣй! Надо спѣшить. Онъ одѣвается освѣженный и бодрый. Пора, пора! Черезъ садъ, съ полотенцемъ на плечѣ. Только успѣлъ добѣжать, трахнуло, разорвалось и ударили первыя капли. А потомъ двинуло. Понесло бѣлою дождевою стѣной, дымящейся и шуршащей. Отецъ на крытомъ своемъ балконѣ, послѣ дневного сна, оказался отрѣзаннымъ. Сѣно, по его приказу утромъ предъ сараями разваленное, такъ и не собрали, такъ и не успѣли. «Ахъ, анафемскія души!»... Дождь молотитъ по рядамъ какъ хочетъ и какъ хочетъ по толевой крышѣ балкона, кое-гдѣ протекающей. Отецъ, чтобы не на-

мокнуть, долженъ придвинуть столъ къ самой стѣнѣ и туда прижаться. Ну, да такой ливень и вообще забиваетъ полбалкона.

* * * * *

Въ вечерній часъ, послѣ дождя, во влажномъ благоуханіи гречихъ и ржей, при фантастически-громоздкихъ облакахъ, раскинувшихся надъ закатомъ, при первой звѣздочкѣ на сѣверѣ Глѣбъ трогается на станцію. Беззвучно плыветъ луна надъ ржами, шлепаютъ копыта, мѣрно колыхается коляска.

Міръ деревенскій, простой, земледѣльческій проходитъ полу-призракомъ, милымъ, привычнымъ — близкимъ и дальнимъ. Вотъ онъ вокругъ въ угасающемъ сіяніи зари, всѣ эти поля, риги, сажалки и деревушки съ первымъ огонькомъ въ избѣ, дѣтишками на улицѣ, блеяніемъ овецъ, мычаніемъ коровы: все свое, а отъ него бѣжитъ онъ, чрезъ огни станціи и небыстрый бѣгъ поѣзда къ столицѣ, новому и живому для него.

Уѣхала-ли уже Элли въ Угличъ? Какъ она? Нѣтъ, безъ нея невозможно.

И пока кучеръ шажкомъ возвращается домой, Глѣбъ катитъ въ Москву, навстрѣчу жизни своей и молодости и того, въ чемъ захлебывается человѣкъ и безъ чего жить не можетъ. Сколько-бы ни ворчалъ отецъ, поражаясь странностямъ «городскихъ» людей, какъ-бы мать ни вздыхала, подозревая гдѣ-то вблизи «авантюрьерку», чаша предложена и не старости отклонить ее. Глѣбъ съѣздитъ въ Москву, повидаетъ Элли въ квартиркѣ ея на Кисловкѣ гдѣ все — легкій и быстрый, шумно-изящный беспорядокъ, какъ и сама хозяйка съ вѣчно развивающимися локонами волосъ. Побѣгаетъ съ нею по бульварамъ, проводитъ на дачу къ какой-нибудь тетѣ Лоттѣ, выясняетъ сколь нужно отношенія. Узнаетъ, какъ дѣла по разводу, какое кольцо закладываетъ она, какъ съ осени думаетъ снять квартиру и сдавать въ ней комнаты, а впрочемъ, возможно, уѣдетъ еще къ подругѣ подъ Новгородъ. А можетъ... — въ остролицей головѣ съ большимъ опоясывающимъ ртомъ, нервными зеленоватыми глазами, легкими, нѣжно-беспомощ-

ными волосами, отъ которыхъ идетъ тепло и свѣтъ и слабый запахъ духовъ, все возможно: смѣхъ, радость, отчаяніе — ничего неизвѣстно заранѣе, все Божій даръ, щедрость, стихія, мечущая направо, налево. Корень глубоко-русскій, прививка Италіи и Германіи, родительскій домъ у Ильи Пророка на Земляномъ валу, раннее и неудачное замужество, бѣгство и послѣ богатаго круга богема, гдѣ впервые нѣкто Сандро далъ прочесть Гамсуна. И Художественный театръ, Чеховъ, Ибсенъ. «Когда мы мертвые пробуждаемся» (въ полупустомъ залѣ Элли, въ огромной своей черной шляпѣ, синемъ суконномъ платьѣ въ талію, изступленно хлопаютъ пьесъ). Люди серьезные могутъ считать ее истеричкой. Люди богемы любятъ. Такова Елена Москвы, Элли изъ дома Ильи Пророка, путница встрѣченная на перепутьѣ. И если Глѣбъ вновь уѣзжаетъ въ деревню, это значитъ только, что отца и мать ждутъ тамъ новыя неожиданности.

Заявляется, напримѣръ: необходимо съѣздить въ Петербургъ и Финляндію. Отецъ покряхтываетъ. «Тебѣ что-же, денегъ съ собою надо?» «Нѣтъ, благодарю. Деньги есть, я авансъ взялъ въ журналѣ». И опять загадочное молчаніе. Если что и удастся узнать, это что надо повидать водопадъ Иматру. «Необходимо», думаетъ отецъ, попивая пиво. «Безъ Иматры не обойтись. Никакъ безъ Иматры не проживешь». Но если попробуетъ острить и задѣвать Глѣба предъ матерью, отпоръ тотчасъ-же возникаетъ. «Не понимаю, что-же тутъ страннаго. Не сидѣть-же сыночкѣ вѣчно съ тобой и мною. Ему впечатлѣнія нужны, чтобы писать». И передъ сыночкинымъ отъѣздомъ, обнимая его, мать суетъ ему полношекую Екатерину съ тоненькой подписью (подъ Кредитной канцеляріей): «Э. Плеске». Глѣбъ будто и отбодрявается, потомъ все-же беретъ. Что-то Екатерина да значить, въ пути невредно.

И вотъ онъ далеко, въ томъ Петербургѣ, гдѣ нѣкогда мать слушала Сѣченова, читала стихи Некрасова, гдѣ отецъ былъ худенькимъ, тихимъ студентомъ Горнаго Института — счастливые дни Васильевского острова, маленькой квартирки, дружной и любовной жизни. А теперь отъ Глѣба иногда открытка:

куполь Исаакія, бѣлая пѣна водопада средь лѣсовъ. Съ кѣмъ онъ? Что дѣлаетъ? О, не одинъ, въ этомъ она увѣрена. Это жизнь, это законъ.

Но осенью, наблюдая какъ ссыпаютъ въ амбаръ зерно изъ подъ вѣялки, не объ одномъ Глѣбѣ думаетъ мать. Лиза выходитъ замужъ — конецъ длинной исторіи. Артюша кончаетъ Университетъ, съ осени врачъ. Тоже новая жизнь. Разумѣется, къ этому давно шло, возражать не приходится, все-таки... хотѣлось не такъ. Не такого мужа. Какого? Можетъ быть, всякій бы не понравился, но «другого» она не знаетъ, а ужъ Артюша со своими усами хохлацкими, словечками и дубинкой, тюрьмой нѣжинской... «Будетъ гдѣ-нибудь земскимъ врачомъ въ дырѣ, вотъ тебѣ Лизѣ и Консерваторія, Бетховены». Правда, что Лиза слабенькая, трудно ей въ Консерваторіи — все-таки...

Такъ проходила для нея эта осень, одна изъ многихъ осеней ея жизни — въ прохладныхъ, серебристыхъ тонахъ сентября.

Глѣбъ-же въ Прошино не вернулся, прямо въ Москву проѣхалъ, писалъ рѣдко, таился тамъ, жилъ жизнью матери неизвѣстной. Ну, если-бы еще это была та, «судейская дѣвушка», изъ хорошей семьи. Но о Лерѣ давно и помину не было, да и отца ея, кажется, перевели въ Петербургъ. Нѣтъ, изъ поѣздки подѣ Смоленскъ ничего не вышло.

Чувствовалъ Глѣбъ родителей или не чувствовалъ, понималъ или не понималъ, но однажды предъ Рождествомъ въ Прошинѣ получили телеграмму: «Будемъ четвергъ». Отецъ отнесся философически: лошади свободны, Глѣба онъ всегда радъ видѣть. «Навѣрно изъ товарищей кто нибудь съ нимъ». Мать промолчала. Приказала Полѣ приготовить молодому барину во флигелѣ, а товарищу его рядомъ въ комнатѣ. Да какъ слѣдуетъ протопить.

Утромъ, когда отецъ всталъ, морозило. Солнце огненно-краснымъ дискомъ всползло за липами. Отецъ пилъ чай въ столовой, глядѣлъ на запущенный снѣгомъ садъ.

— Доху-то ангелу выслали-ль? спросилъ мать, когда она вышла къ самовару.

— Ахъ да, ну конечно...

Странно такія вещи и спрашивать. Но отцу хочется поговорить. «И валенки?» «И валенки». «А тулупъ товарищу его?» Мать вздохнула, сдержалась. «И тулупъ». Отецъ успокоился, сталъ соображать, когда они могутъ пріѣхать. Выходило, около десяти. И свой чай, перемежающійся съ папиросами, онъ тянулъ медленно: одновременно читалъ «Пикквикский клубъ» и временами хохоталъ такъ, что глаза наливались слезами. Онъ ихъ вытиралъ платкомъ и продолжалъ.

Въ одиннадцатомъ у подъѣзда раздался скрипъ саней. Поля выскочила чрезъ сѣнца въ «фонарь», хлопнула дверь. Послышались голоса, глухой шумъ. Понемногу онъ приближался, наконецъ, отворилась дверь въ теплую прихожую. Глѣбова доха впередъ ввалилась, за ней черный тулупъ съ поднятымъ воротникомъ. Въ дохѣ кто-то барахтался и хохоталъ, высвобождаясь изъ подъ платка, которымъ голова въ шапочкѣ была повязана. «Нѣтъ, не замерзла... ухъ, сейчасъ упаду, не привыкла въ такихъ шубахъ...» и доха опустила на сундукъ. «Глѣбъ, снимайте съ меня валенки, я какъ чурбанъ, сама ничего не могу»... Черный романовскій тулупъ легко соскочилъ Полъ на руки. Подъ нимъ оказался Глѣбъ въ обычномъ студенческомъ пальто, съ намерзлымъ лицомъ, но живой и улыбающійся. Онъ слегка смущаясь сталъ снимать съ дохи на сундукъ валенки — изъ нихъ выглянули длинныя, тонкія ножки въ легенькихъ чулкахъ. Платокъ теплый на головѣ тоже размотался — обнаружилъ острое, веселое женское лицо, кой гдѣ въ веснушкахъ, все сіявшее смѣхомъ, свѣтомъ, со спутанными легкими волосами на головѣ. Глѣбъ обнялъ стоявшую въ дверяхъ мать.

— Мама, вотъ позволь тебя познакомить съ Еленой Александровной... Я хотѣлъ, чтобы она немного отдохнула у насъ.

Элли поднялась съ сундука, оказалась статной, съ гибкой таліей молодой дамой. Улыбаясь, протянула матери руку. «Очень рада... ахъ, мы такъ чудесно ѣхали, вы и представить

себѣ не можете... ну, замѣчательно! Морозъ, сани въ раскатъ, воздухъ... роскошь какая!»

Мать поздоровалась съ ней вѣжливо, но сдержанно. Отецъ смотрѣлъ съ любопытствомъ.

— Вамъ навѣрно надо умыться, привести себя съ дороги въ порядокъ, сказала мать, глядя какъ она поправляетъ свои локоны.

— Да, благодарю васъ, если можно.

Мать провела ее въ скромную свою комнатку. Элли смѣялась, возбужденно рассказывала, какъ они ѣхали на лошадяхъ и на каждомъ словѣ прибавляла: «Чудно! это было чудно!» Мать была покойна. Вынимая изъ комода чистое полотенце, показывая гдѣ мыло, все время ее разсматривала. Нѣтъ, это не «гусыня» Гаврикова переулка, и не Лера. Это, разумѣется, «она».

— Комната ваша будетъ рядомъ съ моею. Иногда Глѣбъ въ ней живетъ, когда очень сильныя мятели и ему неудобно идти во флигель.

Она отворила дверь въ небольшой кабинетъ. Надъ турецкимъ диваномъ висѣли рога, на нихъ ружье, патронташъ. Стѣну завѣшивалъ коверъ, довольно пестрый. Медвѣжья шкура на полу. Окно, предъ которымъ стоялъ столъ, выходило въ садъ, на балконъ. Тамъ снѣжный міръ, отъ него бѣловатый отсвѣтъ по всей комнатѣ, свѣтлый отблескъ на изразцахъ печи голландской, дышавшей глянцемъ, тепломъ.

— Ну, какая прелесть! Зима, тишина! Я такъ рада, что сюда пріѣхала. Благодарю васъ!

И Элли вдругъ вдругъ обняла мать, горячо ее поцѣловала.

— Я и увѣрена была, что у васъ тутъ все прекрасно.

Мать слегка улыбнулась.

— У насъ самый обыкновенный домъ.

— А мнѣ ужасно нравится.

— Ну, тѣмъ и лучше.

Элли стала вынимать нужное изъ саквояжика, раскладывать туалетныя вещицы. Глѣбъ принесъ чемоданъ.

— И мы ждемъ васъ кофе пить, сказала мать уходя.

Элли занялась мелкими женскими дѣлами, водворяя въ мужскую эту комнату с запахомъ охоты и медвѣжьей шкуры свой міръ: всѣ ея воротнички и кофточки, платья, гребенки, духи мигомъ столпились въ оживленный беспорядокъ, будто-бы и безтолковый, но живой, благоуханный.

Такъ начался для Элли новый день новаго бытія. Она ѣхала сюда съ нѣкоторымъ опасеніемъ: кто она? что? почему? Собственно, Глѣбъ ее пригласилъ. Ни она родителей, ни родители ее вовсе не знаютъ. Но сегодня, съ утра, она правда была въ подъемѣ, хотѣлось бѣгать, пѣть, всѣхъ обнять и поцѣловать.

Она вышла въ элегантномъ синемъ платьѣ въ талію, съ материнскою камеей изъ Неаполя на шеѣ — очень стройная и изящная. Только локоны плохо поддавались: слишкомъ мягки и нѣжны. На шнуркѣ висѣлъ черепаховый лорнетъ съ мелкой золотой инкрустаціей по ручкѣ.

За кофе Элли восхищалась горячими ржаными лепешками, ледянымъ масломъ. Ёла охотно. Глѣбу нравилось, что вотъ она здѣсь, въ его родномъ домѣ, такая особенная, изящная, ни на кого непохожая. Какъ всегда, онъ считался только съ собой: если ему нравится, должна и всѣмъ нравиться. Если-же имъ не понравится, тѣмъ для нихъ хуже. Поэтому онъ ничего не замѣчалъ и не хотѣлъ замѣчать.

— Ну, какая прелесть ваша Лиза, прямо чудо — Элли снова обращалась къ матери. — Глѣбъ Николаевичъ насъ не такъ давно познакомилъ, но мы уже на ты. Нѣтъ, она чудная! Мы вмѣстѣ вчера ходили по магазинамъ, кое что ей выбирать къ свадьбѣ. Артюша тоже... нѣтъ, онъ не ходилъ, но онъ тоже очень славный. Я его, впрочемъ, и раньше знала. Еще во время студенческихъ волненій. Онъ ко мнѣ заходилъ. Мнѣ иногда удавалось устраивать заключеннымъ передачи, онъ и просилъ помочь. А потомъ онъ и самъ, вѣдь, попался. Да, мнѣ Лиза рассказывала, какъ она къ нему въ Нѣжинъ ѣздила... вѣдь вотъ подумайте, такая маленькая, будто-бы и слабенькая..

Мать сидѣла за самоваромъ молчаливо. Лицо ея было замкнуто, холодновато. Къ ней подошла Поля, что-то вполголоса спросила. Мать отвѣтила почти сурово: «Нѣтъ, не во

флигелѣ. Барину тамъ, а барынѣ здѣсь. Въ кабинетѣ ей постелишь».

Отецъ все присматривался къ лорнету Элли — разговаривая, она нервно его вертѣла. Раза два вскинула къ глазамъ.

— Вы плохо видите? спросилъ отецъ.

— Нѣтъ, ничего. А это у меня привычка такая... мнѣ лорнетъ нравится. Вотъ такъ возьму да и погляжу.

Она засмѣялась; опять подняла лорнетъ, ласково посмотрѣла сквозь него на отца.

— Вамъ не нравится? Вы находите, что это глупо? А по моему, онъ такой славный.

И опустила лорнетъ, погладила его ручку.

— Мнѣ иногда кажется, что предметы тоже живые, тоже вродѣ людей, думаютъ, чувствуютъ. Этотъ лорнетъ мнѣ другъ. Я его люблю и онъ тоже... онъ знаетъ, когда я счастлива, когда несчастна. И сочувствуетъ мнѣ. Потомъ у меня еще есть любимая шкатулочка, съ разными вещицами. Тамъ образокъ одинъ, старушка подарила: Николай Чудотворецъ.

— А вы серьги любите? спросилъ отецъ.

— Люблю.

— И брошки?

— И брошки.

Отецъ покачалъ головой.

— Безполезныя вещи. Безполезныя вещи.

Онъ неодобрилъ все это, но считалъ, что женщины такъ ужъ устроены, что вотъ занимаются разными пустяками. Ничего не подѣлаешь.

Глѣбъ улыбнулся.

— А самъ ты предпочитаешь, чтобы женщины хорошо одѣвались.

— Ну да, хорошо, значить удобно. А это ненужныя вещи. Это все пережитокъ дикости. Перья въ волосы, амулеты на шею. А то можно еще серъгу въ носъ, знаете, какъ у папуасовъ Элли захохотала.

— Нѣтъ, серъгу въ носъ себѣ не собираюсь, но полезнаго

не люблю. По моему, даже самое лучшее — бесполезное. Вотъ, прекрасный видъ, музыка, стихи...

— «Неосновательные люди», про себя рѣшилъ отецъ. «Неосновательные. Городскіе, книжные люди, жизни не знаютъ».

А неосновательные люди допили свой кофе.

— Пойдемте посмотрѣть мой флигель, сказалъ Глѣбъ. — А потомъ на лыжахъ пройдемся. Хотите?

— Ахъ, чудно!

Отецъ пустилъ длинный клубъ дыма.

— Только вы лорнета своего не позабудьте! Рассмотрите въ него хорошенько, нѣтъ-ли заячьихъ слѣдовъ. Мнѣ потомъ расскажете.

— Ах-а-хаа... Элли веселилась. — Въ лорнетъ заячьи слѣды! Хорошо, я вамъ постараюсь самого зайца поймать.

На лыжахъ Элли ходила неважно, но все это ее не стѣсняло. За ригами смѣло полѣзла она въ оврагъ салтыковской роши, весь въ тихомъ инеѣ дубовъ, блескъ искръ по снѣгу, въ бѣлыхъ мохнатыхъ лапахъ его, нависающихъ съ вѣтвей, съ кустовъ. Эти лапы осыпали ее сухимъ серебромъ, жегшимъ щеки. Лыжи разбѣгались изъ подъ длинныхъ ножекъ, наконецъ, и вовсе выскользнули, со смѣхомъ сѣла она въ сугробъ на днѣ оврага и со смѣхомъ Глѣбъ вытаскивалъ ее изъ снѣга, цѣловалъ горѣвшія на морозѣ щеки. Кто ихъ видѣлъ тутъ? Бѣлочка, стреканувшая по старому дубу вверхъ, помахивая рыжеватымъ хвостомъ своимъ — опахаломъ? Заяцъ, въ ужасѣ выскочившій изъ подъ куста, вознесшійся на другой бокъ ложбины и потомъ дальше въ поле?

— А лорнетъ-то цѣлъ вашъ? Вы еще должны въ него заячьи слѣды разсматривать!

Обѣдали во второмъ часу. Была индюшка, отецъ находился въ довольно добромъ настроеніи. Глѣбъ и Элли чокну-

но. На рюмку Элли мать посмотрѣла внимательно. Держалась отдаленно, сумрачно, какъ гора въ таинственныхъ облакахъ.

Послѣ обѣда Глѣбъ возилъ Элли кататься въ небольшихъ санкахъ. Правиль самъ. Онъ любилъ иногда выѣзжать такъ въ поля, дѣлать небольшой проѣздъ къ рощѣ, откуда открывался видъ просторный. Сейчасъ рядомъ съ нимъ сидѣла востролицая Элли, обо всемъ спрашивала, все ей занято. Это что за деревня? Можно-ли тутъ встрѣтить волка? Какой смѣшной мужикъ проѣхалъ въ розвальняхъ!

Было тихо. Торжественно-покойно и прозрачно разливался вечерѣющій свѣтъ по полямъ русскимъ, нѣжно-зеленымъ стеклянѣло надъ снѣгами небо, иногда впадая въ золотистый, у заката алѣющій оттѣнокъ. На сѣверѣ преобладалъ цвѣтъ радужной закаленной стали. Въ этомъ спокойствіи зимы, при тонкомъ какъ бы туманѣ, кое где завѣшивавшемъ горизонтъ въ лѣсочкахъ, важно восходилъ дымъ надъ избами, молочно-сиреневыми струями.

На поворотѣ Глѣбъ взялъ слишкомъ круто, санки наклонились, лѣвый бокъ приподнялся и они чуть не опрокинулись. Что-то крякнуло. Глѣбъ остановилъ конька. Вылѣзъ изъ накренившихся санокъ, гдѣ изъ дохи выглядывало острое личико Элли — вотъ тебѣ и разъ! — оборвалась плохо подвязанная оглобля. Конекъ, будто понимая, покорно стоялъ, дымясь на морозѣ, кой-гдѣ покрывшись сѣдымъ инеемъ. Глѣбъ пошарилъ на днѣ санокъ и подъ сидѣньемъ — нѣтъ-ли запасной веревки — ничего не оказалось. Солнце близилось къ лиловому лѣску, краснѣло и ширилось, готовясь сѣсть въ морозномъ туманѣ — до дому версты три.

Глѣбъ былъ въ нѣкоторой растерянности: что-же тутъ дѣлать? Въ это время навстрѣчу показался рѣзвый жеребецъ въ легенькихъ санкахъ. Подкативъ, остановился. Кнорреръ въ тулупчикѣ съ сѣрымъ мерлушковымъ воротникомъ, въ бѣлыхъ валенкахъ и ушастой шапкѣ выскочилъ изъ нихъ.

— А-а, сосѣдъ! Здравствуйте! Что съ вами такое?

— Да вотъ видите, какая исторія...

Кнорреръ весело поздоровался, ласково оцѣнилъ Элли,

раскланялся съ ней любезно. По-деревенски онъ даже изящень былъ, худъ, живъ, вишневые глаза бойки, щеки морозно-румяны. Короткіе усы обледенѣли.

— Мнѣ нужно оглоблю подвязать... Нѣтъ-ли у васъ бичевочки?

— А, вонъ оно что... Поглядимъ, поглядимъ... да, какъ слѣдуетъ хряпнуло, не поѣдете... онъ разсматривалъ оглоблю — и какой-же это болванъ запрягалъ вамъ? Вѣдь веревки давно перетерлись, сразу видно!

Всетаки, Глѣбу съ Элли не дано было ночевать въ полѣ. Краснощекій Кнорреръ вытащилъ изъ своихъ санокъ кусокъ бичевки. Глѣбъ сунулъ-было подвязывать, но онъ молча его отстранилъ, крѣпкой деревенскою рукой быстро перевязалъ раненіе, блестя карими глазами обратился къ Элли:

— А теперь, сударыня, запахивайтесь получше въ доху и пусть васъ Глѣбъ Николаевичъ потихоньку доставляетъ въ Прошино. Николаю Петровичу поклонъ! Въ воскресенье заѣду.

Онъ подходилъ уже къ нетерпѣливому своему жеребцу.

— Кучеру не забудьте намылить шею! Въ какомъ видѣ выпустилъ... Всего наилучшаго!

И легко вскочивъ въ санки легко покатылъ Кнорреръ, борзятникъ и соблазнитель дѣвицъ. Онъ былъ какъ всегда беззаботенъ — одно маленькое затрудненіе занимало его: кто-же эта «штучка»? Видимо, изъ Москвы. Онъ покачалъ головой. Тутъ было и сожалѣніе, и нѣкоторая зависть. Вотъ, тихоня-писатель, до полуночи съ оглоблей-бы возился, а какую подцѣпилъ фигуру! «Да, это московская. Сейчасъ видно, московская, хоть и въ прошинской дохѣ. Вотъ подцѣпилъ!» — Кнорреръ даже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ послалъ лошадь возжами.

Глѣбъ-же и Элли вернулись благополучно. Миръ и покой еще вели ихъ — рано было въ вечерній часъ Прошина поражать горемъ.

Прошли прямо во флигель. Въ комнатѣ Глѣба печь жарко топилась. Гудѣла сильною тягой, въ полуотворенныя дверцы видно было трепетавшее, потрескивая, золото пламени, теку-

чее, струящееся. Отблескъ его леталъ и по ножкамъ стола письменнаго, и по дивану. Въ окнахъ стоялъ еще полусвѣтъ заката.

Элли прилегла на диванъ, лицомъ къ печкѣ. Стала тише, задумчивѣй.

— Я немного устала.

Глѣбъ укрылъ ее, сѣлъ рядомъ. Тихо они разговаривали.

— Мы славно катались, отличный день... и этотъ, такой ловкій вашъ сосѣдъ. И все было очень хорошо. — Она взяла руку Глѣба, слегка погладила. — И вы со мной очень милы. А вотъ мы пришли сюда, тутъ тепло, печка, мнѣ стало что-то грустно.

— Почему?

— А такъ, это со мной бываетъ. Я вотъ будто такая полоумная, говорятъ: «веселая, веселая», а когда одна останусь, на меня иной разъ такой мракъ нападаетъ, прямо... тоска!

Глѣбъ взялъ ея руку, тихонько поцѣловалъ.

— Вы сейчасъ не одна.

— Да, слава Богу. У-ухъ, одна бы я здѣсь долго не усидѣла. У васъ домъ такой серьезный, чинный. Все... въ порядкѣ. Мнѣ и мама ваша очень нравится, хотя мы совсѣмъ, совсѣмъ разные. Но я ей не нравлюсь. Совершенно не нравлюсь. Да и правда, что во мнѣ можетъ нравиться? Ни семьи, ни дома. Съ мужемъ въ разводѣ, какое-то неясное мое положеніе — что я, собственно, изъ себя представляю?

Она помолчала. Печь звонко стрѣльнула, золотой звѣздой выскочилъ на желѣзный листъ уголекъ.

— Мнѣ все кажется, что моя жизнь удивительно какъ бессмысленна. Я ничего не знаю, ничего не умѣю... взбалмошная, пустяковая личность.

Глѣбъ наклонился къ ней, прислонилъ лобъ къ теплomu, душистому ея виску. Знакомые, мягкіе и легкіе локоны, всегда воздушные, слегка щекотали лицо. Онъ сказалъ тихо, почти шопотомъ:

— Вамъ данъ даръ жизни, даръ любви. Это большой даръ, вы не думайте. Талантъ любви.

Глѣбъ даже воодушевился.

— Умѣнье горѣть, зажигать, это и надо, это самое главное. Въ васъ свѣтлый огонь, да и самъ свѣтъ, вы его вокругъ распространяете, сами того не видя. Добрый свѣтъ — это ваше излученіе.

Она слушала, потомъ приподнялась, близко, въ упоръ стала смотрѣть въ Глѣбовы глаза. Въ нихъ мелькали золотые точки — отсвѣтъ печи. Вдругъ она обняла его, горячо и тѣсно.

— Если ты меня любишь, то я живу, а если нѣтъ... Ну, да, да, для меня только и есть любовь.

Она впала въ нѣкоторое изступленіе, дрожала и цѣловала его. Такъ бормотали они другъ другу нѣжныя слова любви, повторяя вѣчный путь человѣческихъ существъ, отданныхъ другъ другу.

Полумѣсяцъ означился въ хрустально-ледяномъ небѣ, проплывая межъ звѣздъ и его свѣтъ овѣялъ пустыню снѣговъ, излучилъ таинственное изъ нихъ сіяніе, какъ и изъ инея, царственно и мохнато одѣвшаго деревья накрестъ. Лунный свѣтъ проникъ и въ комнату флигеля глѣбова, сквозь стекла въ узорахъ самъ легъ узоромъ на руки Элли, на ея глаза. Въ этомъ лунномъ свѣтѣ, перемежавшемся съ отблескомъ печи, Элли плакала счастливыми слезами, мочила ими щеки Глѣба и его рѣсницы. Смѣялась, потомъ опять плакала, а потомъ стала тише и покойнѣе. И въ одинъ моментъ, откинувъ слегка назадъ голову, вдругъ глубоко, дѣтски-простодушно заснула. Въ лунномъ свѣтѣ блестѣли еще въ углахъ глазъ и въ рѣсницахъ слезинки. Лицо стало особенно блѣднымъ и прекраснымъ. Глѣбъ сидѣлъ очень взволнованный, тихій, все смотрѣлъ на нее. Надъ ней висѣла Микель-Анджелова «Ночь» изъ гробницы Медичи. Почему Элли изогнула во снѣ именно такъ нѣжную свою руку, подпирая голову, чтобы было удобно? Чрезъ какую тайную связь крови ея съ Италіей разлился по лицу отпечатокъ той-же таинственной печали, что и въ Микель-Анджеловомъ твореніи? — Глѣбъ не пытался разгадать. Сидѣлъ и смотрѣлъ. «Да, мы соединены. Да, это ужъ теперь такъ, гдѣ-то за нашимъ земнымъ предѣломъ мы соединены навѣки. Мы, конечно, умремъ, но любовь наша перейдетъ въ вѣчность».

Элли ровно дышала. Онъ ее не будиль. Но въ седьмомъ часу изъ большого дома раздался протяжный трубный звукъ. Это Поля трубила въ рогъ — знакъ зова къ чаю вечернему. Элли сначала продолжала спать, потомъ во снѣ лицо ея приняло тревожное выраженіе, и какъ будто отчаливъ отъ того, блаженного берега, она вдругъ вздохнула и проснулась.

— А? Это что такое?

— Ничего, ничего, говорилъ Глѣбъ, цѣлуя ей глаза. — Это просто насъ зовутъ чай пить.

VII.

Великая колесница Россіи катилась. Все было попрежнему — города, люди, власти. Императоръ, въ день Іова родившійся, такъ-же принималъ съ докладами министровъ, такъ-же молчаливъ былъ и загадоченъ: неизвѣстно какъ поступить завтра. Одни возвышались, другіе падали. Одни наживались, другихъ уносилъ ударъ мстителей, по угламъ таившихся, пулю, бомбу куда надо направлявшихъ. Хитроумные-же азіаты еще большее готовили: въ вечеръ Нового года, когда русскіе, въ порту Тихаго океана безопасно на корабляхъ своихъ пировали, тутъ-то исподтишка и напали. По всему міру и по всей Россіи прокатился этотъ звукъ. Началась война.

Съ разныхъ вокзаловъ и по разнымъ дорогамъ тронулись поѣзда — на Дальній Востокъ, всѣ вливаясь передъ Азіей въ гигантскій путь черезъ Сибирь. Молодежь и бородачи въ сѣрыхъ шинеляхъ, папахъ и валенкахъ, офицеры, штабы, лошади, пушки и снаряды медленно, не безъ сумбура покатали на край свѣта къ Океану.

А Россія пребывала въ тишинѣ и равнодушіи. Были войны и будутъ. — Безъ бѣды не обойдешься, а до насъ японцамъ далеко.

Въ Прошинѣ каждый день читалъ отецъ о войнѣ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», надѣвая пенснэ, подъ вечерней лампою въ столовой, съ каймой зеленою внизу по абажуру: чтобы не рѣзало глазъ. Прочитавши вздыхалъ, складывалъ газету. «И куда

ихъ несеть только? И куда, и зачѣмъ? Сидѣли бы дома да водку пили». Отецъ терпѣть не могъ войнъ, шума, безпорядка. Но вздохнувъ, принимался за пиво — до слѣдующей газеты.

Лиза, уже замужемъ, тихо жила подъ Москвою на фабрикѣ, Артюша служилъ врачомъ. Ей вовсе ужъ было не до войны; она на седьмомъ мѣсяцѣ, въ ней новая жизнь — мальчикъ-ли, дѣвочка? Какъ все произойдетъ? Все теперь къ этому. Артюша ходилъ въ пальто съ барашковымъ воротникомъ, въ мерлушковой шапкѣ, заламывая ее по хохлачки. Усы его такъ же невозбранно малороссійскіе, какъ и во времена Нѣжина и студенческихъ волненій. Онъ покручивалъ ихъ, подрадумывалъ и непрочь былъ-бы уѣхать на войну съ Краснымъ Крестомъ. Но изъ за Лизы невозможно. Мирно, скучновато ходилъ въ больницу, лѣчилъ рабочихъ, рѣзалъ нарывы, прописывалъ аспиринъ.

Глѣбъ и Элли поселились въ переулкѣ у Арбата, въ четвертомъ этажѣ новаго красно-кирпичнаго дома, довольно просторнаго и безтолковаго. Большая комната съ фонаремъ, выходящимъ на улицу, открывала видъ на переулокъ и церковь, купола которой какъ разъ рядомъ. Липы въ церковномъ садикѣ, дальше крыши Москвы, то нехитрое, пестро-миловидное, что и есть Москва при-арбатскихъ краевъ, вѣнчающаяся вдали куполомъ Храма Спасителя.

Въ комнатѣ этой въ одномъ концѣ столовая, въ другомъ, за ширмою, эллина постель и женскій уголъ, полный тою-же шумной, небрежно-изящной хозяйкиной жизнью. Глѣбъ въ другой комнатѣ, за корридормъ. У него какъ всегда книжки, письменный столъ-пристанище — тамъ въ ящикѣ рукопись, что нибудь свѣже испеченное для журнала или альманаха полудекадентскаго. Третью-же комнату сдаютъ.

Вся квартира свѣтлая, легкая, въ ней идетъ новая, очень на прежнюю непохожая глѣбова жизнь. Занятъ-ли онъ войной, дальними краями Манчжуріи, Портъ-Артуромъ? Какъ и всѣ вокругъ — очень мало. Разумѣется, ужасно, что погибли въ новогодній вечеръ наши корабли. А за тридевять земель наши солдаты сражаются съ неизвѣстными японцами, неизвѣстно изъ

за чего. Все это страшно и горестно. Но при чемъ тутъ онъ, Глѣба, жизнь котораго только еще раскрывается? Что ему дѣлать съ этой войной, когда рядомъ есть Элли — съ ней живетъ онъ какъ на вулканѣ, но съ незнаемой доселѣ яркостью, то въ восторгѣ, то въ плачѣ и слезахъ, вновь въ примиреніе и подъемъ переходящихъ? Что интереснаго для него въ войнѣ, когда весь онъ въ литературѣ и надо прочесть Верхарна, Бодлера, Тютчева, опредѣлить для себя, кто ты самъ — «лирикъ», «импрессионистъ» или «мистическій реалистъ?» — и самому писать, и бывать у Александрова, и вести знакомство съ разными молодыми литераторами и философами и поэтами. Это вѣдь и есть жизнь — настоящая. Какъ непохоже на Калугу! На Москву раннюю, съ Гавриковымъ переулкомъ, Таисіей, инженернымъ училищемъ...

Для Прошина, матери, отца — Элли одна странность и удивленіе. Но для Москвы нѣтъ. Для Глѣба, его и ея друзей — нѣтъ. Для разныхъ студентовъ съ артистическими наклонностями, для молодого художника Равеніуса въ крылаткѣ, для босоножки Майи, обитающей в Толстовскомъ съ длинноусымъ портретистомъ Косинскимъ, для естественника Воленьки, живущаго въ ихъ-же домѣ и читающаго Андрея Бѣлаго, все это какъ разъ по мѣркѣ. Равно и для того козлорогаго Сандро, который просвѣтилъ Элли Гамсуномъ. Как и для пріятельницы Элли — Люси, жены профессора университетскаго.

Дружба Элли съ этою Люсей была восторженная. Люся носила прямые платья «реформъ», как и Элли восхищалась новою литературою, вмѣстѣ онѣ выѣзжали въ Литературный Клубъ, хохотали тамъ, аплодировали кому надо, удивляли, а иногда возмущали честныхъ буржуа. Но для Элли вообще море по колѣно. Живетъ она такъ, какова есть — стихіей, любовью. Не задумываясь можетъ отдать послѣднюю юбку, не размышляя, любить своего Глѣба. Въ солнечный, весенній день Арбата, встрѣчая Люсю становится на колѣни — Люся, потряхивая черными кудряшками надъ тоненькимъ большеглазымъ лицомъ тоже передъ ней на колѣни, онѣ обнимаются и начинаютъ хохотать. Потомъ вскакиваютъ, бѣгутъ дальше, среди

удивленныхъ взоровъ проходящихъ. «Непремѣнно ко мнѣ завтра, Воленька будетъ читать. Это такая прелесть! Воленька ангелъ». Люся помаргиваетъ темнымъ газельимъ глазомъ, гдѣ блеститъ солнце теплой весны. Да, конечно, придетъ. Но сейчасъ некогда, надо дальше, къ портнихѣ, въ цвѣточный магазинъ, нынче у нихъ обѣдъ въ Неопалимовскомъ, взять еще сыру и вина. И онѣ разбѣгаются, у каждой свое: у Элли Глѣбъ, у Люси очередной краткій романъ.

Элли сегодня въ добромъ днѣ. Ей легко. Съ Глѣбомъ хотя недавно и поссорились, но вчера помирились и оба плакали, просили другъ у друга прощенія. Потомъ цѣловались и заснули счастливые и сейчасъ пока счастливы. Главное — онѣ ее любить. Это безспорно. И она его. Остальное неважно.

Съ этимъ она заворачиваетъ во дворъ дома, гдѣ живетъ Коленька, братъ Воленьки. Въ первомъ этажѣ коленькина квартира. Дверь прямо со двора, попадаешь не то въ комнату, не то в каюту съ койкой наверху. Черноволосый и чернобровый хозяинъ, крупный довольно, съ бархатно-сливными глазами, свѣжій и вымытый, въ халатѣ, сидитъ за письменнымъ столомъ, курить сигару.

— А-а, Элли! Какимъ вѣтромъ? По Арбату носишься?

— Коленька, я на минуту. Не забудь, у меня завтра Воленька читаетъ, ты обязанъ быть.

— Воленька-Воленька! Опять чушь свою какую нибудь декадентскую?

— Ничего не чушь. Вотъ увидишь.

— Ну, я васъ знаю, вы всѣ тамъ козлороги какіе-то...

Онѣ захохоталъ весело и скорѣй одобрительно.

— Я вотъ подрядами занимаюсь, электричество провожу — и все-таки не могу пока разбогатѣть: видишь, въ какой дырѣ живу! А вы и ничего не дѣлаете, кромѣ какъ по Арбату бѣгаете, а все какъ-то выворачиваетесь...

— Ты врешь, Глѣбъ работаетъ.

— Ну, да, Глѣбъ... когда ему вздумается. Возьметъ и напишетъ что нибудь.

— Не чтонибудь, а онъ настоящій писатель. Понялъ? Не поденщикъ.

Коленька поболталъ ногой въ красной туфлѣ, выпустилъ клубъ дыма сигарнаго.

— Ты не кипи, не накаляйся. Я твоего Глѣба не трогаю. Пишетъ и пишетъ, его дѣло. Да онъ, кажется, и не такой полоумный, какъ ты и остальная компанія... Братецъ-то мой тоже подстать... вашему Андрею Бѣлому. У нихъ какъ полагается? Чѣмъ нелѣпѣе, тѣмъ, значить, геніальнѣй. А во всякомъ случаѣ я приду. И вина захвачу. Пусть такъ и будетъ: вы начинающіе «гейнимы», а я буржуй, тоже начинающій, но буржуй, убѣжденный. И со временемъ буду богатъ.

.

Воленька братъ Коленьки единоутробный. Оба отца давно умерли: Воленькинъ профессоръ, Коленькинъ интендантъ. Братья мало похожи другъ на друга, какъ и ихъ отцы. Коленька много наряднѣе, Воленька некрасивъ, крупенъ, угловатъ, съ большою головой, дѣтскими голубыми глазами, дѣтскимъ смѣхомъ. Онъ живетъ съ матерью, маленькою старушкой, его обожающей, въ томъ-же домѣ, что Глѣбъ и Элли, въ первомъ этажѣ. Какъ и Глѣбъ, онъ студентъ, но естественникъ и постарше, на послѣднемъ курсѣ. Занимается-же не только естественными науками, но и философіей, мистикой, ходитъ въ церковь (рѣдкость въ этомъ кругу). Нѣкоторые считаютъ его чудакомъ, мать-же любитъ его больше чѣмъ Коленьку, для нея онъ особенный, на другихъ непохожій. «Володичка мой очень правильный, Богомъ отмѣченный».

Элли недавно съ нимъ познакомилась, сразу-же полюбилъ. Хотя она и не старше его годами, тотчасъ-же ощутила и свое какъ-бы материнство: настоящая мать, разумѣется, Клавдія Афанасьевна, но и она, Элли, въ чемъ-то ему родная, въ чемъ-то и опекающая, матерински заботливая.

Въ беззаботномъ кругу богемы скоро они перешли на ты, Элли стала его щитомъ, покровительницей. Если кто-бы рѣ-

шился плохо сказать о Воленькѣ, онъ имѣлъ-бы дѣло с Элли, а это не шутка.

Воленька увлекался Андреемъ Бѣлымъ. Потому и назначила Элли чтеніе его стиховъ.

Майскій вѣтерокъ повѣвалъ. Пролетки дребезжали, свѣтлая занавѣска на окнѣ колыхалась. солнце вечернее Москвы клонилось ниже. Теплота, золотая пыль въ воздухѣ — съ балкончика-фонаря Элли, Люся, потряхивая черными кудряшками поглядывала внизъ въ переулокъ, липами Спасопесковскими обрамленный, поджидала гостей, понемногу собиравшихся въ майскомъ дуновеніи Москвы. Элли рядомъ съ ней. Уже Майя пришла со своимъ усатымъ художникомъ, въ профиль похожимъ на волка. Она мрачно ѣжилась, иногда поводила огромными прозрачными глазами: считала, что она загадочная личность и на ея пути трагедія. Художникъ присматривался больше къ выпивкѣ. Три бутылки Удѣльнаго мало его устраивали. Но съ прибытіемъ Коленьки дѣло улучшилось. Онъ принесъ огромную бутылъ донского. «Елена, отъ московской буржуазіи. Цѣни. И не презирай».

Глѣбъ сидѣлъ съ Воленькой. Вблизи барышни Колмаковы. «Ты пойдешь Бальмонта слушать? Объ Оскарѣ Уайльдѣ? Страшно интересно»...

— Я съ вами согласенъ, говорилъ Глѣбъ тономъ молодого, но солиднаго литератора («книжные люди», сказалъ-бы отецъ): Бѣлый, конечно, замѣчательное явленіе. Когда на него нападаютъ, особенно люди далекіе отъ литературы, я его всегда защищаю. Все-таки, съ вашей оцѣнкой не могу согласиться.

Воленька сидѣлъ противъ него большеголовый, неуклюжій, смотрѣлъ привѣтливо небольшими зеленоватыми глазами съ нездоровыми подъ ними одутловатостями.

— А мнѣ все въ немъ нравится. Вотъ, смѣются: «Завопилъ низкимъ басомъ, въ небеса запустилъ ананасомъ...» — а мнѣ и это нравится. Безсмыслица, а нравится. Потому что это онъ самъ такой, а-ха-ха-ха — Воленька вдругъ залился громкимъ, дурашливымъ смѣхомъ. — Самъ въ небо ананасомъ залетаетъ и, можетъ быть, плохо кончить, а вотъ мнѣ онъ родной.

Подошла Элли.

— Элли, Элли, ты Андрея Бѣлаго любишь?

Элли положила Воленькѣ обѣ руки на голову.

— Глѣба, конечно, больше, но и его тоже. Онъ такой-же полоумный, какъ и ты.

Воленька опять захохоталъ.

— Да вѣдь и ты сама... тово... не изъ очень крѣпкихъ.

Элли стоитъ надъ нимъ, гладить по головѣ.

— Ты мнѣ нынче не нравишься. Желтый какой-то, мѣшки подъ глазами.

— А самъ не знаю. Голова все болитъ. Въ глазахъ иной разъ стрекаетъ. Докторъ мнѣ сказалъ — это отъ почекъ. Ну, ничего! Ну, что тамъ почки!

Воленька не унываетъ. Въ свѣтломъ вечерѣ майскомъ пьетъ чай с баранкою, подхохатываетъ козлинымъ смѣхомъ и поджидаетъ, когда всѣ соберутся.

Мимоходомъ, легко пробѣгая, цѣлуетъ его въ лобъ Люся. «Милый Воленька, очень милый!» Но потомъ шепчетъ въ сторонкѣ Элли: «Воленька прелесть? Ну, ангель! Но мой Курилко лучше». А студентъ Курилко, тоненькій, розовый, съ темными усами, и самъ знаетъ, что лучше — томно перемигивается съ Люсей.

Къ Воленькѣ подсѣла Майя. Вращая огромными своими глазами, начинаетъ разговоръ о вѣщихъ снахъ, видѣніяхъ. Майя мрачна, у нея видъ почти трагическій. «И вотъ я прохожу по подземелью, у меня изъ подъ ногъ синія змѣи, а потомъ огромная змѣя, и изъ ея пасти вылѣзаетъ мой-же собственный ребенокъ. Я начинаю ему глотать черепъ и у него такая мягкая кость и мозгъ такой вкусный...»

Художникъ съ волкообразнымъ профилемъ и длинными усами присосѣдился къ коленькину донскому.

— Она вамъ еще не того расскажетъ, кричитъ онъ черезъ столъ, изъ своего угла: она еще превратится въ собственного отца!

Майя строго на него оборачивается. «Вижу, что ужъ

выпилъ. Я въ отца никогда не превращалась, а что вкусъ мозга моего младенца и сейчасъ еще чувствую, это правда».

Воленька козлино и добродушно подхохатываетъ.

Входятъ новые гости: сатировидный Сандро, съ рано облысѣвшей головой, небольшими острыми и слегка плутоватыми глазами, съ нимъ молодой человѣкъ въ темномъ костюмѣ съ краснымъ цвѣткомъ въ петлицѣ — въ рукѣ у него цилиндръ. Сандро здоровается съ Элли.

— А-а, вотъ, позволь тебѣ представить... — онъ говоритъ бойко, почти развязно: мой землякъ, тоже изъ Ставрополя — поэтъ Погорѣлковъ.

Молодой человѣкъ любезно кланяется. Отъ него слегка пахнетъ дешевыми духами, галстукъ ужъ очень пестръ, желтыя ботинки, голубые носки.

Полулюбимая Погорѣлкова, Сандро обращается къ присутствующимъ съ видомъ какъ-бы и импрессаріо.

— Только что изъ Парижа!

Погорѣлковъ скромно, но съ достоинствомъ улыбается.

— Да, дѣйствительно... прямо съ Монпарнасса и Монмартра, изъ кабачковъ поэтовъ, студій художниковъ...

Барышни Колмаковы, слегка повизгивая, обступаютъ его.

— Ах, какъ интересно...

— У меня есть и личныя знакомства: Поль Форъ, Жанъ Мореасъ. Мы встрѣчались нерѣдко въ кафѣ Closerie des Lilas и дружили. Въ Парижѣ все очень просто.

— Онъ хорошій малый, говоритъ Сандро вполголоса Глѣбу: я его знаю съ дѣтства, въ семинаріи вмѣстѣ учились въ Ставрополѣ. А теперь онъ поэтомъ задѣлался. Въ Парижѣ попалъ секретаремъ русскаго профессора, знаменитаго и богатаго. Вотъ теперь только и бредитъ Верлэнами да Метерлинками.

Погорѣлковъ слегка таетъ въ окруженіи барышень. Элли его привѣтливо къ Воленькѣ подсаживаетъ. Ему даютъ чаю. Онъ не знаетъ, куда поставить цилиндръ — Майя надѣваетъ его себѣ на голову. Всѣ хохочутъ. И цилиндръ идетъ по рукамъ, водружается, наконецъ, на зеркальномъ шкафу.

Подходитъ Коленька съ четвертною бутылью.

— Я угощаю поэта виномъ, такъ сказать съ Дона, роднымъ напиткомъ... чего тамъ чай! Хочу чокнуться съ нимъ.

Коленька наливаетъ, Погорѣлковъ мило улыбается.

— Да, говоритъ онъ скромно: я немало безумствовалъ въ кабакахъ и клоакахъ Парижа съ лучшими изъ тамошнихъ поэтовъ!

— Ну, и здѣсь поѣзжайте къ Брюсову на Цвѣтной бульваръ, тамъ разные переулки близко, теплые... — кричитъ изъ угла длинноусый художникъ.

— Я уже сдѣлалъ визиты Бальмонту и Брюсову. Погорѣлковъ чокается съ Глѣбомъ и говоритъ, что радъ познакомиться съ нимъ — представителемъ молодого русскаго искусства. Бутылъ Коленьки дѣйствуетъ. Настроение повышается. Погорѣлковъ начинаетъ чувствовать себя отчасти Полеми Формомъ.

— Я увѣренъ, что новая французская литература благотворительно отразится на молодой русской...

Сандро въ это время шепчетъ Элли:

— Ничего онъ не французъ, такой-же семинаръ ставропольскій и остался.

Воленька, наконецъ, усаживается съ книгами къ столику у окна. Одной книги названіе: «Сѣверная Симфонія», другой «Третья драматическая». Свѣтъ вечера майскаго падаетъ сзади на Воленьку, золотитъ худые его виски со впадинами, вся его крупная, костлявая и неуклюжая фигура трогательнѣй въ этомъ нѣжномъ обрамленіи. Онъ читаетъ такъ-себѣ, скорѣе неважно, но вѣдь тутъ все свои. Свои слушаютъ благожелательно. Люся съ Курилкой въ углу, что-то ужъ очень близко другъ къ другу. Майя прямо на него смотритъ раскрытыми, нѣсколько бессмысленными прозрачными глазами. Художникъ въ другомъ углу прикладывается съ Коленькой къ донскому. И чрезъ комнату со страницъ пролетаютъ, въ суманныхъ созвучіяхъ то кентавры, то гномы, то московскія зори, Владиміръ Соловьевъ въ темной крылаткѣ, красавица московская съ фіалковыми глазами.

Погорѣлковъ сидитъ въ креслѣ довольно-важно, покачивая

слегка ногой въ желтой ботинкѣ — въ тактъ лету фразъ, какъ меломанъ въ концертѣ.

— Чепуха, разумѣется, но здорово! вдругъ выкрикиваетъ изъ угла длинноусый художникъ. Майя грозно оборачиваетъ къ нему неподвижные глаза.

— Какъ-бы ты на меня ни глядѣла, отъ этого Андрей Бѣлый не станетъ толковѣе.

Коленька съ нимъ чокается.

— Браво, художникъ.

Элли утихомириваетъ ихъ. А вотъ ей нравится.

— Воленька, прочитай что нибудь изъ стиховъ его.

Воленька отираетъ платкомъ крупное свое лицо. Беретъ книгу «Золото въ лазури». Погорѣлковъ сочувственно киваетъ головой.

— Я увѣренъ, что если-бы это было переведено на французскій, то имѣло-бы успѣхъ въ кругахъ *Closerie des Lilas*.

Элли сидитъ въ креслѣ, оживленная и порозовѣвшая. У ея ногъ на медвѣжьей шкурѣ Сандро — въ рукѣ у него стаканъ съ виномъ.

— Я какъ Бахусъ у твоихъ ногъ... а-ха-ха... Или, можетъ, Сатиръ?

Воленька начинаетъ:

«Даль — безъ конца. Качается лѣниво,

«Шумить овесь.

«И сердце ждетъ опять нетерпѣливо

«Все тѣхъ-же грезъ.

«Въ печали блѣдной, виннозолотистой,

«Закрывшись тучей,

«И окаймивъ другой ее огнистой

«Сребристожгучей —

«Садится солнце краснозолотое...

«И вновь летитъ

«Вдоль желтыхъ нивъ волненіе святое

«Овсомъ шумить.

Погорѣлковъ оборачивается къ барышнямъ Колмаковымъ и Глѣбу.

— Это безспорно новыя формы. Такъ называемый вольный стихъ. Его проповѣдуетъ теперь Верхарнъ.

«Душа, смирись: средь пира золотого
 «Скончался день.
 «И на поляхъ туманнаго былогѣ
 «Ложится тѣнь.
 «Уставшій міръ въ покоѣ засыпаетъ
 «И впереди
 «Весны давно никто не ожидаетъ
 «И ты — не жди.
 «Нѣтъ ничего. И ничего не будетъ
 «И ты умрешь.
 «Исчезнетъ міръ и Богъ его забудетъ.
 «Чего-жъ ты ждешь?
 «Огромный шаръ, склонясь, горитъ надъ нивой
 «Багрянцемъ розъ.
 «Ложится тѣнь. Качается лѣнливо,
 «Шумитъ овесъ».

Элли задумалась. Потомъ вдругъ на Воленьку подняла глаза. Онъ смущенно складываетъ книгу, но въ лицѣ его возбужденіе, блескъ.

Ну, вотъ... ну, вотъ, я кажется зачиталъ васъ?

— Воленька, ты прочиталъ, что Богъ міръ забудетъ. Какъ-же это... самъ создалъ, да и забудетъ?

Сандро положилъ голову ей на колѣни.

— Дитя, ты Бѣлаго спрашивай, онъ писалъ, а не Воленька. И все равно ничего не узнаешь, онъ и самъ ничего не знаетъ, а такъ сболтнулъ, какъ поэтъ а-а-ха-ха-ха!

— Я хочу знать, какъ Воленька думаетъ.

Зеленоватые глаза Воленьки стали серьезнѣй.

— Что же я думаю? Я мало-ли что думаю. Я, напримѣръ, думаю, вѣрю — что именно дѣтей есть Царствіе Божіе. Это

даже навѣрно. А вотъ ты спрашиваешь, забылъ-ли Богъ міръ... — этого быть не можетъ.

— Нѣтъ, это у Бѣлаго просто минута, по моему. Настроение. «Нѣтъ ничего и ничего не будетъ». Элли встала.

— Какъ-же такъ: нѣтъ? Любовь есть. Значить, все ужъ есть.

Сандро тоже поднялся.

— Да, коли до любви дошло, тутъ съ тобой спорить нечего.

Коленька поднялся изъ дальняго угла съ бокаломъ.

— Если пьютъ за любовь, то я охотно. Я все жениться собираюсь, но пока неудачно. Но я за любовь и за солидныя основы жизни какъ семья, на примѣръ, а не за такую богему, какъ у васъ.

— Его надо женить! закричали кругомъ.

— Зиночка, выходите за Коленьку!

Зиночка Колмакова взвизгнула и захохотала.

— Да онъ мнѣ и предложенія не дѣлалъ!

Поднялся шумъ, говоръ, смѣхъ. Коленька вновь вытащилъ свою бутылъ донского, налилъ всѣмъ и не споря всѣ на томъ объединились, что надобно выпить за любовь. Загалдѣли, закричали, зачокались, а московское солнце, вовсе не столь печальное, какъ у Андрея Бѣлаго, въ тотъ майскій вечеръ окропило ихъ изъ оконъ теплымъ и живымъ золотомъ — Господнимъ.

И они выпили и даже Майя не сказала ни призрачнаго, ни людоедскаго.

Потомъ просили Погорѣлкова прочесть свое. Он подзамялся немного. А затѣмъ всталъ, обвелъ всѣхъ взглядомъ довольно миловидныхъ карыхъ глазъ.

— Ну, это послѣ Андрея Бѣлаго будетъ... тово! — шепнулъ Сандро Элли. — Нѣкоторый самогонъ въ цилиндрѣ, ты понимаешь...

Погорѣлковъ провелъ рукой по темнымъ усикамъ, отставилъ немного впередъ ногу.

«Какъ весна я молодъ
«И какъ пламя жгучъ,
«Въ моемъ свѣтломъ сердцѣ
«Бьетъ надежды ключъ...

Далѣе вполнѣ полагался онъ на солнце, радость, счастье свое и удачу. Читаль бойко и довольно мило.

— Вотъ напрасно только такъ надѣется на счастье, сказалъ Воленька Глѣбу вполголоса. — Съ этимъ надо-бы поосторожнѣе.

Погорѣлковъ разгорался. Ему казалось, что онъ ловить сочувственные взоры Элли, барышень Колмаковыхъ, Майи. Онъ немного началъ ужъ выступать шантеклеромъ парижемскимъ, посломъ Монпарнасса. Французскаго столько-жъ въ немъ было, какъ въ самомъ Ставрополѣ и семинаріи, его вскормившей. «Погорѣлковъ, работайте!» крикнулъ художникъ изъ угла. «Еще, еще, поддай жару».

Онъ и такъ еще кое что прочелъ и наконецъ выплылъ въ полный мажоръ.

«День роскошно-голубой
«Бросилъ въ море плащъ свой синій,
«Отчеканилъ яркость линій
«Острыхъ пихтъ и темныхъ пиній»...

Ему аплодировали. Онъ мило улыбался, чокался. Температура подымалась. Хохотали, болтали. Зажгли лампу. Свѣтъ ея мѣшался еще съ отсвѣтомъ голубоватой майской ночи, все неясно, зыблемо, тепло и духовито въ беспорядочной комнатѣ съ выступающимъ фонаремъ на улицу, гдѣ Люся съ Курилкой разглядываютъ уже ночныя звѣзды. Лицо Воленьки кажется усталымъ, подъ глазами сильнѣй круги.

Элли смотритъ на него не совсѣмъ спокойно. Глѣбъ хочетъ налить ему вина, Воленька прикрываетъ стаканъ ладонью. Улыбается большимъ своимъ ртомъ.

— Нѣтъ, мнѣ нельзя. Доктора не позволяютъ.

Глѣбъ съ докторами мало еще знакомъ. Ему ничего не запрещаютъ, его стаканъ полонъ, но скоро пусть будетъ. Глѣбъ въ возбужденіи и подъемѣ.

— Я, знаете, все послѣднее время объ Италіи думаю. Читаль кое-что... ну, вотъ о Леонардо да Винчи... мнѣ въ Италію хочется.

Воленька вдругъ захохоталъ.
то мирное, почти нѣжное.

— Я разъ въ Аббаціи жилъ, съ отцомъ еще. Мы въ Венецію ѣздили.

— Вамъ понравилось?

Воленька вдругъ захохоталъ.

— Понравилось! Не то слово. Какъ о раѣ вспоминаю. Есть жизнь, дни, будни, а есть рай. Вотъ я и побывалъ тогда въ немъ...

— Элли, слышишь?

Глѣбъ доволенъ. Но Элли и не надо подгонять. Да, вотъ Италія... А много денегъ надо, чтобы съѣздить? Этого Воленька не знаетъ, онъ тогда не интересовался. Да навѣрно немного, особенно если скромно.

Элли въ восторгѣ.

— Ъдемъ, всѣ вмѣстѣ! Глѣбъ авансъ возьметъ, я кольцо продамъ, ты, Воленька, тоже съ нами.

Воленька улыбается дѣтской своей улыбкой.

— Нѣтъ, ужъ я, знаешь...

— Съ нами, съ нами!

Барышни Колмаковы уходятъ. Погорѣлковъ ихъ провожаетъ. За ними и Люся съ Курилкой. Балъ затихаетъ. Услыхавъ объ Италіи, Майя подаетъ голосъ.

— Я бы въ Италію не поѣхала. Я-бы уѣхала въ Африку или въ непроходимые лѣса Америки и тамъ бы жила среди змѣй.

Художникъ мрачно покручивалъ усъ.

— До Люберцовъ на билетъ денегъ не хватитъ, а ей въ Африку!

Онъ обнимаетъ вдругъ Коленьку.

— Если жениться собираетесь, то не стиль модернъ, пожалуйста! Прошу васъ, на простой бабѣ. Умоляю. А то, видите, по ней змѣи соскучились.

Коленька подтверждаетъ: ему надо жену-хозяйку.

— Пан-нимаю! Которая яичницу сумѣла бы приготовить.

Послѣ гостей безпорядокъ страшнѣйшій. Но преданная Марфуша, личарда съ огромными серьгами, худенькая, съ виду похожая на нищенку, не зря ведетъ нѣкоторое хозяйство въ домѣ этомъ — скоро все исчезаетъ. Господа веселились, она въ кухнѣ подремывала, а теперь, при блѣднѣющихъ предразсвѣтныхъ звѣздахъ и вѣтеркѣ одинокомъ, улегшись на монашескомъ своемъ ложѣ, засыпаетъ сномъ чистыхъ сердець, до семи, когда для тѣхъ-же господъ побѣжить въ булочную и за молокомъ, позже самоваръ поставить. А господа еще нескоро утихомируются. Элли будетъ мыться, чиститься, Глѣбъ у отвореннаго окна въ фонарѣ, куря, глядѣтъ на церковь Спасопесковскую въ темныхъ липахъ. Москва спитъ, май нѣжно трогаетъ утреннюю зарю, надъ зарей жизни человѣческой волшебный воздвигаетъ пологъ.

— Элли, а насчетъ Италиі-то какъ?

— Ахъ, чудно, чудно!

Она завиваетъ послѣднюю, свѣтлую косичку, закалываетъ ее шпилькой.

Глѣбъ продолжаетъ смотрѣть въ уходящую ночь. А внизу, въ первомъ этажѣ, Воленька улегся, но заснетъ не сразу. Онъ спитъ плохо. Въ полусумракѣ зари виднѣй, яснѣй темные провалы подъ глазами.

Май пролетаетъ надъ Москвой, надъ Спасопесковскимъ, надъ Глѣбомъ и Элли, одѣвая нѣжною листвою липы вокругъ церкви, Глѣба-же все завлекая Италией. Да, этой осенью ѣхать! Да, непременно.

И онъ взявъ для подкормки работу попроще — правиль переводъ, корректировалъ Метерлинка, собраніе сочиненій. Кое что самъ перевелъ. Кое въ чемъ Элли помогала. Такъ надѣялись они подсобрать денегъ сверхъ обычныхъ авансовъ. Такъ

неслись ихъ дни, среди Зиночекъ, бѣготни съ Люсей, въ дружбѣ съ Воленькой. Но именно Воленька и тревожилъ. Экзаменовъ держать не смогъ, все сидѣлъ дома, а потомъ просто слегъ — воспаленіе почекъ.

По лѣстницѣ съ просторнымъ пролетомъ внизъ чуть не каждый день бѣгала теперь Элли навѣщать его, въ первый этажъ. Онъ лежалъ въ комнатѣ направо, окно прямо въ садъ церковный черезъ улицу. Клавдія Афанасьевна копошилась въ кухнѣ.

Воленька лежитъ огромный, худой. Когда чувствуетъ себя получше, читаетъ Владиміра Соловьева, Бѣлаго. Приходу Элли всегда радъ — залетаетъ она сюда, заноситъ свѣтъ мая, свой легкій локонъ, нѣжные духи, быстрый, веселый говоръ. Иногда цвѣтовъ притащитъ. Воленька улыбається. «Ты, пожалуйста, почаще такъ... Мнѣ лежать скучно. А вставать нельзя. Ну, рассказывай, какъ тамъ ваши козлологи поживаютъ?

Элли докладываетъ: Майя съ Косинскимъ своимъ ссорится. На Погорѣлкова Равеніусъ сочинилъ эпиграмму.

— А-ха-ха, га-га! хохочетъ Воленька, дико и неожиданно громко. — Знаю. Мнѣ Глѣбъ говорилъ. Здорово!» «Онъ копируетъ Европу на передней сторонѣ»... А насчетъ задней, такъ тамъ носить... «семинарскую вполнѣ». — А-га-га-га...! Только вы его не задразнивайте, онъ хорошій малый. Парижско-ставропольскій семинаръ!

— Ты слушай, ты подумай, говорятъ Элли: мнѣ Косинскій черезъ два дня на третій присылаетъ записку: «Дайте рубль. Умираемъ съ голоду». Марфуша несетъ, это недалеко, въ Толстовскомъ. Ну, Богъ съ нимъ. А представь, вчера забѣгаю къ Майѣ — крикъ, слышно на лѣстницѣ. Звоню, отворяетъ самъ, разъяренный, усы висятъ, рожа красная. Майя рыдаетъ. «Онъ меня избилъ!» «И еще избью, психопатка!» Я на него: «какъ это вы женщину смѣете трогать! Гадость, вы мерзавецъ!» Ну, понимаешь, онъ того стоитъ. «А, мерзавецъ?» Хватаетъ меня за плечо. «Я и васъ сейчасъ избью. Не смѣйте, въ чужія дѣла вмѣшиваться». Я его обругала и выскочила. Подумай,

какой хамъ! На другой день записка: «Умоляю хотя-бы полтинникъ. За вчерашнее прошу извинить».

— Хорошо! Ахъ, хорошо! — Воленька воодушевляется. — Люблю полоумныхъ. А мнѣ, знаешь, Андрей Бѣлый прислалъ визитную карточку: имя, фамилія, а ниже, гдѣ ставятъ — ну, «инженеръ-механикъ, или «докторъ медицины», тамъ: козлогоръ-единорогъ. А? Это профессія такая? Неплохо? — Оказывается, многимъ такую разослалъ.

Такъ развлекаются Элли и Воленька. Но долго у него сидѣть нельзя: надо нести корректуру издателю, новыя взять, переписать Глѣбовъ разсказъ для журнала. Да, жизнь полна. Длинные ножки Элли рѣзвы, какъ весенній духъ носится она по Арбату туда-сюда.

Заботъ много, особенно чужихъ: не слишкомъ-ли далеко зашелъ романъ Зиночки? Откуда Коленкѣ взять невѣсту? Или Люся — съ ней постоянныя исторіи.

Теперь этотъ Курилко. Все отлично, онъ отъ нея не отстаетъ. Она на дачу, онъ за ней, она въ Неопалимовскій, онъ тутъ какъ тутъ. Но вотъ однажды Люся подкатила на извозчикѣ, съ чемоданчикомъ поднялась наверхъ. Огромные глаза заплаканы, черные локоны не въ порядкѣ. Въ передней остановилась, тряхнула кудряшками.

— Элли! Я къ тебѣ! Ты у меня единственная. Я больше дома не могу! Онъ такой негодяй...

Значить, очередная ссора. «Ты понимаешь, мнѣ вѣдѣваться некуда, вотъ я къ тебѣ какъ къ другу»... Слезы, Элли ее обнимаетъ. «Понятно, понятно! Ну, счастье мое, располагайся, какъ дома». «Я такъ и знала, ты прелесть»...

Чрезъ полчаса Люся ужъ покойна, попила съ Элли чайку въ золотомъ послѣполуднѣ лѣтнемъ, въ грохотаніи пролетовъ по Арбату, визгѣ ласточекъ вокругъ церкви Спасопесковской. Послѣ чаю ложится на постель, вынимаетъ книжечку записную, погружается въ нее.

Элли стучитъ на Ремингтонѣ. Листы вставляетъ неаккуратно, пишетъ съ пропусками — э-э, ничего! Одушевлена

ПУТЕШЕСТВІЕ ГЛѢБА

работа, все равно выйдетъ хорошо, потому что «Глѣбъ отлично пишетъ». Это самое важное.

Наконецъ, кончила. Подходить къ Люсь.

— Ты тутъ что считаешь?

— Записываю. Хочу точно знать, сколько разъ меня Максимка обидѣлъ. Видишь, теперь въ порядкѣ.

И показываетъ книжечку. Тамъ двѣ графы: «Мои обиды» — «Его обиды».

— Ты видишь, мы пять лѣтъ женаты, онъ меня ужъ восемнадцать разъ оскорбилъ.

— А ты его?

— Все указано. Погоди.

Она ведетъ пальцемъ внизъ по другой графѣ.

— Семь, восемь... одиннадцать. Девятнадцать съ половиной!

Подымаетъ огромные свои глаза на Элли, не безъ изумленія. Черныя ея кудряшки тонко выдѣляютъ голову на подушкѣ.

— Значить, я все-таки больше! Элька, слышишь? А я его девятнадцать съ половиной!

Элли хохочетъ.

— Какая дура! Ахъ, какая ты у меня дура!

И онѣ обѣ хохочутъ и цѣлуются. Настроеніе Люси мѣняется. Значить, все правильно, не такая она казанская сирота, за себя постоять сумѣетъ.

— Но я къ нему, разумѣется, не вернусь.

Начинаются планы. Да, поселятся вмѣстѣ. Глѣбъ, Элли и Люся. Квартиру надо побольше. Деньги? Ну, откуда нибудь да появятся.

Глѣбъ въ эти дѣла посвященъ. И сочувствуетъ. Максимка, хоть и профессоръ, а болванъ первосортный. Давно пора Люсь удрать. Насчетъ денегъ, конечно, устроится. Вообще настроеніе Глѣба: все хорошо! Все интересно, все ярко, осенью путешествіе, а сейчасъ вотъ онъ пишетъ, и хотя жутко — каждый разъ какъ кончается рассказъ кажется, что это послѣдній, дальше ничего не напишешь: жутко, а подъ всѣмъ этимъ такой

напоръ силъ, чувствъ, такая острота молодости. Все бы взять, испытать, видѣть!

На другой день Люся пытается помогать кое-что по хозяйству. Марфуша, потряхивая огромной серьгой въ ухѣ, поминутно почесывая въ головѣ, отстраняетъ ее. «Нѣтъ ужъ, барыня, я сама... что ужъ. Нѣтъ ужъ». Люся мила и скромна. Курилко приходитъ. На томъ-же балконѣ они воркуютъ. Предъ вечеромъ вновь лежитъ Люся на постели, опять записываетъ. Элли смѣется.

— Обиды считаешь?

— Нѣтъ, теперь не обиды.

Люся снова серьезна. Теперь графа только одна. Элли опять заглядываетъ.

— Ахъ, дура! Ахъ, дура! Романы считаетъ.

— Послушай, я отчасти передъ нимъ и виновата, конечно. Но что-же мнѣ дѣлать, если ужъ я такая? Я вѣдь всегда увлекаюсь, и всегда искренно.

Люся почти дѣловита. На бумажкѣ въ порядкѣ, столбцомъ, выведены аккуратнымъ ея почеркомъ имена и фамиліи.

— Ну, что у тебя тамъ?... Назимовъ, Алеша, Приклонскій, Скоробогатовъ, Костенька, Таракакинъ... какія фамиліи!

Люся задумчиво ведетъ пальцемъ по списку, какъ будто подсчитывая.

— Иногда кажется даже: бѣдный мой Максимъ! Вѣдь выходитъ, я ему измѣняю? Но ты знаешь... Элька, ты знаешь, я вѣдь его по своему и люблю. Онъ иногда грубъ, а иногда очень милъ. Я привыкла къ нему. Можетъ быть, это нехорошо, что у меня все увлеченія?

Огромные, прекрасные глаза ея будто хотятъ что-то не то понять, не то въ себѣ утвердить — сколько Сержей и Левушекъ отразалось въ этой безсвѣтной безднѣ!

— Но ты понимаешь, такая моя натура. Я всегда съ лучшими намѣреніями, а кончается... ты знаешь чѣмъ.

— Позволь, сколько-же выходитъ? Да-а, порядочно... а послѣдній Курилко. Такъ.

Люся сама нѣсколько озадачена, слегка стихаетъ. Потомъ находитъ на нее почти и грусть.

— Значить, я страшная дрянъ? Элька, ты какъ находишь — ну, говори, говори! Прямо дрянъ?

Элли хохочетъ. Люся продолжаетъ задумчиво:

— Вѣдь Максимъ не всегда грубъ. Онъ иногда со мной и очень ласковъ. И потомъ... потомъ.

Входитъ Марфуша, какъ всегда быстро, точно срываясь куда. Почесываетъ въ головѣ пальцемъ. Сergyа въ ухѣ покачивается, въ рукахъ письмо — подаетъ его Элли.

— Отъ ихняго барина. Андрей принесъ.

Элли читаетъ сперва покойно, потомъ смѣется и вспыхиваетъ, съ отѣнкомъ гнѣва.

— Твой Максимъ вовсе болванъ. Что, онъ съ ума сошелъ?

— Да что такое?

— О тебѣ, конечно. Ну, это понятно, онъ сердится. И уже знаетъ, что ты тутъ. Ахъ, идіотъ!

Элли бросаетъ Люсѣ письмо.

— Грозить, что если ты не вернешься, онъ на меня въ судъ подастъ... за похищеніе его жены! Глѣбъ, иди сюда, я, оказывается, похитила у него Люсю!

Глѣбъ появляется, Элли хохочетъ, Люся болтаетъ ногами высоко въ воздухъ и слегка повизгиваетъ.

— Прелесть, Максимка мой, прелесть!

Глѣбъ тоже въ очень веселомъ настроеніи.

— Люсенька, да вѣдь онъ болванъ.

Но Люся не совсѣмъ такъ считаетъ. Отсмѣявшись, становится снова задумчивой.

— Вотъ, значить всетаки любить. Я плохая жена, а онъ меня любить.

Къ вечеру впадаетъ она въ меланхолію. Конечно, и Глѣбъ и Элли очень къ ней милы. Но всетаки... это вѣдь не ея домъ. Ну, вот, поживетъ день, два, а дальше? Все на этой постели валяется?

Глѣбъ и Элли вышли пройтись, на Пречистенскій бульваръ. Люся одна, въ теплыхъ лѣтнихъ сумеркахъ. Она лежитъ, начи-

наетъ. опять, теперь мысленно, подсчитывать: сколько разъ она вотъ такъ, въ грустную минуту, ложилась подъ бокъ къ мужу, головой на плечо, у себя дома, въ собственной комнатѣ. «Нѣтъ ужъ теперь, если здѣсь, то никогда я не лягу къ нему подмышку нѣтъ, ужъ никогда...» Изъ ея черныхъ глазъ капаетъ на эллину наволочку слеза. «Никогда не увидѣтъ мнѣ Максимку!»

Ночью спитъ она въ глѣбовой комнатѣ, а Глѣбъ съ Элли здѣсь. Въ девять они подымаются. Марфуша подаетъ самоваръ.

— А что-жъ барыня встала? спрашиваетъ Элли. — Сейчасъ чай будемъ пить.

Марфуша оборачивается, встряхиваетъ головой. Серьга въ ухѣ отчаянно прыгаетъ.

— Нѣту барыни. Только я это въ булочную собралась, онѣ ужъ одѣтыя, и со мной вмѣстѣ вышли, и чемоданчикъ съ собою... скажи, молъ, благодарю... меня мужъ ждетъ. И мнѣ за услуги полтинникъ дали.

Въ это время Цусима гремѣла. Тонули русскіе корабли, тонули русскіе моряки — вдали, на краю свѣта. Русскіе либералы надѣялись, что побѣда Японіи будетъ Россіи полезна.

Глѣба политика не занимала. Но читая объ этомъ, онъ содрогался: можно-ли себѣ представить, что вотъ тысячи людей просто на просто утонули въ пучинахъ? Или въ трюмахъ задохлись опрокинувшагося крейсера?

Элли оплакивала знакомаго. На одномъ изъ броненосцевъ погибъ графъ Нейродъ — года два назадъ встрѣчалась она съ нимъ въ Севастополѣ. Не пожелавъ сдаться пустилъ себѣ пулю въ лобъ. «Это что-то ужасное!» говорила Элли. «Я какъ сейчасъ помню его на набережной, у отеля Киста, весь въ бѣломъ, нарядный морякъ... совсѣмъ юный. Какъ у нихъ тамъ называютъ... мичманъ, что-ли? Или лейтенантъ? Глѣбъ, ты понимаешь, онъ всегда немного тѣмъ форсилъ, что вотъ онъ баринъ, графъ. Да, и не захотѣлъ сдаваться».

Элли волновалась и кипѣла, искренно ей было жаль и графа, и другихъ, но въ кипѣніи этомъ быстро и разряжалась. Зашла въ церковь къ Николѣ Плотнику, помолилась, заплакала

ла, поставила на канунъ свѣчку, Севастополь вспомнила, какъ съ мамой туда ѣздила — въ самый разгаръ разрыва съ мужемъ. Бѣлый Херсонесъ, скалы Георгіевскаго монастыря, синій туманъ моря, солнце — блескъ его ослѣпительный въ ряби волнъ — Боже мой, на такихъ волнахъ, можетъ быть и въ такой-же день погибъ бѣдный Нейродъ и никогда уже не увидитъ ихъ. Все это грустно! Все очень грустно, но за церковью Николы Плотника снова Арбатъ, то же солнце, лѣтній грохотъ пролетокъ и ея молодая жизнь, Глѣбъ, любовь... Осенью Италія. Боже, какъ хочется жить! Какъ иногда страшно и скорбно на душѣ, потомъ какъ и сіяюще!

И война, ужасы Цусимы, все несло, уносилось, свѣтлою рѣкою замывалось.

Глѣбъ, изъ за работы, не могъ тронуться въ Прошино. Июнь, жаркій іюль проводили они въ Москвѣ. Хотя къ лѣтнему городу мало привыченъ былъ Глѣбъ, но сейчасъ чувствовалъ себя хорошо. Съ утра за работой — самъ-ли писалъ, поправлялъ-ли переводы, корректуру-ли держалъ — весь день его погруженъ въ литературу. Иногда Элли уѣзжала къ Люсѣ на дачу въ Люблино, Глѣбъ одинъ сидѣлъ надъ гранками, относилъ ихъ на Молчановку издателю, жаркимъ московскимъ вечеромъ — дѣло свое, нужное. Это не лекціи въ Техническомъ и не Коровій Бродъ. Даже не Университетъ, куда онъ такъ стремился, а теперь все больше холодѣлъ. И отецъ могъ недовольно удивляться: «чего онъ тамъ сидитъ въ Москвѣ? Жарища, пыль! Неосновательные люди! Городскіе». Мать тоже могла сколько угодно огорчаться, что это «она» удерживаетъ его, «ей, конечно, въ деревнѣ скучно!» — Глѣбъ съ Элли пустили въ Москвѣ корни.

Днемъ солнце туманнымъ огнемъ висѣло въ небѣ, по ночамъ духота. А въ одинъ изъ послѣполудней, за Тверской зашла страшная туча, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, съ грознымъ валикомъ-оторочкой впереди. Она тронулась на Арбатъ, Спасопесковскій. По началу шла медленно, въ угрожающей силѣ, потомъ вдругъ завились въ пыли смерчи надъ московскими улицами, листья откуда-то полетѣли и — вихрь, вой, окна

хлопають, гдѣ-то стекло вылетѣло, надвинулась зеленоватая тьма, ломавшаяся огненными извивами. Било, стрѣляло! Бѣлый дождь хлесталъ. Задыхаясь въ ураганѣ едва успѣлъ Глѣбъ затворить окно (чуть не сорвало занавѣску). Элли поблѣднѣла. «Глѣбъ, это что-то ужасное! Ты посмотри только...» И на всякій случай къ нему привалилась: все-таки, мужчина, мужъ. «Да, знаешь...» О, что за силы! Нѣчто, можетъ быть, и мистическое? Не таковъ-ли будетъ и конецъ свѣта?

Но конецъ свѣта еще не наступилъ. Буря отвыла, отгрохотала, сколько ей полагается, и отошла. Наступила минута — можно окно отворить. Капли еще летятъ, но уже надъ Тверскою свѣтлѣетъ и снаружи воздухъ душистый, прохладный входитъ въ жаръ комнатъ.

Элли бѣжитъ внизъ къ Воленькѣ. Въ его комнатѣ у окна лужа: не успѣли окна закрыть во время. Клавдія Афанасьевна возится съ тряпкою. «Ну, какъ ты, Воленька, прелесть моя?» Воленька лежитъ на спинѣ, дышитъ довольно тяжело, но улыбается, протягиваетъ Элли огромную свою руку. «Ничего, ничего!» «Боялся грозы? Я ужасно!» «Грозы не грозы... я, знаешь, сталъ задыхаться очень». «Еще-бы, духота какая». «Я радъ, что ты пришла... ты, Элли, такая веселая. И ты ласковая»... Клавдія Афанасьевна кончила вытирать полъ. «Онъ всегда ужъ васъ ждетъ. Какъ, говоритъ, Елена Александровна придетъ, такъ мнѣ и лучше». Элли смѣется. «Ну, тогда надо у тебя вѣчно сидѣть?»

Когда Клавдія Афанасьевна вышла, Воленька поцѣловалъ Элли руку.

«Да, всегда... а нынче радъ особенно. Гроза, ты говоришь, отъ духоты задыхаюсь... Нѣтъ, хуже. Мнѣ, Элли, очень плохо. Я ужъ при мамѣ не хотѣлъ говорить. Мнѣ все хуже. Заливаетъ меня... вотъ... — оттого и дышать трудно». Онъ сѣлъ на постели. «По ночамъ тяжело. Не могу спать и все мрачныя такія мысли. Ну, конечно, всѣ умремъ, а все-таки... Элли, знаешь, страшно умирать». «Да Господь съ тобой, ты двадцать разъ оправившись, чего тебѣ умирать? Осенью въ Италію вмѣстѣ поѣдемъ!» Воленька посмотрѣлъ на нее внимательно, чуть

улыбнулся. Наклонилъ голову, будто разглядывалъ свои руки. Огромныя впадины на вискахъ полоснули эллино сердце. «Ты помнишь, я тогда читалъ, у васъ на вечерѣ, Андрея Бѣлаго: «исчезнетъ міръ и Богъ его забудетъ» — нынче ночью какъ разъ это вспомнилось. Неправильно, конечно. Богъ есть и не забудетъ, помни это, я завѣщаю тебѣ, ты свѣтлая, но путаная голова, я тебѣ завѣщаю: Богъ есть, и не оставитъ, но пути Его... ахъ Его пути не по нашимъ головамъ. Мы знать не можемъ. Ахъ, мы иногда изнемогаемъ». Онъ вдругъ взялъ голову обѣими руками, закрылъ лицо ладонями. Элли вся задрожала — въ нестерпимой жалости. «Воленька, Воленька, милый...» Припала къ нему, онъ слегка отстранилъ и вдругъ всхлипнулъ. «Не надо, не надо, добрая душа, полевой вѣтеръ... у тебя Глѣбъ есть, тебѣ еще долго жить съ нимъ»...

Когда Элли поднялась наверхъ, прозрачно-золотѣющій, зеленоватый вечеръ наступалъ уже. Послѣ дождя все просіяло и промылось, искрится въ благоуханіи. Глѣбъ занятъ корректурами.

— Ну, какъ?

— Ужасно, ахъ, ужасно.

Элли ходитъ, садится, опять встаетъ.

Воленька такъ страдаетъ, ему надо помочь, но какъ? Чѣмъ? Элли непрочъ была-бы просто болѣзнь изъ него вытащить, задушить... да, но это ребячество.

— Ему дѣлаютъ теперь сухія воздушныя ванны... страшно горячія, чтобы выпаривать воду. Такое мученіе... а потомъ, когда спину труть, то ему легче. Я буду къ нему ходить, у него дежурить, вотъ такъ растирать спину.

Марфуша внесла самоваръ. Золотыя серьги ея блестѣли въ вечернемъ солнцѣ. Паръ забивалъ лицо — маленькая, проворная и худая, походила она на обезьянку.

— Барыня, гроза-то была... Вихорь-то! Въ булочной сейчасъ говорили: Анненгофскую рощу снесло. Пря-ямо! Какъ на покосѣ, говоритъ, скосило. Ни деревца! А то еще, будто, товарные вагоны въ Дорогомиловѣ посбросало, какъ есть съ насыпи внизъ подъ откосъ...

Элли сѣла за самоваръ. Въ тихихъ сумеркахъ, прозрачныхъ и безмятежныхъ, пили они съ Глѣбомъ чай, ѣли теплые савостьяновскіе калачи съ масломъ Бландова — можетъ быть и изъ прошинскаго молока. Чайная колбаса, ломтики ветчины. Глѣбу казалось, какъ грустно, и радостно вотъ такъ сидѣть, такъ уединенно, средь бурь и сіяній, здѣсь вдвоемъ и въ любви, и въ пріятельствѣ, а тамъ, внизу, темная бездна со стенами Воленьки. И они на самомъ краю, на самомъ.

Элли вдругъ приподнялась, обняла его. Въ полусумракѣ вечера онъ совсѣмъ близко увидѣлъ знакомые, милые, сумашедшіе зеленоватые глаза.

— Глѣбъ, не умирай! Ты... не умирай! Я не могу, не могу...

Ея теплое, легкое, такое знакомое тѣло со слабымъ запахомъ духовъ, съ мягкими, путаными волосами на головѣ, иногда такое бурное и кипящее, въ дѣтской безпомощности на немъ повисло.

— Не умирай!..

.....

Сандро бѣгалъ по Москвѣ съ видомъ неунывающего сатира, заговаривалъ молодыхъ дамъ Гамсуномъ и Пшибышевскимъ, бурно хохоталъ, много ѣлъ и откуда-то умудрялся доставать деньги. Погорѣлковъ изслѣдовалъ кабачки и клоаки, прицѣливаясь на московскаго Верлена — въ боковомъ карманѣ всегда носилъ тетрадочку стиховъ, только что написанныхъ: охотно почитаетъ, были-бы слушатели. Цилиндръ все красуется на немъ, красная гвоздика въ петличкѣ. И въ концѣ концовъ онъ отдастъ и тому-же Сандро и вообще кто попроситъ послѣднюю трехрублевку, считая, что такъ поэту и полагается. «Какъ весна я молодъ, и какъ пламя жгучъ» — но и слѣдующая трехрублевка неизвѣстно ему самому какимъ способомъ всетаки у него появится.

Люся успѣла къ Курилкѣ за лѣто остыть, ее больше занималъ теперь студентъ въ Люблинѣ, сосѣдъ по дачѣ. Заѣзжая на Арбатъ къ Элли, она сіяла агатовыми своими глазами. «Ты понимаешь, онъ слушаетъ археологическія лекціи, самъ работаетъ, его при Университетѣ оставляютъ. Очень, оч-чень интерес-

ный. Онъ про мозаики Кахріе Джамі страшно занятно рассказываетъ. Ты какъ смотришь на Кахріе Джамі?» Элли врядъ-ли могла сказать нѣчто о Кахріе Джамі, но Люся трянула кудряшками и неслась уже дальше. «Да, а ты знаешь, тотъ ураганъ, помнишь... ну, у насъ весь огромный лѣсъ, за озеромъ, какъ косой скосило».

Итакъ, все въ порядкѣ. День набѣгаетъ за днемъ, іюль идетъ за іюнемъ, липы вокругъ церкви Спасопесковской отцвѣли. Въ «Петербургскомъ Журналѣ» появилась статья о Глѣбѣ — Элли всѣмъ показываетъ. «Вы читали? очень хвалятъ...» Глѣбъ дѣлаетъ видъ будто недоволенъ, что она раззваниваетъ, да и сама статья... ну, разумѣется, сочувственно. Самъ-то онъ перечиталъ ее не разъ — первая цѣльная статья, а еще книги нѣтъ, отдѣльные рассказы. Свое имя въ печати кажется особенно наряднымъ, да, неплохое имя. Сразу изъ другихъ выдѣляется.

Въ это-же самое время Воленька внизу задыхается. Его мучать ваннами. Элли къ нему бѣгаетъ внизъ-вверхъ, легкимъ эльфомъ на длинныхъ ножкахъ, онъ не устанут носить ее, не устанутъ. «Глѣбъ, это такой ужасъ, онъ такъ страдаетъ» Глѣбъ тоже ходитъ и сочувствуетъ. Но у него нѣтъ дара Элли, онъ и стѣсняется, и робѣетъ, и такъ разстраивается, что мало дать можетъ. Поднявшись наверхъ широко вздыхаетъ: да, тутъ его рукописи, тамъ листъ метерлинковской корректуры, здѣсь «Петербургскій Журналъ», книги объ Италіи... — все дѣло въ этомъ, и въ этомъ главное.

А вотъ входитъ Косинскій. Онъ красенъ, усы его внизъ, глаза воспалены, воротничекъ помятъ. Элли является. Онъ грузно сѣлъ. «Да, такъ-то... Глѣбъ, у васъ папироса найдется?» Глѣбъ подаетъ. Съ видомъ идущаго на казнь, послѣднюю радость вкушающаго, Косинскій затягивается — жадно и самозабвенно. «А психопатка-то моя сбѣжала...» Онъ на Глѣба смотритъ тяжкимъ взоромъ. «Ну, куда.. какъ сбѣжала?» «Да ужъ такъ. Бросила. Съ прохвостомъ». Молчаніе. «Послушайте, вамъ приходилось видѣть когда-нибудь настоящую вырожденскую стерву съ поэтическимъ именемъ? La voilà — Майя!

Нѣжно и волшебнo. Но въ ней знаете какая душа? Кухарки-съ! Ахъ, что тамъ, я вашу Марфушу обижаю, это золото рядомъ съ моею феей. Нѣтъ, сколько она кровушки моей попила, этого не разскажешь. У васъ вина нѣтъ?»

Вина не оказалось. Все равно, гость не смолкаетъ. Профиль его волкообразный еще рѣзче, усы еще ниже и длиннѣй. «За моей спиной завела шашни съ проходимцемъ, — будто офицером, онъ казацкую форму носитъ, у него и кинжалы, и газыри, морда красная, играетъ на гитарѣ, самъ бѣлобрысый и брови бѣлыя — а имя? Все вреть, разумѣется. Фамилію явно сочинилъ: Мельгау де Графъ Энлевейнъ Гурри. Подумать только! Этой фамиліей мою дуру и доѣхалъ. Мельгау де Графъ... нелѣпость, для психопатокъ! Увѣряю васъ, будь этотъ жуликъ просто Сидорчукъ, ничего-бы и не было. Но бестія продувная: подговорилъ тайно бѣжать, въ мое отсутствіе (я уѣзжалъ въ Абрамцево). Вещи всѣ забрала. Свои, да и моихъ не постѣснялась! И главное — всѣ мои деньги! Возвращаюсь, ни копыя! Совершенно обчистила.

— Много вашихъ денегъ увезла?

— Десять рублей.

Элли засмѣялась.

— Какая прелесть!

— Да, вы смѣетесь, потому что вы помѣщица. Взяли да и уѣхали въ деревню.

— Я помѣщица?

— Разумѣется. У вашего мужа имѣніе. Для васъ десять рублей не деньги!

Элли вспыхнула.

— Ну, это ужъ вы чушь порете!

Глѣбъ вмѣшался.

— Единственно, что мнѣ въ политической экономіи нравилось, намъ въ Университетѣ читали: психологическая теорія цѣнности, Бемъ-Баверка.

— Эти Бемъ-Баверки хороши, когда деньги есть.

— Элли, понимаешь: у кого рублей больше, тотъ каждый рубль меньше цѣнить. А у кого ихъ...

— Именно, у насъ съ тобою страшно много!

— А у него еще меньше. Десять что тысяча.

Бемъ-Баверкъ успокоилъ волненіе. Было признано, что послѣднія десять цѣлковыхъ унести очень жестоко, ну, а насчетъ причинъ внутреннихъ...

У Элли на этотъ счетъ взгляды ясные.

— Если она его полюбила, то это все. Любовь все. Тутъ ничего нельзя сдѣлать и она права. А деньги.. фу! Ничего.

Художникъ долго бурчалъ. Въ знакъ сочувствія Элли дала ему три рубля. Онъ пошелъ утѣшаться въ «Ливорнію».

Въ тотъ-же день, возвращаясь домой въ сумерки, Элли у двери Воленькиной квартиры увидѣла большой темный гробъ — онъ приставленъ былъ къ стѣнѣ стоямя, рядомъ крышка съ глазетовыми кистями. Похолодѣвшею рукою толкнула она дверь, никогда теперь и не запиравшуюся. Въ передней было темно, Клавдія Афанасьевна брела изъ кухни, шаркая туфлями. Дверь къ Воленькѣ пріотворена. Букетъ огромныхъ колокольчиковъ — Люся привезла изъ Люблина — на столѣ. «Ослабѣлъ, ослабѣлъ», зашептала Клавдія Афанасьевна. Послѣ ванны совсѣмъ ослабѣеть». «А... а, да»... Элли взяла Клавдію Николаевну за рукавъ, попятилась назадъ къ двери. «Ничего, вы и здѣсь можете говорить, онъ заснулъ сейчасъ, ничего»... Онъ вмѣстѣ выступили на лѣстницу. Ни гроба, ни крышки не было. Элли перевела духъ. «Я нынче еще зайду... ночью у него посидѣть, потереть спину». «Спасибо, душечка, вы замучитесь съ нимъ».

Элли медленно побрела наверхъ. «Что-жъ, я сумасшедшая, на самомъ дѣлѣ? Психопатка?»

Вошла къ себѣ потихоньку, сняла перчатки. Все было мирно, обычно: Марфуша возилась на кухнѣ, Глѣбъ зажегъ у себя лампу и писалъ что-то. Она его позвала, прошла въ большую комнату съ фонаремъ-балкономъ на Спасопесковскій.

— Глѣбъ, слушай... ну это что-то ужасное. Я сейчасъ гробъ видѣла. У Воленьки. А тамъ никакого гроба нѣтъ.

И она рассказала все какъ было.

Глѣбъ взялъ ее за руку. Рука очень холодная.

— Померещилось тебѣ... отъ нервности.

Она сидѣла на постели очень блѣдная. Потомъ вдругъ ослабѣла и мягко, какъ-то безотвѣтно завалилась на спину, поперекъ кровати. Глѣбъ зналъ — съ ней такое бываетъ: обморокъ. Зналъ, и всегда боялся таинственной этой силы, сразу жизнь останавливающей. Бездыханна, безпомощна! Онъ ее поднялъ, руки висѣли. Положилъ голову на подушку, разстегнулъ воротъ, одеколономъ потеръ виски, далъ понюхать. Опять приподнялъ и къ себѣ прижалъ. Кто-то хотѣлъ отнять ее у него. Нѣтъ, мое, не отдамъ! И встряхнулъ.

Точно сорвалось что внутри съ петли, глубоко она вздохнула — да, да, жизнь! Глѣбъ цѣловалъ ея лобъ, пахнувший одеколономъ, слышалъ стукъ собственного сердца, но теперь это не тотъ, страшный и безмолвный міръ, а она, настоящая, хоть и такая по ребячески сейчасъ слабая Элли. Она его обняла. «Ты тутъ... ну, ничего, значить все хорошо. А мнѣ плохо было». «Да, да, лежи, я тебя укрою».

Этотъ вечеръ былъ тихъ, такъ уединенъ. Элли лежала, Глѣбъ кормилъ ее супомъ, она съѣла крыло цыпленка, изъ Прошина присланнаго. «Нездоровая барыня-то?»`шептала Марфуша, почесывая въ головѣ пальцемъ. «А я имъ чайку горяченькаго»... И уже бѣжала назадъ въ кухню, потряхивая серьгой на ходу.

Элли просила, чтобы Глѣбъ спалъ нынче здѣсь. Марфуша постелила ему на диванчикѣ. А сама внизъ спустилась — сказать Клавдіи Афанасьевнѣ, что сегодня барыня не придетъ, «сами нездоровы».

— Глѣбъ, говорила Элли: ты не уходи изъ комнаты. Тутъ и занимайся. А то мнѣ безъ тебя страшно.

— Чего-же страшно?

— Не знаю. Страшно.

Черезъ нѣсколько минутъ она спросила:

— А по-твоему Воленька умереть?

Глѣбъ вздохнулъ.

— Да, мнѣ кажется.

— И я такъ думаю. Бѣдненькій онъ. Дай мнѣ руку.

Глѣбъ подошелъ, сѣлъ на постели.

— Ничего, спи. Господь съ тобой.

Она погладила его руку, потомъ поцѣловала ее.

— А что тамъ, будетъ, Глѣбъ? Ты себѣ представляешь?

— Нѣтъ, мало. А вѣрить надо.

— Мы не разстанемся и тамъ, сказала Элли тихо, твердо.

— Иначе быть не можетъ.

Съ этимъ вдругъ, по-младенчески, она и заснула, на спинѣ лежа, тѣмъ сномъ чистымъ и невиннымъ, точно ей лѣтъ семь. Глѣбъ минутку посидѣлъ, потомъ поднялся. Въ комнатѣ, во всемъ домѣ, во всемъ, показалось ему, городѣ и мірѣ было тихо. У изголовья Элли лежало маленькое Евангеліе. Глѣбъ взялъ его, наудачу развернулъ. Открылось о блудномъ сынѣ. Онъ прочелъ, поцѣловалъ и положилъ книжку на мѣсто, рядомъ съ головой Элли. А самъ сѣлъ къ лампѣ. Онъ былъ взволнованъ. Онъ себя странно чувствовалъ. Но легко, будто полонъ силъ. Да, вотъ этотъ кругъ свѣта лампы, тутъ онъ и Элли, а дальше тьма, и внизу бездна, гдѣ Воленька близится къ отходу. Но въ этомъ свѣтѣ жизнь, что-то страшно-важное и таинственное, и грозное, но это все надо. Это Отчій домъ. Все хорошо. Страшно, грустно, радостно — все Отчій домъ.

Элли тихо спала. Во снѣ безраздумно подняла руку, жестомъ вѣковѣчнымъ женственной нѣжности, слегка изогнувъ ее въ локтѣ. Положила на нее голову опять какъ Микель-Анджелова «Ночь».

Глѣбъ смотрѣлъ и смотрѣлъ — вотъ эти грусть и очарованіе спящей молодой женщины. «И она все-же уйдетъ, такъ же умереть, какъ и я. Значить, такъ ужъ дано. Боже, не разлучай насъ въ вѣчности».

Липы внизу пожелтѣли. Хмурилось, дождь. Въ комнату вошла Марфуша, не стремительно. Видъ у ней будто-бы и смущенный. Всетаки, въ головѣ почесала. «Тамъ, барыня, снизу пришла женщина. Баринъ ихній... скончались». Тутъ Марфуша дрыгнула головой, серьги ея заплясали.

Глѣбъ и Элли перекрестились. Чрезъ нѣсколько минутъ

были уже внизу. Огромный, безмолвный, со сложенными на груди руками, лежалъ Воленька на спинѣ, навсегда уснувшій смотрѣль въ ту-же вѣчность. Распростершись предъ нимъ Клавдія Афанасьевна исходила вѣчнымъ материнскимъ стономъ — отъ начала рода человѣческаго до его конца.

Элли поцѣловала теплую еще руку Воленьки. «Воленька, милый...» — но вся нѣжность ея никогда бы не могла поднять этого и худого и костистаго человѣка съ огромнымъ лбомъ и провалами на щекахъ съ его смертнаго ложа. Элли просто по женски его оплакивала.

Скоро и Коленька появился. Онъ тоже былъ и взволнованъ и разстроенъ, но въ мѣру. Обнялъ мать, посадилъ ее. Братъ умеръ — очень жаль. Но его надо хоронить, надо все это и устроить, и о квартирѣ позаботиться. «Коленька», говорила сквозь слезы Элли: «онъ вѣдь былъ чудный, чудный!» «Ну, да, разумѣется... Да что-жь теперь подѣлать. Теперь надо его хоронить».

А черезъ нѣсколько времени сообщилъ Глѣбу, что самъ какъ разъ женится. «Все такъ и выходитъ, въ той квартиркѣ, въ каютѣ-то моей гдѣ-же мнѣ съ женой бы устроиться. Теперь будемъ съ мамой здѣсь жить». Они стояли у окна. Каріе, живые, жизненные глаза Коленьки уже осматривали, какъ-бы и примѣрялись къ размѣрамъ комнаты — гдѣ что поставить, что внести и что вынести. «А вы съ Элли, мнѣ говорили, въ Италію?» Глѣбъ вздохнулъ. «Да, собираемся».

Глѣбъ былъ грустенъ, вполнѣ въ этомъ искрененъ. Могила и бездна зіяли предъ нимъ. Но хотѣлось другого... И это другое уже воплощалось — въ круговомъ маршрутѣ билета: Варшава-Вѣна-Венеція-Флоренція-Римъ-Неаполь — *andata ritorno*. Одна часть души была здѣсь, а другая ужъ тамъ и ничто не могло этого измѣнить.

Коленька правильно и прилично соорудилъ похороны. На другой день, у двери Воленькиной квартиры Элли ясно увидѣла тотъ самый гробъ, прислоненный къ стѣнѣ, рядомъ съ нимъ крышку, которые были ужъ ей знакомы. Холодъ знакомый прошелъ по спинѣ. Но на этотъ разъ черезъ нѣсколько

минуть гробъ вносили уже въ квартиру, туда полагали Воленьку, чтобы завтра везти на кладбище въ Дорогомилово.

«Значить, я сумасшедшая?» сказала Глѣбу Элли. «Какъ же могла видѣть тогда... все, до мелочей глазета то-же, что и теперь?» Но Глѣбъ не задумался. «Не сумасшедшая, а способна къ экстазу. Въ ту минуту вышла изъ времени. Гробъ видѣла все тотъ-же, но до насъ и до тебя обычной онъ дошелъ только сейчасъ». Элли не очень поняла, но успокоилась. Разъ Глѣбъ сказалъ, значить вѣрно. Онъ и читалъ недавно что-то о четвертомъ измѣреніи. Значить, не сумасшедшая.

Черезъ нѣсколько дней послѣ смерти брата Коленька вѣхалъ въ квартиру матери. Глѣбъ-же и Элли, наволновавшись, наплакавшись сколько надо, подѣзжали въ то время къ Варшавѣ, откуда скорый поѣздъ мимо пограничной Тшебини, долженъ былъ мчать ихъ къ Вѣнѣ, Италіи.

VIII.

Думая, что въ деревнѣ будетъ жить вольной и милой сердцу помѣщичьей жизнью, отецъ ошибался: ни широты, ни общества, какъ въ Людиновѣ, ни занятнаго дѣла не оказалось. Хозяйство скромнѣйшее, охота плохая. Завель-было гончихъ, выѣзжалъ съ Кнорреромъ, но и изъ этого ничего не вышло.

Онъ старѣлъ и мрачнѣлъ. Уходила веселость, остроуміе молодости. Все дольше, унылѣе сидѣлъ надъ своимъ пивомъ въ столовой-ли, или на балконѣ, подперевъ рукой голову, гдѣ можно къ матери придираясь. Мать-же была какъ всегда — въ холодноватой ея сдержанности невелика власть времени. Но оно шло. Въ столь знакомой, съ дѣтства, прическѣ съ пробормомъ посрединѣ все больше замѣчалъ Глѣбъ сѣдины. Но такъ-же спокойно она являлась, въ кухнѣ-ли или въ гостиной, съ поденщицами или работниками — со всегдашней непререкаемостью и властью. Такъ-же вздыхала, такъ-же ложилась днемъ, послѣ обѣда, прикрывъ голову и глаза носовымъ платочкомъ — лежала и не спала, думала.

Лиза съ Артюшей подъ Ставрополемъ, въ глуши. Тамъ онъ

лѣчить какихъ-то калмыковъ. Вотъ Лизѣ приходится разыгрывать въ Башантѣ этой Бетховеновъ, растить и обучать дочь пятилѣтнюю!

Глѣбъ здѣсь, въ Москвѣ, и «эта женщина», видимо, крѣпко его взяла, они живутъ какъ имъ нравится: шумная молодежь, рестораны, клубъ литературный. На авансы издательствъ ѣздятъ въ Италію. Вообще-же ничего у нихъ нѣтъ, все на фу-фу, все на фу-фу, лѣто проводятъ въ деревнѣ, только объ Италіи этой и говорятъ. Кажется, осенью опять собираются.

Мать отъ истины недалеко. Лѣтомъ во флигелѣ живутъ у нея какъ-бы дачники. Укромное это Прошино для нихъ только станція, передышка. А настоящая жизнь: вновь увидѣтъ Флоренцію и Тоскану, Римъ, сокровенные и священные края вѣчной Италіи.

Теперь у Глѣба во флигелѣ было довольно ужъ много книгъ объ Италіи, карты, путеводители. Хорошо, что отецъ рѣдко къ нему забредалъ! «Городскіе люди, неосновательные», сказалъ-бы, увидавъ разныя Сіенны и снимки венеціанскіе. «И куда это вы все торопитесь уѣхать? Развѣ здѣсь плохо?»

Разумѣется, плохо тутъ не было. Но когда на вечерней зарѣ выходили они въ поля, на прогулку, то мечтали все больше о томъ, какъ-бы снова закатиться подальше — на этотъ разъ, скажемъ, въ Ассизи, Урбино, или еще куда. «Помнишь, совершенно такъ-же солнце садилось, когда мы были на Санъ Миніато и еще смотрѣли на Флоренцію? Ахъ, чудно, чудно». Все, что Италію напоминаетъ, «чудно». «А изъ Фьезоле спустились вечеромъ въ Сеттиньяно, и еще свѣтляки летали? И мальчишки дохлую крысу подъ мостъ бросили?»

Даже крыса итальянская, и та радовала на поляхъ тульскихъ, а плохія-ли были поля? И русскій закатъ? Если-же предъ ними русскіе луга въ слабомъ туманѣ, это значитъ Равенна, ея окрестности, около S. Apollinare. «Ахъ, какой запахъ сѣна! Какъ въ Равеннѣ».

Съ матерью ничего у Элли не выходило. Хотѣлось бы, напимѣръ, полить цвѣты на клумбахъ передъ домомъ — «Нѣтъ, милая, зачѣмъ вамъ беспокоиться, я велю Катѣ». Или

Глѣбу что нибудь заштопать — «ахъ, нѣтъ, у насъ портниха на-дняхъ будетъ, она все и устроитъ».

И подобно Глѣбу Элли вела въ Прошинѣ жизнь въ своемъ духѣ: мечты, прогулки, чтеніе.

Любила съ дѣтьми болтать. Съ кухаркиной дочерью Таней и другой дѣвочкой съ деревни — звали ее Манька Клавишъ — ходила купаться. Тутъ ихъ увеселяла, изумляла. Ноги у Элли, правда, знаменитыя. Раздѣвшись, прежде чѣмъ лѣзть въ воду, она сидя закладывала ихъ одну за другую — вѣнкомъ заплетала. Потомъ пальцемъ ноги чесала за ухомъ — ни на что подобное прошинскія дѣвы не были способны. «Танька, Танька, гляди! Пря-а-амо!» Манька Клавишъ съ восторженнымъ изумленіемъ смотрѣла, какъ бѣлыя и точеныя длинныя ножки барыни завивались чуть не узломъ. «Вы не думайте», говорила Элли: «у меня ноги особенныя. Онѣ у меня волшебныя». Манька Клавишъ раздѣвала ротъ, полный огромныхъ зубовъ — за это и прозвана Клавишемъ. «Онѣ какъ живыя. Любятъ другъ друга, ласкаются. Видите?» Она гладила ступню одной пальцами другой. «Иногда плачутъ. А то смѣются. Онѣ разговариваютъ другъ съ другомъ и со мной». «О чемъ-же разговариваютъ?» Элли, все сидя, подняла лѣвую ногу, приложила палецъ ея къ уху. «Да вотъ лѣвенькая говорить: пора, говорить, Манькѣ въ воду лѣзть. И пускай тамъ раковъ въ бережку поищетъ». «Барыня, да неужто правда?» «А еще», говоритъ, «словамъ моимъ только дуры не вѣрятъ».

Но на это званіе ни Таня, ни Манька-Клавишъ не зарились. Для нихъ вся вообще Элли была волшебная, особенная, ни съ чѣмъ прошинскимъ несравнимая. Какъ-же не вѣрить, что и ножки ея, никакъ на деревенскія непохожія, могутъ болтать, любить другъ друга, ссориться и мириться? И подъ зноемъ солнца іюньскаго, при запахахъ — рѣчки, Апрани, лозняка, травы, при всемъ очарованіи лѣта русскаго, кидались онѣ въ воду — Таня и Манька казались рядомъ съ Элли мулатками. Брызги летѣли, онѣ визжали, плескались, топили другъ друга — скромное развлеченіе погожаго дня.

Но вотъ однажды, вернувшись съ такого купанья, нашла

Элли дома смущеніе. Глѣбъ, въ свѣтлой чечунчовой блузѣ, повязанной ремешкомъ, встрѣтилъ ее еще на скамеечкѣ, у входа въ большой садъ. «Ты знаешь, телеграмма, нарочный съ почты. У Лизы плохо». Глѣбъ былъ разстроенъ. Элли побѣлѣла. «Нѣтъ, ну всѣ живы... но ты понимаешь, дѣвочка тяжело захворала. Дизентерія». «Ну, это что-то ужасное...» Элли даже сѣла отъ волненія на ту-же скамеечку — Таня и Манька-Клависьш замерли. «Да, понимаешь, они тамъ одни, въ степномъ поселкѣ. Лиза, конечно, изъ силъ выбилась». Элли вскочила — точно молнія пронеслась по ней. «Я туда ѣду. Къ Лизѣ. Сегодня-же». «Ужъ не знаю... да, хорошо бы, но вѣдь такъ далеко». «Идемъ, живо... Нѣтъ, это что-то ужасное. Нѣтъ, я ужъ не могу сидѣть въ этомъ Прошинѣ, когда тамъ...»

Остановить Элли теперь было-бы не такъ и легко. Что-то въ ней сдвинулось и понеслось — никакая умѣренность прошинская не могла-бы ее остановить. Съ мохнатою простыней, влажная и прохладная тѣломъ, но съ высокимъ давленіемъ изнутри, быстро она прошла садомъ — Глѣбъ едва поспѣвалъ. На балконѣ накрыто къ вечернему чаю. Отецъ, хмурый послѣ дневного сна, побалтываетъ ложечкой въ стаканѣ. Мать, въ бѣлой кофточкѣ, за самоваромъ — сдержанная, но въ тревогѣ.

— Какой ужасъ! Галочка захворала?

У Элли такой видъ, тонъ такой, что всѣ тотчасъ должны впасть въ то-же волненіе и возбужденность, какъ у ней. Мать на нее не смотритъ.

— Да, нездорова.

— Ну, такъ вѣдь одна-же Лиза тамъ не можетъ справиться?

Мать подымаетъ глаза отъ чайника.

— Навѣрно нелегко. Вамъ сейчасъ наливать чай, или вы зайдете сначала во флигель?

Мокрые локоны висятъ у Элли со лба, она ихъ откидываетъ кое-какъ. И садится, отложивъ простыню.

— Я поѣду къ ней.

Мать слегка блѣдна. Налила чашку, передаетъ Элли.

— Это очень далеко. Зачѣмъ вамъ тревожиться?

— Ахъ, я просто сегодня-же и уѣду! Неужели-жъ ей тамъ одной быть?

Собственно, мать сама думаетъ такъ-же. И сама-бы поѣхала, но живетъ въ рамкахъ и правилахъ — жизни, хозяйства, привычекъ — и какъ-же такъ, вдругъ взять да и бросить Прошино, и поскакать за тысячу верстъ. ...Ну, «она», конечно, куда угодно можетъ поскакать, на то она ужъ такая... И какъ-бы дѣйствуя сама противъ собственной дочери, мать медленно начинаетъ приводить доводы: навѣрно сегодня и лошадей нѣтъ, и потомъ неизвѣстно, когда изъ Москвы поѣзда идутъ на Кавказъ, и конечно, пока доѣдешь туда, все можетъ такъ или иначе кончиться. Надо все впередъ выяснить, «а тамъ посмотримъ».

Но Элли смотрѣть не можетъ. Въ той-же волнѣ подъема, несмотря на противодѣйствіе — медленное и упорное — матери, тотчасъ она начинаетъ укладываться. «Если лошадей нѣтъ, я на станцію и пѣшкомъ дойду. Чемоданъ мнѣ Глѣбъ донести поможетъ».

Представить себѣ, чтобы сыночка шелъ пѣшкомъ, еще чемоданъ-бы неслъ!

И лошади, разумѣется, отыскались. Тѣмъ-же вечеромъ, при затаенныхъ вздохахъ матери и отца («все не по людски дѣлается!»), Элли садилась со своимъ чемоданомъ, въ черной большой шляпѣ, въ ту самую коляску на плавныхъ рессорахъ, которую берегли для серьезныхъ поѣздокъ. Мать подставила щеку для прощальнаго поцѣлуя. Отецъ хмуро облокотясь на балконныя перила, глядѣлъ какъ Элли устраивалась въ коляскѣ. Глѣбъ провожалъ ее до станціи. «Лѣваго пристяжного придерживай», крикнулъ отецъ: «опять онъ у тебя будетъ горячиться. На немъ на одномъ и поѣдешь!» Эллиная шляпа проплыла мимо балкона въ зачинающихся сумеркахъ. И свѣтлая блуза Глѣба. «Городскіе люди! Городскіе. Неосновательные». Отецъ тоже понималъ, что на помощь Лизѣ отправиться надо, но тоже чѣмъ-то былъ недоволенъ.

* * * * *

Насчетъ поѣздовъ мать напрасно тревожилась: поѣзда шли отлично и Элли безъ затрудненій катила въ сѣромъ днѣ московскомъ мимо скошенной ураганомъ Анненгофской роши, чрезъ Перово, Люберцы, къ Фаустову со знаменитыми пирожками на вокзалѣ, чрезъ Рязань, гдѣ Ока разворачиваетъ луга безконечные, заливные, въ края Ряжска, Козлова, Воронежа. Жуя шоколадную плитку и глядя въ окно, видѣла безконечно-распаханныя поля, земли жирныя, черныя, и созрѣвающія моря хлѣбовъ, сизо-желтѣющихъ, и далекіе, за рѣкою, лѣса. Деревни разбросаны рѣже, чѣмъ подъ Москвою, размѣромъ-же больше. Вообще все здѣсь крупнѣе и диче. Вмѣсто плуговъ сохи, на бабахъ поневы какихъ нѣтъ уже подъ Москвою, мужики первобытнѣй, какъ и далекою стариной отзываютъ курганы, иногда вдалекѣ маячащіе.

Разумѣется, Элли въ вагонѣ не одна. Въ томъ-же купѣ ѣдетъ дама, расплывшаяся, водянистая, съ безконечными чемоданами и картонками, и дѣтьми — къ мужу на новое мѣсто, по интендантству. Элли кормить дѣтей конфетами и выслушиваетъ повѣствованіе о службѣ мужа, о женской болѣзни, да еще мало-ли о чемъ. Въ корридорѣ заводитъ знакомство: молодой одесситъ, изъ Москвы ѣдетъ на Кавказъ. Разговоръ тотчасъ о литературѣ. Все читалъ, обо всемъ слышалъ. «Ну, вашъ мужъ писатель? Такъ эти альманахи у насъ всѣ читаютъ. Безсомнѣнно я его знаю. Мягкая акварель, кисть легкая. Ахъ, какъ пріятно съ женой писателя встрѣтиться!»

Чѣмъ далѣе за Воронежъ, тѣмъ степей больше. Гдѣ ужъ тутъ Прошину и подмосковью! Вонъ оттуда, изъ за черты горизонта на востокѣ, шли эти орды, изъ за Каспія. Астрахань, низовье Волги, туда, да и дальше ѣздили на поклонъ русскіе князья, погибали тамъ, мученическіе вѣнцы стяжая. И прошло все — какъ гроза, какъ ураганъ, косившій рошу Анненгофскую — лишь курганы сторожевые остались.

По просторамъ донскимъ докатились къ Ростову, онъ мелькнулъ хмурой массой, въ постахъ, элеваторахъ, что-то скучно-торгово промышленное. Мутный Донъ мутно льется,

а тамъ, за нимъ, новыя степи — опять сотни верстъ. Не такъ ужъ тѣсна Россія!

Многолѣтняя интендантша исчезла, одесситъ покатишь далѣе, къ Пятигорску. Элли одна вылѣзла на Тихорѣцкой, и опять новый путь, желѣзнодорожная вѣтка до станціи Сандата. Край калмыцкій, начинается Азія, хоть на картѣ Европа. Здѣсь, въ московской своей шляпѣ, свѣтломъ костюмѣ, съ чемоданчикомъ, Элли садится въ тарантасъ — и по ровной дорогѣ, по ровной, вдали голубѣющей, безконечной степи дальше куда-то катить. Куда? Кто кромѣ ямщика знаетъ. Степь вездѣ одинакова, знойный вѣтеръ изъ за Астрахани и Каспія, солончаки, кочевья калмыцкія, кое-гдѣ селенія въ зноѣ струящемся проплывающія. А вотъ ясно она видитъ село: церковь, избы, акацію, прудъ огромный, зеркально-ясный, бродятъ коровы, вдали верблюды — будто дремлетъ въ пеклѣ. Подъ селомъ тонкая, стеклянно-зыблящаяся полоска по горизонту. И совсѣмъ недалеко, и совсѣмъ ясно видно. «Это что-жъ за село такое? Скоро доѣдемъ?» Ямщикъ оборачивается. «Какое село?» «Да вонъ, впереди, направо!» «Энто, барыня, и не село никакое». «А я его вижу». «Оно, пожалуй, что и село, только намъ по нему не ѣхать. Оно, можетъ, сзади насъ, или сбоку». Элли изумлена. Какъ-же сзади, когда передъ собой его видитъ? «А это ужъ у насъ такъ въ степу бываетъ... одна видимость оказывается, отъ горячаго-то отъ воздуха».

Элли слегка взволнована. Миражъ! Только-бы еще пальмы увидѣть, караваны пустыни. Да, странный край, странный, чужедальній. А вѣдь и это Россія. Какъ-то Лиза здѣсь вообще живетъ? Какъ-то дѣвочка? И опять, какъ не разъ въ пути, темное волненіе. А если уже опоздала? «Господи, спаси и сохрани!»

Передъ вечеромъ, при склонявшемся солнцѣ, показался въ степи одноэтажный домъ, въ сторонѣ другой, поменьше, нѣсколько деревьевъ да колодезь-журавль. «Башанта!» сказалъ ямщикъ. «Самая эта Башанта». «Можетъ, опять марево?» «Нѣтъ, барыня, теперь настоящая. Тутъ еще годъ назадъ ни-

чего не было, а теперь дохтуръ живеть, мнѣ самому недавно грызъ вправлялъ».

Да, вотъ гдѣ Лиза! Элли знала, что въ глуши, все-таки, не такъ себѣ представляла. Ни поселка, ни даже сосѣдей.

Тарантасъ остановился. Золотой зной заливалъ чистый домикъ, легкая тѣнь акацій мелкихъ только бродила, скользила по палисаднику. Песъ забрежалъ. Изъ за угла выскочилъ Артюша, въ русской рубахѣ, загорѣлый, съ длинными своими хохлацкими — вбокъ — усами. Увидавъ Элли весь расплылся.

— У-у, якъ живо обернулась! О то молодчина!

Элли соскочила, кинулась его цѣловать.

— Ну, ну, а Галочка?

Ничего, слава Богу. И Артюша ташилъ уже чемоданъ, крутилъ усь, съ ямщикомъ болталъ.

Лиза, въ легкомъ капотѣ, увидавъ Элли задохнулась, заплакала.

— Какъ ты быстро... Какъ вѣтеръ. Мы сегодня не ждали.

Элли, сама въ слезахъ, цѣловала мокрые ея глаза.

— Я въ тотъ-же вечеръ выѣхала, какъ телеграмму получила. Я ужъ сидѣть не могла въ этомъ Прошинѣ.

Въ комнатахъ было прозрачно, знойно. Очень чисто, все новенькое, съ иголочки. Со стороны солнечной ставни закрыты. Пока Элли, въ волненіи и возбужденіи, умывалась, Лиза рассказывала про Галочку. Ахъ, натерпѣлись... Да и теперь еще все неясно. Измождена ужасно. Ну, а раньше...

«Ты понимаешь, бывали дни, когда Артемій самъ голову терялъ. Мы тутъ одни, и врача нѣтъ другого, не съ кѣмъ и посовѣтоваться — поѣзжай въ Ростовъ или Ставрополь. А ее несло такъ, понимаешь, безостановочно, съ кровью. И она все говорила: «мама, больно!» Вотъ, ты посмотришь, во что она обратилась. У ней локоны были свѣтлые, такіе милые волосы, все обстригли, а ужъ какъ исхудала».

Черезъ нѣсколько минутъ Элли осторожно входила въ комнату Галочки. На постели лежало существо крошечное, съ остриженною головкою, неподвижными въ истощенности руч-

ками, въ той и слабости, и покорности, какъ-бы привычкѣ къ страданію, что такъ трудно переносить видящему.

— Это тетя Лена, сказала Лиза, отъ бабушки пріѣхала. Тебя навѣститъ.

Элли наклонилась, обняла маленькое тѣльце. Дѣвочка слабо улынулась.

— Мама, ѣсть хочется!

— Ёсть!

Лиза взглянула на Элли — удивленіе, робкая радость... (во взглядѣ).

— А животикъ болитъ?

— Нѣ-ѣтъ, сейчасъ ничего. Ёсть хочется.

— Ну, если папа позволить...

— Позволить. Онъ позволительный. Мнѣ курочки хочется.

Узнавъ, что попросила ёсть, Артюша дернулъ себя за усы и присѣлъ, раскорячивъ ноги.

— То питочки все просила, а теперь источки. Источки просить, — добре, курицы еще не дамъ, а бульону съ рисомъ.

И самъ побѣжалъ на кухню: чтобы сейчасъ-же супъ сварить, какъ онъ укажетъ.

Супъ сварили на совѣсть. Въ сухомъ зноѣ комнаты Галочка его ѣла. Артюша самъ кормилъ. «Не журись, не журись дивчина», приговаривалъ, когда слабенькимъ горломъ проглатывала она ложку. Выйдя отъ нея съ пустою тарелкою — нѣсколько рисинокъ всего на ней — прошелся по столовой на раскоряченныхъ ногахъ дракономъ, присѣдая чуть не до полу, дѣлая страшную рожу и загребая руками какъ лапами. Лиза сама улыбалась. «Въ первый разъ за болѣзнь дракономъ пошелъ. Значить, развеселился». Лиза обняла Элли. «Это ты привезла намъ кусочекъ радости. Господи, только-бы сохранишь».

Ужинали втроемъ, при багровомъ, заходившемъ въ степи солнцѣ, казавшемся огромнымъ въ таинственныхъ азіатскихъ туманахъ. По временамъ Лиза вставала, заглядывала къ Галочкѣ. «Нѣтъ, кажется, ничего...» Малый человѣкъ спалъ тихо, въ измученности, истощенности болѣзни.

Вечеръ провели вмѣстѣ. Лиза спрашивала о Прошинѣ, о родителяхъ, Глѣбѣ. Легли рано. Элли крѣпко спала, хоть и на новомъ мѣстѣ. А съ утра сразу же къ Галочкѣ: нѣтъ, лучше, лучше! Хорошій сонъ, меньше жалуется, температура упала. И ѣсть просить. Артюша совсѣмъ воспрянулъ. «Жива будетъ. Теперь выкрутятся дивчина, хоть бы тут шта...»

Лиза робче держалась. Но и она оживала. «Не сглазить-бы только. Артемій такой легкомысленный», говорила она Элли. «И увлекающійся. Знаешь, за что схватится, ужъ и не оторвать. Онъ, правда, очень намучился. А теперь ужъ считаетъ, что она совсѣмъ выздоровѣла. Ему все нипочемъ». «Ахъ, нѣтъ, онъ правъ, ты увидишь, увидишь! Все будетъ хорошо». Элли была въ запалѣ. Какъ въ запалѣ изъ Прошина вынеслась, какъ летѣла сюда, такъ и здѣсь неизвѣстная ей самой свѣтлая сила ее несла. Башанта! Странное мѣсто. Изъ оконъ вѣчный горизонтъ степи, въ верстѣ домъ Начальника по управленію калмыками, рядомъ пріемный покой Артюши — сюда пріѣзжаютъ къ нему калмыки лѣчиться; колодезь, чахленькія акаціи, верблюды. Да, вотъ жить здѣсь! Но все-таки — все какъ надо. Злые духи уходятъ. Жизнь возвращается.

Начались однообразные дни въ одинокомъ домикѣ; на солнцепекѣ, среди подсолнуховъ, арбузовъ, тыквъ. Теперь Элли больше сидѣла у Галочки и разговаривала, даже читала немного вслухъ. Забавляла ногами своими, какъ и дѣвченокъ въ Прошинѣ. Галочка искренно посмѣялась, когда Элли чесала себѣ пальцемъ ноги за ухомъ.

Насталъ день, когда она стала рассказывать даже сама. «Тетя Лена, ты знаешь, у меня такой другъ есть, Яшка. Ему восемь лѣтъ. И вотъ разъ мы сѣли съ нимъ на лошадей верхомъ, за холки держимся, такъ весело, а они вдругъ другихъ въ степи увидали, да какъ помчатся... Тетя Лена, какъ страшно было! Цѣлый табунъ. Мы за холки держимся, скачемъ и-и, скачемъ! Заскакали въ табунъ, а тамъ лошади всѣ трутся, другія фыркаютъ и брыкаются. Насъ насилиу калмыкъ снялъ, сосѣдъ».

Вечерами, когда она засыпала, Элли съ Лизою выходили пройтись — Артюша этого не любилъ, какъ и отецъ въ Про-

шинѣ считалъ дѣломъ пустымъ. Поливалъ огурцы въ огородѣ. Или на флейтѣ наигрывалъ.

Солнце только садилось — но уже затуманенное, закрывавъвшее, теперь безопасное: можно смотрѣть простымъ глазомъ. Онѣ шли степью прямо на него. «Видишь тамъ три креста?» — Лиза показала налѣво. «Вижу. Огромные какіе! Это что такое?» «Огромнымъ въ степи кажется иногда и то, что вовсе не огромно — обманъ зрѣнія. Но эти дѣйствительно огромные. Тутъ когда-то калмыцкаго князя убили, вотъ его память. Знаешь, мѣсто такое, что ни церкви нѣтъ и ни кладбища — умрешь, и зароютъ такъ, въ степи, хорошо еще, если крестъ поставятъ». «Ты не любишь этихъ мѣстъ?» «Не люблю. Я люблю Москву, наше Прошино. А вѣдь тутъ вродѣ азіатчины. Знаешь, у нихъ, у калмыковъ здѣсь храмъ есть, буддійскій, тамъ ихъ Будда. Мнѣ это все чужое. Истуканъ такой деревянный, сидитъ ноги скрестивъ, вотъ какъ ты умѣешь»... Она засмѣялась. «Но на тебя Будда этотъ не похожъ. Ты легкая и веселая, а онъ... истуканъ».

Онѣ подошли къ крестамъ. Правда, кресты большіе. И длинные, дорожками, тѣни ложились отъ нихъ по ровной степи. «Калмыцкій князь», сказала Элли, задумалась. «Какой онъ былъ? Почему его убили?» «Да такой-же какъ они и всѣ, навѣрно... руками баранину ѣлъ, если до водки дорвется, такъ сразу ужъ допьяна. Ихъ здѣсь сколько угодно такихъ. Вонъ, къ Артюшѣ на пріемъ ѣздить».

«И зачѣмъ вы забрались въ такую глушь? Неужели-же нельзя было поближе устроиться?» Лиза слегка улыбнулась. «Такъ, Артемій вдругъ заторопился. Вскипѣлъ, и по первому объявленію въ газетѣ мѣсто взялъ».

Онѣ повернули отъ крестовъ. Теперь въ домѣ Начальника края, вдалькѣ, окно запылало пожаромъ закатнымъ. «Это отчасти начальство наше, но милѣйшій человѣкъ, по фамиліи Грегоровіусъ. Сейчасъ на нѣсколько дней уѣхалъ, ты съ нимъ и не успѣла познакомиться. Онъ насъ очень во время болѣзни подбодрялъ, и помогалъ, чѣмъ могъ».

Солнце ушло, пожаръ въ окнѣ стихъ, багряный сумракъ наступилъ. Еще пройдясь, онѣ присѣли на бревно, недалеко отъ дома. «Когда Галя здорова была, къ намъ этотъ Грегориусъ часто ходилъ, каждый день. Цвѣты мнѣ присылалъ. Ну, немножко за мной и ухаживалъ, что-ли, хотя немолодой, ему за пятьдесятъ. Нѣтъ, онъ очень славный. И музыкантъ. Такъ что мы даже тріо устраивали, я рояль, онъ на скрипкѣ, Артюша — флейта. Вотъ мы такъ въ пустынѣ и развлекаемся».

«Скажи, пожалуйста, вдругъ Элли спросила: «почему Артюша такъ вскипѣлъ тогда, и взялъ мѣсто первое попавшееся?» Лиза нѣсколько замялась: «Такъ, меня хотѣлъ увезти...» Черезъ минуту добавила. «Ему показалось, что мнѣ одинъ человѣкъ нравится».

Когда подходили къ своему дому, звѣзды ужъ появились на небѣ, быстро засинѣвшемъ. Лиза слегка къ Элли припала. «Я тебѣ рада, что ты приѣхала. Я въ тебя вѣрю, ты porte bonheur. Знаешь, какъ слоники бываютъ. А то здѣсь жуткій край. У меня суевѣрное чувство, тутъ разныя малыя ихъ божества, кромѣ Будды — этотъ еще ничего! — а то божки какіе-то злые, все это несчастіемъ отзывается». Элли ее обняла. «Ты за галочкину болѣзнь очень изнервничалась».

.

Сидѣть въ Прошинѣ одному, безъ Элли, не такъ было Глѣбу весело. И охотно онъ принялъ порученіе съѣздить въ Москву по хозяйственнымъ дѣламъ: раздобыть у Макъ-Кормика запасную шестеренку къ жнеѣ, зайти къ Бландову, продать тысячный билетъ въ Купеческомъ Банкѣ.

Марфуша встрѣтила его какъ родного (считала вообще вродѣ ребенка). Побывавъ у Мак-Кормика и у Бландова, Глѣбъ направился въ Купеческій Банкъ — тамъ процентныя бумаги отца.

Купеческій Банкъ, на Ильинкѣ, за стѣнами Китай-города — приземистый, неказистый и многомилліонный, былъ знакомъ ему. Все-же сходя внизъ, къ несгораемымъ шкафамъ, ощущалъ онъ стѣсненіе. А вдругъ почему нибудь не выдадутъ? Мало-ли

какой предлогъ можно выдумать? Или подумаютъ, что онъ получить отцовскія деньги да и растратить ихъ?

Знакомый завѣдующій любезно его принялъ — Глѣбъ писалъ что-то и тотъ писалъ, ордеръ готовъ, сейчасъ сторожъ проводить къ сейфу. Служащій вынулъ свой ключъ, поигралъ имъ, вопросительно посмотрѣлъ на Глѣба. «Дайте, пожалуйста, и второй», вдругъ безсвязно сказалъ Глѣбъ. Служащій улыбнулся. «Второй вѣдь у васъ долженъ быть». Боже мой, что за ужасъ! Посланный именно за деньгами, взрослый — и не только забылъ дома ключъ, но и спрашиваетъ такую глупость! Глѣбъ покраснѣлъ... «Ах, ну конечно... онъ у меня дома! Вы черезъ полчаса еще не закроетесь?»

Когда лихачъ мчалъ его на Арбатъ, онъ и смѣялся на себя, и сердился. «А тотъ навѣрно подумалъ, что я въ отцовомъ сейфѣ безотвѣтно хочу похозяйничать. И вдругъ я ключъ еще куда затерялъ?»

Но ключъ отыскался, тотъ же «рѣзвый» во время доставилъ Глѣба на Ильинку. Онъ сконфуженно опять спустился, думалъ, что завѣдующій все еще его осмѣиваетъ. Но тотъ давно ужъ работалъ надъ другимъ, принималъ, отпускалъ разныхъ кліентовъ — Глѣбъ какъ всегда, ошибался, считая, что все лишь вокругъ него, Глѣба, вертится.

Во всякомъ случаѣ, вышелъ изъ Банка въ смущеніи. Но какъ только вышелъ, сразу повеселѣлъ, пришла хорошая мысль: ладно, сдѣлалъ глупость, но все исправлено, тысяча прочно лежитъ въ бумажникѣ, онъ не пропѣетъ ея, завтра въ цѣлости отцу передать. А изъ своихъ собственныхъ сдѣлаетъ ему и подарокъ.

И тотчасъ, взявъ простого извозчика, мирно покатилъ на Петровку. Тамъ ему повезло. У солиднаго и прохладнаго, въ полутьму погруженнаго Вандрага, гдѣ не такъ много и покупателей, но всѣ основательные, гдѣ не разъ и они съ отцомъ бывали, сразу нашелъ что надо: фуражку лѣтнюю, какъ-бы капитанскаго вида, съ бѣлымъ верхомъ, твердымъ, блестящимъ козырькомъ — очень изящно и серьезно, совсѣмъ въ духѣ отца.

Этой фуражкой и окончились всѣ по дѣламъ его странствія. Онъ посидѣлъ днемъ въ знакомомъ кафѣ грека Бладзиса на Тверскомъ бульварѣ, встрѣтилъ тамъ Сережу Костомарова — инженеръ-технологъ, все такой-же спокойный и аккуратный какъ въ Калугѣ, какъ въ Гавриковомъ переулкѣ. Но теперь женатъ — на Таисіи Николаевнѣ, и съ Гаврикова переулка переѣхали они на Нѣмецкую. Глѣбъ поздравилъ его, и въ знакомомъ бобрикѣ на головѣ, въ веснушкахъ на лицѣ, въ капелюшкѣ пота на носу опять мелькнуло что-то давнее, часть своей жизни, уже навсегда ушедшей. «А ты, кажется, литературой занимаешься?» «Да, понемногу...» «Что-жъ, это обезпечиваетъ твою семью?»

Разставаясь, они обѣщали другъ другу повидаться, когда Глѣбъ осенью возвратится — и оба мало словамъ своимъ вѣрили. Сережа уплылъ куда-то незамѣтно тѣнью въ сутолокѣ лѣтней Москвы, Глѣбъ-же, въ вечерній часъ того дня, напутствуемый Марфушею, съ шестеренькою въ чемоданѣ, тысячей рублей въ боковомъ карманѣ и съ картонкою отъ Вандрага благополучно покатишь въ Прошино. Этотъ путь, взадъ-впередъ, на Каширу-Мордвесъ, чрезъ Оку, предстояло ему совершать еще много разъ, отмѣчая имъ краткія станціи быстротечной своей жизни. Онъ ѣздилъ и лѣтомъ и осенью, и зимою, и въ мирные дни, и въ войну, и во времена революціи. Всячески ѣздилъ: и съ удобствами, и на тормозахъ, въ первомъ-ли классѣ или въ теплушкѣ набитой мѣшечниками — во всякомъ случаѣ, чѣмъ больше такъ ѣздилъ, тѣмъ яснѣй чувствовалъ, что это и есть жизнь, вплоть до послѣдняго путешествія, не по этой уже дорогѣ.

Теперь же все совершалось въ спокойствіи и медлительности спокойной Россіи: лишь къ утру онъ добрался до своей станціи и забравъ почту, на тройкѣ, все въ той-же коляскѣ, что недавно везла сюда Элли, такъ-же неторопливо отбылъ въ Прошино.

Отецъ, какъ всегда въ это время, сидѣлъ на балконѣ, читалъ Короленко. Спичка такъ-же заложена въ страницы, чтобы

не забыть, гдѣ остановился. Онъ былъ нынче въ добромъ настроеніи.

— Ну, какъ, ангелъ, хорошо-ли съѣздилъ?

— Ничего, слава Богу.

Глѣбъ подошелъ, обнялъ его, ласково поцѣловалъ въ подборъ на головѣ, какъ всегда дѣлалъ въ дѣтствѣ. Только волосы отца стали сѣдые. Но въ концѣ концовъ это именно его отецъ, тотъ, кто когда-то мастерилъ ему кораблики, училъ плавать въ Жиздрѣ, читалъ вслухъ Гоголя. Отецъ ласку почувствовалъ и потерялъ слегка щекой о ладонь Глѣба — тоже съ дѣтства знакомая ласка отвѣтная: прежде онъ и матери такъ отвѣчалъ.

— Деньги привезъ, шестереньку тоже. У Бландова былъ. Да, вотъ и тебѣ кое-что привезъ — это ужъ отъ меня... (Глѣбъ показалъ картонку отъ Вандрага).

Вошла мать, тоже съ улыбкою: сыночка возвратился, онъ здоровъ, веселъ, чего-же лучше! Да при томъ одинъ, безъ нея!

Мать обняла его, Глѣбъ почтительно поцѣловалъ ручку.

— Слышишь, сказалъ отецъ (у него глаза вдругъ стали влажны, онъ отеръ ихъ платкомъ): онъ мнѣ подарокъ даже привезъ!

Глѣбъ вынулъ изъ картонки фуражку, поправилъ бѣлый верхъ, передалъ отцу.

— Вотъ, надѣнь. Впору-ли. У насъ, кажется, одного размѣра головы.

— Отъ Вандрага? Хорошій магазинъ.

Отецъ взялъ фуражку, съ видимымъ удовольствіемъ примѣрилъ. Какъ разъ! Опять снялъ, внимательно оглядѣлъ.

— Охотничій, братецъ мой, картузь! («Охотничій» на языкѣ отца значило превосходный — что можетъ быть лучше охоты и охотниковъ!).

Мать сидѣла за самоваромъ, въ свѣтлой лѣтней кофточкѣ, чистая и прохладная, но сейчасъ будто и недовольная. Потомъ вдругъ сказала:

— Отличная фуражка. Но для тебя совершенно неподходящая.

Отецъ какъ-бы смутился, надѣлъ ее вновь.

— Почему-же неподходяще?

Мать была холодна и покойна.

— Именно потому, что для тебя слишкомъ нарядно. Въ твоёмъ возрастѣ сидѣть на балконѣ въ Прошинѣ въ такой фуражкѣ...

Отецъ былъ въ недоумѣніи. Фуражку снялъ. Глѣбъ вмѣшался.

— Да почему-же? Теперь именно такія носятъ. И папѣ очень идетъ.

Мать взяла фуражку у отца.

— Нѣтъ, нѣтъ, глупости. У него есть сѣрый картузь, совершенно достаточно. А для сыночки это отлично.

И она надѣла ему подарокъ на голову.

— Мало-ли, къ Кнорреру поѣхать, въ Каширу, или въ Москву.

— Да я вовсе не для себя его купилъ. Я папѣ подарокъ дѣлаю

И онъ снялъ съ себя фуражку, передалъ отцу. Мать опять повторила: «Глупости. Ему некуда выѣзжать. У него для дома есть сѣрый картузь — прекрасный».

У отца въ лицѣ что-то измѣнилось. Онъ вдругъ подтянулся, какъ-бы помолодѣлъ, что-то прѣжнее, времянь Людинова и насмѣшливыхъ отвѣтовъ начальству въ немъ выступило. Онъ отстранилъ руку Глѣба.

— Нѣтъ, нѣтъ, спасибо. У меня и дѣйствительно есть сѣрый. Носи самъ.

— Да вѣдь это-же для тебя, мнѣ не нужно...

Но отецъ сталъ холоденъ, сдержанъ, замкнутъ.

— Расскажи, что ты съ Бландовымъ говоришь.

— Ахъ, съ Бландовымъ...

Глѣбъ почти раздражился, но все-же сдержался. На второе предложеніе отецъ вновь отстранилъ фуражку и съ тѣмъ вмѣстѣ самъ отстранился. Онъ сталъ очень вѣжливъ, но далекъ. Изъ него ушелъ тотъ отецъ, котораго радостно поцѣ-

ловать въ проборъ, разспрашивать объ охотѣ, набивать вмѣстѣ патроны.

Глѣбъ тоже сталъ сумраченъ. Допивъ кофе, пошелъ во флигель. Въ передней метнулся въ глаза бѣлый верхъ картуза на вѣшалкѣ — мать повѣсила его уже. Глѣбъ съ ненавистью на него посмотрѣлъ. Стоило ѣздить къ Вандрагу! И вмѣстѣ съ тѣмъ зналъ, что вотъ въ этомъ мать сильнѣе его, что онъ, взрослый, сейчасъ какъ ребенокъ. И, конечно, не миновать картузу именно его, не отцовой головы.

Во флигелѣ было другое, знакомое, и по своему милое: въ первой комнатѣ книги, столъ письменный съ бронзовымъ, зеленоватымъ Данте — подарокъ сосѣдки. Книгъ много! Вотъ классики, съ дѣтства знакомый Толстой — маленькими томами на тонкой бумагѣ, Тургеневъ, тихонравовскій Гоголь — по этимъ именно книгамъ отецъ вслухъ читалъ въ Устахъ «Тараса Бульбу». Пушкинъ — менѣе значившій. Тамъ дальше Тютчевъ и Фетъ, Лѣсковъ, все свои, все отцы, хоть и позже пришедшіе. Вотъ полка Италіи. Вотъ французскіе символисты, тамъ Флоберъ въ свѣтло-желтой кожѣ, Соловьевъ въ красномъ сафьянѣ, Герценъ. А въ другой комнатѣ, гдѣ двѣ постели — наполовину царство Элли, наполовину-же и его: полки современниковъ, много съ автографами. И сквозь все это, черезъ сѣтки отъ мухъ въ окнахъ всетаки тянетъ изъ сада и огорода теплымъ іюньскимъ благоуханіемъ — и пригрѣтою парниковой землей, и цвѣтущими липами, дальними ржами... — чуть колеблется легкая занавѣска; да, послѣ обѣда здѣсь станетъ жарко, ну, онъ пойдетъ на Абранъ купаться.

Рядомъ съ Данте лежали на столѣ письма — одно изъ нихъ Глѣбъ сразу узналъ, улыбнулся, вскрылъ. Легкимъ, небрежнымъ почеркомъ, торопясь, иногда недописывая, иногда строки валя на сторону и сбивая въ кучу, Элли писала-бѣжала, изъ за тысячеверстной дали: «Милый, какъ я по тебѣ соскучилась! Какъ живешь? Что дѣлаешь? Пишешь-ли, купаешься-ли? Ради Бога не утони. Умоляю, будь осторожнѣе. Это послѣднее мое письмо, больше не жди, завтра уѣзжаю. Слава Богу, Галочка

поправилась. Мы съ Лизой жили чудесно, она прекрасная, я такъ ее полюбила, кажется, еще больше. У нихъ песикъ прелестный. И Артюша славный. Въ началѣ подавленъ былъ, а теперь отошелъ, какъ прежде сталъ. Устраиваетъ глупости всякія, ходитъ смѣшно дракономъ. Въ степи я верблюдовъ видѣла. Вчера, когда утромъ я спала, онъ въ окно мнѣ всунулъ цѣлую акацію, будто сама влѣзла. Галочка уже играетъ. У ней другъ Яшка, мальчишка восьми лѣтъ, но кажется шельма. Дорогой мой, я очень все-же соскучилась. Теперь какъ и до болѣзни, у нихъ по вечерамъ иногда музыка, тріо. Лиза на роялѣ, Артюша на флейтѣ, а одинъ такой, начальникъ края надъ калмыками, сосѣдъ ихъ, ходитъ тоже, этотъ на скрипкѣ. Довольно хорошо играютъ. Но я бы ни за что здѣсь не осталась. Какъ это Лиза живетъ? Ей, правда, тоже не нравится. Но она покорила. Терпитъ. Ты представь себе, совсѣмъ голое мѣсто, въ степи, и никого... Калмыки эти ужасно мнѣ не нравятся. Часто ѣздятъ къ Артюшѣ лѣчиться. Привозятъ ему овецъ, поросятъ. Нѣтъ, грязные и противные. Ахъ, у насъ тутъ недавно что случилось! Калмычка одна молодая, изъ богатой семьи, болѣе просвѣщенная, сошлась со своимъ-же кучеромъ, молодымъ тоже калмыкомъ. Я ее видѣла, знакома съ ней, вродѣ барышни, все-же. А онъ сумасшедшій какой-то азіатъ, ее ревновалъ. Жениться все равно нельзя. Она и къ намъ пріѣзжала, онъ каталъ ее верстъ за тридцать, это для здѣшнихъ ничего. И вотъ надняхъ, ужъ не знаю, ее родители, кажется, замужъ хотѣли выдать — онъ взялъ ее и зарѣзалъ. Такой ужасъ! Прямо горло перерѣзалъ. А она все-таки успѣла еще по лѣстницѣ къ себѣ взбѣжать. И тамъ кровью истекла. Онъ и самъ тутъ-же зарѣзлся. Артюшу вызвали, какъ врача. Ну, онъ пріѣхалъ, а они оба уже мертвые. Нѣтъ, тутъ все не въ моемъ вкусѣ. Унылая эта степь, верблюды, миражи, калмыцкія могилы... Милый, то-ли дѣло Италія! Я только и мечтаю къ тебѣ вернуться. Осенью вѣдь ѣдемъ? Въ сентябрѣ? Правда?»

Глѣбъ кончилъ письмо, отложилъ, опять улынулся. Ставропольскіе калмыки, Римъ...

Вечеромъ, на закатѣ, онъ одинъ шелъ межою за Салты-

ковымъ, ошмурыгивая сухую полынь. Иногда срывалъ горсть серебряную, растиралъ въ рукѣ — пахло горько, терпко-очаровательно. Полевая мышка выскакивала изъ норы, стрекала по скошенному клеверу. Закатъ раскинулъ шелковый свой венеціанскій пологъ, розово-облачный, за дубами и рощами Прошина. Розовый пепель гасъ по копенкамъ. Элли летѣла въ это время на сѣверъ въ экспрессъ московскомъ, прочь отъ степей, Азіи и калмыковъ. Глѣбъ, глядя въ веронезову глубину неба, сейчасъ зачешуившуюся нѣжно-алыми раковинами, вспоминалъ первый свой прїѣздъ съ Элли въ Венецію, въ годъ смерти Воленьки.

IX.

Прошла война дальней Азіи, прошелъ годъ волненій, начались Думы и иллюминаціи усадебъ деревенскихъ (Прошина никакъ не коснувшіяся). Подстрѣливали губернаторовъ и министровъ, интриги при Дворѣ свивались вокругъ Императора, изъ своего Царскаго Села все попрежнему молчаливо назначавшаго, молчаливо кого надо смѣщавшаго. Россія богатѣла, крѣпла, къ рубежу подходила.

Живыя точки ея, въ Прошинѣ-ли, Москвѣ, Ставропольской губерніи продолжали свой путь по своимъ начертаніямъ, для cadaго разнымъ, несхожимъ. Отецъ старился надъ Короленко, Щедринымъ, Диккенсомъ, мать бездумно владычествовала. Лиза разыгрывала Бетховеновъ въ Башантѣ и домашнія тріо съ Артюшей и Грегоровіусомъ. Артюша лѣчилъ калмыковъ и собирался перевестись подъ Москву.

А въ Москвѣ Глѣбъ и Элли утвердились и возрастали. Жили, любили и ссорились и мирились, взрослѣли и крѣпли. Римъ и Флоренція, Ассизи, Венеція мелькали сіяніемъ, и лѣтнее Прошино тихимъ пристанищемъ. Арбатъ замѣненъ Спиридоновкой. Но все тотъ-же міръ, Люси и Сандро, Майи и Погорѣлкины, чтенія, выступленія, выставки и премьеры, ресторанъ Прага и кафе грека Бладзиса на бульварѣ, гдѣ молодые поэты разводятъ неврастеничскія свои изліянія.

Глѣбъ попрежнему предавался писанію. Все сильнѣй, неотвязнѣй. Шумъ, пестрота Москвы иногда утомляли. Онъ сбѣгалъ въ Прошино — на двѣ, на три недѣли.

Такъ и въ томъ году было, одномъ изъ послѣднихъ мирныхъ, въ февралѣ, близко къ марту. Но еще зима, вьюги! Ко флигелю утромъ хоть траншею прокапывай, такъ заносить. И Глѣбъ, къ удовольствію матери, поселился съ ней рядомъ, въ кабинетъ съ медвѣжьей шкурой, рогами и ружьями — въ комнатѣ, гдѣ въ первый свой пріѣздъ останавливалась Элли.

Тутъ жарко топили печь, изразцы ея нѣжно сіяли въ теплѣ, а изъ сѣвернаго угла тянуло прохладою. Глѣбъ подолгу работалъ у небольшого стола. Предъ глазами окно, все залѣпленное бѣлыми снѣжными звѣздами, узорами и рисунками. Въ бѣлой мути за нимъ, у балкона, качается въ вѣтрѣ кустъ и снѣжный вихрь мететъ его вправо и влево, куда захочетъ, свистомъ, воемъ наполняя окрестность. Но вѣдь это зима, предвесенняя метель. Это все такъ свое, такъ знакомое, близкое съ дѣтства. Какъ и въ дѣтствѣ за стѣной мать, за другой дверью гостиная съ піанино, фотографіями отца, среди разныхъ инженеровъ, съ ковромъ и диваномъ удобнымъ, с двумя печками, отъ которыхъ тоже тепло.

Въ кабинетѣ своемъ, при закрытыхъ дверяхъ, предъ столомъ, повѣстью, надъ которой сидитъ онъ такъ рьяно, Глѣбъ чувствовалъ себя въ тихомъ пристанищѣ, подъ защитой домашнихъ благихъ силъ. Тамъ мать, ложась вечеромъ, привычно вздыхаетъ: — «О, Боже мой, Боже мой!» Дальше, у себя въ комнатѣ, отецъ громко откашливается, громко чихаетъ («причемъ носъ его звучитъ какъ труба») — все такое-жъ, какъ въ дѣтствѣ и онъ самъ не Негг ли Professor Устовъ, мальчикъ Глѣбъ съ бѣлобрысыми залысинами? Но межъ этимъ и тѣмъ ужъ легла бездна и теперь онъ взрослый, пишетъ, къ сроку долженъ сдать повѣсть — въ кельѣ своей Глѣбъ въ подъемѣ, въ зарядѣ, пишетъ и утромъ, и днемъ, и вечеромъ. «Ты бы, ангелъ, на лыжахъ лучше прошелся», говоритъ отецъ. «Что же, такъ засидишься совсѣмъ. Метель, кажется, стихла, смотри — зайчишку какого подымешь».

И отецъ, надѣвая пенснэ, старается разглядѣть термометръ за окномъ столовой, разобрать, откуда вѣтеръ, какая завтра будетъ погода — вѣчное развлеченіе деревенскихъ жителей. «Вотъ, я и говорилъ, стало холоднѣй, вѣтеръ съ сѣверо-востока, значить, къ вечеру вызвѣздитъ». Мать раскладываетъ пасьянсъ. «Ну положимъ, ты и вчера говорилъ, что нынче будетъ хорошая погода, а мететь такъ, что боюсь какъ бы молочникъ съ Мордвеса не заблудился».

Глѣбъ на лыжахъ не выходитъ. Надъ послѣдними страницами сидитъ упорно, его несетъ все та-же сила, что и тѣ снѣжные вихри за окномъ и они ему не мѣшаютъ, можетъ быть, даже помогаетъ этотъ бѣлый зимній день съ визгомъ иногда стучащаго желѣзнаго листа, судорогами куста за окномъ, воемъ въ трубѣ и постукиваніемъ ставень. Пусть тамъ смятеніе снѣговое, онъ здѣсь въ маломъ углу своемъ, съ бумагою и чернилами, съ силой молодости и созданія, черезъ всю жизнь огненной чертой протянувшагося. Пусть и ночью такъ-же грохочетъ метель, пусть отецъ и ошибся — ничего, въ громѣ вихрей снѣговыхъ Глѣбъ крѣпко спитъ подъ рогами и ружьями, а на утро встаетъ — все иное. Вотъ онъ, сѣверо-востокъ! Тихо, морозъ, солнце, блѣдная бирюза неба, нестерпимъ блескъ стекляшекъ по снѣгу. Да, все кончается. Глѣбъ утромъ дописываетъ послѣднія строки. Вотъ, облегченіе! Одинъ путь оконченъ, что тамъ ни написано, теперь можно на лыжахъ, теперь отдыхъ, молчаніе — и теперь долго не усидишь въ этомъ Прошинѣ.

— Кончилъ работу, ангель? — говоритъ за обѣдомъ отецъ. «Кончилъ». Отецъ наливаетъ себѣ и ему по рюмкѣ. «Ну, поздравляю! Чи-икъ!» И мучительно проглотивъ рюмку, какъ-бы принявъ какого яду, закусываетъ огурчикомъ и крикаетъ. «Меню?» Слѣдуетъ обязательная перестрѣлка съ матерью. Потомъ вторая рюмка, третья. «А ты бы намъ почиталь свое сочиненіе. Что-жь, писалъ, писалъ, ты бы и почиталь». «Сыночка усталъ, навѣрно», говоритъ мать, чтобы только возразить — ей и самой хотѣлось-бы послушать, но зачѣмъ отецъ предлагаетъ?

Глѣбъ имъ до сихъ поръ никогда не читаль. Но тутъ сразу согласился.

Чтеніе происходило за чаемъ, въ столовой, на вечерней зарѣ. Отецъ, послѣ дневного сна, всталъ нѣсколько ранѣе, грузно сидѣлъ на своемъ мѣстѣ за столомъ, поблескивая ровнымъ проборомъ на головѣ, тщательно умытый и причесанный. На лицѣ все-же легкіе узоры, отпечатавшіеся отъ подушки. Мать за самоваромъ въ бѣлой кофточкѣ, придающей нѣчто снѣжно-прохладное. Алый отсвѣтъ изъ окна съ балкона освѣщаетъ рукопись Глѣбу.

Началь онъ смутно, покашливая и стѣсняясь. Каждая фраза казалась странной. Онъ ее принималъ и слушалъ теперь не какъ Глѣбъ, а какъ отецъ съ его Щедринымъ, мать съ Тургеневымъ. Навѣрно, все чуждо, не нравится. Конечно, изъ сочувствія и любви этого не скажутъ, все равно, онъ ужъ знаетъ.

Отецъ медленно тянулъ съ блюдечка чай, съ сахаромъ въ прикуску. Мать блѣдна и серьезна, быстро выпивъ чай надѣла пенснэ, стала что то чинить.

Понемногу онъ успокоился. Читать сталъ лучше, ровнѣе. Въ тишинѣ этой столовой, въ прозрачномъ, меркнушемъ закатѣ водворялась не совсѣмъ ему понятная серьезность. Отецъ молчаливо сахаръ откусывалъ, какъ въ Устахъ еще дѣлалъ; мать шила упорно, иногда вздыхая глубоко, но не томительно. Глѣбъ, читая, самъ впадалъ въ ту рѣку поэтическую, что несла его ужъ сколько времени надъ этой повѣстью, средь предвесеннихъ бурь и метелей Прошина. Нѣтъ, онъ идетъ теперь такой, какой и есть, эта рѣка — его рѣка, этотъ звукъ — его звукъ и не съ кѣмъ ему болѣе уже считается.

Кончивъ, сложилъ рукопись. «Вотъ и все», сказалъ голосомъ глуховатымъ. Отецъ неподвижно сидѣлъ. Мать отложила работу. Потомъ отецъ вынулъ носовой платокъ, внимательно и основательно отеръ глаза. «Да, братецъ ты мой, вотъ это ты сильно перечувствовалъ... Ярко выходитъ, правдиво, ничего нельзя сказать». И своею теплой, мягкой рукой въ веснушкахъ, со слѣдами ожоговъ взрыва въ лабораторіи студенческой, онъ погладилъ холодную руку Глѣба.

Мать сняла пенснэ, отложила работу. Лицо ея было еще блѣднѣе, чѣмъ когда Глѣбъ начиналъ... «Это вродѣ Тургенева... Конечно, ты видишь жизнь идеальнѣе, чѣмъ она есть...»

Глѣбъ все складывалъ, все выравнивалъ рукопись. Въ горлѣ у него слегка пересохло. Онъ всталъ, подошелъ къ ней. Въ весеннемъ сумракѣ на него глядѣли тѣ-же огромные, прекрасные глаза, что когда-то наклонялись въ бредѣ скарлатины, что были съ нимъ рядомъ на паромѣ Мокши, что за него мучились и тосковали позже. Мать обняла его, поцѣловала. «Очень хорошо написалъ». Потомъ, взявъ руками голову его, слегка отстранивъ, пристально посмотрѣла прямо в глаза. «Тебя, разумѣется, не поймутъ. Ты не увидишь... тебя позже оцѣнятъ».

Глѣбъ что-то пробормоталъ. Отецъ снова вынулъ платокъ, вновь провелъ по глазамъ и кивнулъ головою: рѣдкій случай — одобрилъ мать. «А теперь пройдишь, прогуляйся, пока еще не совсѣмъ темно, сиднемъ всѣ эти дни просидѣлъ».

Все это вѣрно. Глѣбъ и послушался. Онъ даже лыжи взялъ, вышелъ за усадьбу съ ними, за старыя сторожевыя березы въ поле. Тамъ всунулъ носки валенокъ в ремешки лыжъ и цѣликомъ по насту февральскому, побрелъ прямо, все прямо.

Справа дубы рощи Салтыковской, впереди, вокругъ и надъ нимъ синяя ночь, синий сводъ въ пестромъ золотѣ звѣздъ. Глѣбъ шелъ. не быстро, не тихо — ровно, твердымъ возбужденнымъ, но и радостнымъ шагомъ. Вѣчная слава звѣздъ и созданія кипѣла надъ нимъ, переливалась лучами. Малое Прощино сзади. Тамъ свое, тамъ родное, вот тамъ онъ писалъ и читалъ сейчасъ, и мать говорила. Да, какъ сказала... «Тебя позже оцѣнятъ»... — Боже, какая-же тайна, все тайна и загадка, и ночь эта, и онъ, вотъ на лыжахъ сейчасъ идущій подъ любимыми звѣздами, подъ любимаго сердца напутствіемъ, ничтожество передъ Богомъ и все-таки — цѣлый міръ и сейчасъ весь дрожитъ, напряженъ молодостью, творчествомъ, силой. Идти да идти, дышать да дышать, слушая, какъ сухо хрюкаетъ подъ ногами корочка снѣга предвесенняго.

И выходить онъ на изволокъ, на дорогу проѣзжую. Теперь можно опять лыжи снять, неторопливо тащить ихъ за собой — путь укатанъ. Отсюда вся страна передъ нимъ, всѣ эти рощицы, поля, овраги, Поповка внизу съ сѣрою колокольной, и хуторомъ Кноррера, и на Апрани занесенная снѣгомъ мельница. Глѣбъ останавливается и оглядываетъ четыре страны свѣта, четыре вѣтра земли своей, русской, по которой долго еще идти, все еще идти, какъ и отцу и матери, Элли, Лизѣ, Артюшѣ, всѣмъ, кого любить, какъ и тѣмъ, кого не любить — къ той-же все великой, всетворящей Вѣчности, что произвела и возьметъ. «Господи», сказалъ Глѣбъ громко: «поддержи, помоги».

Онъ назадъ шелъ медленно, мирно, волоча за собой лыжи, какъ бы слегка и радостно усталый. Важно гудѣли въ вышинѣ сторожевыя березы усадьбы. Собака лаяла. Сквозь яблони сада поповскаго былъ виденъ свѣтъ въ домѣ: отецъ читалъ своего Диккенса.

Бор. Зайцевъ.

16 сентября 1944 г.

Кн. С. М. КАЧУРИНУ

1.

Качурин, твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.

Священником американским
твой бедный друг переодет,
и всем долинам дагестанским
я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев
в подложном паспорте, не сплю:
исследователям обоев
лилеи и лианы шлю.

Но спит, на канаве устроясь,
коленки приложив к стене
и завернувшись в плед по пояс,
толмач, приставленный ко мне.

2.

Когда я в это воскресенье,
по истечении почти
тридцатилетнего затмения,
мог встать и до окна дойти;

когда увидел я, в тумане
весны и молодого дня
и заглушенных очертаний,
то, что хранилось у меня

так долго, вроде слишком яркой
цветной открытки без угла
(отрезанного ради марки,
которая в углу была);

когда все это появилось
так близко от моей души,
она, вздохнув, остановилась
как поезд в полевой тиши.

И за-город мне захотелось:
в истоме юности опять
мечтательно заныло тело,
и начал я соображать,
как буду я сидеть в вагоне,
как я его уговорю...
но тут зачмокал он спросонья
и потянулся к словарю.

3.

На этом я не успокоюсь,
тут объяснение жизни всей,
остановившейся, как поезд
в шершавой тишине полей.

Воображаю щебетанье
в шестидесяти девяти
верстах от города, от зданья,
где запинаясь взаперти,
и станцию, и дождь наклонный,
на темном видный, и потом
захлест сирени станционной,
уж огрубевшей под дождем,
и дальше, фартук тарантасный
в дрожащих ручейках, и все
подробности берез, и красный
амбар налево от шоссе.

Да, все подробности, Качурин,
все бедненькие, каковы
край сизой тучи, ромб лазури
и крап ствола сквозь рябь листвы.

Но как я сяду в поезд дачный
в таком пальто, в таких очках
(и в сущности совсем прозрачный,
с романом Сирина в руках)?

4.

Мне страшно. Ни столбом ростральным,
ни ступенями при луне,
ведущими к огням спиральным,
ко ртутной и тугой волне,

не заслоняется... при встрече
я, впрочем, все скажу тебе
о новом, о широкоплечем
провинциале и рабе.

Мне хочется домой. Довольно.
Качурин, можно мне домой?
В пампасы молодости вольной,
в техасы, найденные мной.

Я спрашиваю, не пора-ли
вернуться к теме тетивы,
к чарующему «чапаралю»
из Всадника без Головы,

чтоб в Матагордовом Ущелье
заснуть на огненных камнях,
с лицом сухим от акварели,
с пером вороньим в волосах?

Владимир Набоков

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ*)

(Роман)

20. ГНЕВ.

Поезд нырял в подземельи; мигали тусклые электрические лампы. На полупустой грязной скамье сидел Боб Кастэр; сутулясь, устало закрыв глаза, он прислушивался к собственному шопоту: «горе, горе, горе»... душа его, что ли, выстукивала.

«Горе ездокам, горе пешеходам, горе стоящим на одном месте, горе поверженным. Горе молодым, горе старым, горе женщинам, детям, гермафродитам, педерастам, святым и соблазненным. Горе влюбленным, горе добрым и злым, счастливым и ропщущим. Горе безразличным, полумертвым, мертвым и живым, нищим, чахлым, атлетам. Импотентам и прокаженным, президентам и диктаторам. Горе всем и каждому, отдельно и в совокупности. Горе черным и белым, довольным и бунтующим. Горе святым, подвижникам, ангелам, бесам и грешникам. Горе нам и вам, им и тем. Горе горю, горе радости, весне, солнцу и бытию, сну и пробуждению, камню, дереву, телу и пустоте. Горе замерзшим, но горе и сгоревшим, горе бессеребряникам, лентяям, жертвам, героям и победителям. Горе, горе, горе»... — шептал он, рассказываясь как дервиш.

Пассажиры с удивлением и опаской оглядывали небрежно одетого негра, что-то заворуженно бормочущего: пьян, бредит...

«Вот человек, который не может себе найти места на земле, — продолжал напевать Боб Кастэр: — И постепенно даже потерял самого себя. Птицы небесные имеют гнездо, зверь

*) См. 12-ую, 13-ую и 14-ую книги «Нового Журнала».

лесной — нору. А Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. И все, что от Него, не может найти себе места на этой земле. Так было, так есть и — не будет. Я вижу огонь падающий на ваши головы, о как бы я хотел что-б он уже низвергся»...

А дома Боб уже застал каких-то незнакомых, празднично одетых, дам и кавалеров. Была суббота и сосед, Ники, по обыкновению, давал party.

— Почему так рано? — подозрительно осведомился Боб: нет ли подвоха... Характер его явно менялся.

— Мы успеем пообедать en petit comité, — заверил Ники. — Это всегда приятнее.

За столом собрались только черные: хорошо, но скромно одетые джентльмены, очень спокойно, с достоинством, держащие себя женщины. Там было несколько юношей с Гаити, служащий одного крупного банка в Косто-Рико, сын бывшего президента маленькой республики, доктор, кончивший в Монпелье, их дамы. Боба Кастэра приняли учтиво, благожелательно, без фамильярности и назойливых вопросов. Так, ни одна девица не осведомилась: холост или женат он... и было это им явно безразлично. Закуски, *roti de veau* и омар. К мясу подавали красное вино: хозяин объяснил, что из всех местных **это** больше всего походит на бордо.

Беседа велась оживленная и занятая. Говорили о Пушкине (чей портрет висел на стене), о Прусте, о Рильке, о Томасе Вольфе, о раннем периоде Пикассо, о французском восемнадцатом веке. После еды, за черным итальянским кофе с ликером, был пущен в ход дорогой музыкальный ящик: редкие сюиты, Бах, Мусоргский, Моцарт. Гости курили, обменивались тихими замечаниями, улыбками признания, уважения, благодарности. Однако, к десяти часам хозяин начал проявлять признаки беспокойства: изменился, стал грубым и нахальным. Ящик с дорогими пластинками унесли, зазвучала дикая какофония ломающейся на полутактах музыки джаза. Ники даже надел другой галстук: яркий, с пятнами яичных желтков. На столе

появилось блюдо с шипящей свининой. Лица других тоже преобразились — туповато-унылые, животные, словно маски идолов. Женщины прохаживались по комнате, вызывая вихля задом и грудью. Скоро нагрянули белые. Все в нелепых галстуках: лоск начищенных башмаков, похабные шутки и детский хохот. Они полагали: отправляясь в Harlem, должно вести себя примитивно... и давали волю своим натуральным повадкам. Цветные же не разубеждали их, наоборот, проникались тем же чувством. Так один юноша, недавно попавший в Нью-Йорк, наивно решил, что это и есть цивилизация — начал хватать свинину руками, хрипло вопить и щупать дам.

21. ВЕЧЕРИНКА.

Пили много и наспех, танцовали: терлись, извивались, отбивали трещотку, мучительно-мелкую, нескончаемую, бесплодную...

Пили и плясали: умело лавировали по узкому корридору вплоть до заповедной ванной — юркали, запирали дверь. Выходили оттуда, — словно выполнив бессознательный долг, — еще более ошарашенные и безликие.

Боб прыгал с одной негритянкой: стремительно она пробежала в ванную. Пока Боб тщился понять значение этого факта, матрос коммерческого флота, недавно вернувшийся из плавания с проломленным черепом, стрельнул за ней.

— Почему ты не зашел? — спрашивала она Боба, через минуту или часы.

— О, ему нужнее, он матрос, — отшучивался тот.

— Ты действительно хочешь меня? — домогалась честная женщина. Боб ее не слушал.

Как это произошло: рядом с ним на диване Магда. Маленькая Магда, что повела сына к парикмахеру и почернела. У нее отличительное пятно на левой груди. Вот она раздевается.

— Сними платье, совсем, — говорит она Бобу: — To really enjoy it.

— I need this room, — казалось шопотом, но властно,

одержимая тайной силою, приказала Магда. И все послушно выскользнули из комнаты, провалились: за стенкой, в дырочки, щели и скважины, слышалось хихиканье, кваканье, блянье, хрюканье, скребки, — тараканов, птиц, свиней, монстров.

Боб покорно разоблачился: два черных тела, — безвольные, анестезированные, полумертвые, — изображали что-то. Ложь. Он не черный. Он не мертвый. Он не желает целовать это жалкое существо. Душа его кровоточит и стенает: заблудилась и стучит в окно, кусая запекшиеся губы... А тело парализовано.

— Ты всегда такой? — спросила обиженно.

— Нет, первый раз в жизни.

— Все равно, — решила Магда. — Теперь ты со мной связан на веки. И в будущей нашей жизни мы встретимся. Если ты не врал, что сильный, ты и для меня пробьешь дорогу, — улыбнулась совсем не пьяной улыбкой, а несло от нее многими напитками.

Боб не мог говорить. Он не мог слушать. Он ничего никому не хочет давать. Он сам нуждается в помощи. Он болен и стар и отравлен, — «другие препояшут тебя», — и ему страшно. Страх и грусть сдавили ему горло.

«Сабина», — взмолилась душа... Где-то теперь ходит, дышит синий цветок, спасительный, родной. Никогда в жизни он ее не любил больше чем в эту минуту и не чувствовал реальнее — близость. «Сабина». Скорее повидать ее, объяснить, покаяться. Она поймет, простит, спасет.

Посторонние уже давно набились в комнату; безобразные пары фантастически склонялись, никли по углам. Хозяин, Болль, один трезвый, расхаживал по загаженной квартире, курчавый красавец, снисходительно и брезгливо усмехаясь.

Боб начал торопливо одеваться: прилаживать, застегивать отдельные части туалета — с пьяной старательностью... «Посмотрите, я хоть выпил, но отлично знаю, что и как надо в таких случаях делать». Без галстука, захватив у себя в шкафу пальто, он выбежал прочь: в ночь, в Harlem, в стужу.

22. КОНТРАБАС.

Возле 116 улицы Боб Кастэр проник в Парк и там, на первой скамейке, уткнулся в небытие, в отсутствие. Но постепенно, все ускоряя бег и усложняя рисунок, вереница образов, звуков, красок, запахов, бешено замелькала перед ним. И все упиралось в одно: его жизнь не удалась. Вдруг вспомнил одно из своих ранних стихотворений. Там человек занимается мелкими, частными, даже подлыми, делишками, а в углу стоит ангел и, закрыв лицо руками, плачет. Из жалости к своему Ангелу весь содрогнулся: «Клянусь, я не предаю тебя, я не сдаюсь, буду достоин тебя»... может он вслух пробормотал это. Неожиданно, с края скамьи, отозвался старческий голос:

— Спасибо, спасибо, так и надо.

Боб удивленно разглядел — почти рядом — фигуру старика, бездомного, грязного попрошайки. Кашлянув, тот вежливо произнес:

— Надеюсь, не помешал.

— Ах, мне все равно, — решил Боб.

— Один великий шахматист поучал, — начал бродяга, словно продолжая прерванную беседу: в шахматах надо быть злым. Это верно и не верно. Вообще в жизни, в творчестве, надо быть злым. Царство Божие берется силою. Когда из мрамора высекают улыбку ребенка, следует удалить резцом ненужные пласты. А камень сопротивляется, в этом диалектика минерала. То же и в собственной душе и с людьми. Побольше жестокости в духовном плане. Царство Божие берется силою.

— Вы скульптор? — спросил Боб: разговор и внешность нищего были так неожиданны для Нью-Йорка.

— Нет, я мистик, — скромно сообщил тот. — Вы тоже мистик?

— Нет, я просто несчастный человек.

— На скамейках парков, в этот час, сидят только несчастные люди.

— Да, но мой случай особенный, — обиделся Беб: — Из белого я превратился в негра.

— Мне 60 лет, но такого явления, как банальное горе, я еще не встречал.

— Извините, чем вы собственно занимаетесь?

— Я музыкант, играл на контрабасе, — объяснил старик. — Вы себе когда-нибудь задавали вопрос: о чем мечтал человек, пилящий, щиплющий контрабас... К чему он готовился, когда посвящал себя музыке? Догадываетесь?

— Нет.

— Ну вот. Он мечтал о виолончели. Из неудачных виолончелистов получают контрабасы.

— Это замечательно! — вскричал Боб. — Они родились виолончелистами, а жизнь их превращает в контрабасы.

— Совершенно верно. Совершенно верно.

— Извините, — спросил Боб: — Но вы, очевидно, теперь не играете и на контрабасе?

— Да, я взбунтовался, — с достоинством согласился лохматый мудрец. — У вас найдется папироса? Спасибо. Контрабас давал мне приличный заработок; жена привела в дом сына от первого брака. Все было как у людей. Уютная квартира, ковры, друзья. И годы, десятилетия шагали незаметно, бесследно. О своей молодости, о виолончели я давно перестал думать. Только иногда, ночью, в постели, мне вдруг становилось страшно. Тишина, неподвижность и одиночество вызывали какие-то беспокойные и ужасающие предчувствия. Мнилось: вот, вот, я умираю, конечно, уйду из жизни. А ведь была чудесная возможность, несколько десятилетий изумительного совпадения: меня вырвали из небытия, одели, умыли, пустили по этой земле, дали козырь в руки... Но я ничего не сделал, не использовал, и вот ухожу в ничто, без апелляции и без повторения. Тогда мысль моя обращалась к виолончели: я даже пробовал снова учиться играть. Но наверстать потерянное было трудно, а дилетантизм мне претил. Наступало утро: сутолока, заботы. Сын подрос, и днем казалось разумным ждать от него разрешения моих собственных, отложенных задач. И я жил. Работал

в солидном оркестре. Квартира моя находилась в одном из редких, даже для Америки, жилых домов, на 30-ом этаже. Привык, каждый день, почти четверть века: полет вверх, падение вниз... Но вот однажды забастовали работники вертикального транспорта и мне пришлось подыматься пешком. У меня слабое сердце, поэтому всходил я медленно, поминутно отдыхая, переводя дух. Путешествие продолжалось с лишним два часа. Представьте себе: бреду целую вечность по месту, надо полагать, хорошо знакомому. И вдруг оказывается: все кругом непонятно чужое. Я увидел жизнь в другом разрезе. Там открывается дверь и выбегает юноша, а женщина ему что-то кричит в догонку; в приемной дантиста сидит пациент с искаженным лицом; супружеская пара звонит в контору адвоката по делам натурализации; откуда-то выскочила кошка и жалобно замыкала; в кабинете врача-венеролога бледный джентльмен узнает о своей болезни: он выходит на лестницу низко надвинув шляпу, подняв воротник пальто; из отворенного окна 20-го этажа свешиваются женские ноги с туфлями на высоком каблуке: сейчас она прыгнет вниз?.. И запахи пудры, крови, виски, бракоразводных исков, шантажа, типографской краски, злокачественных опухолей; звуки настраиваемых инструментов, всхлипывания детей, шелкания пишущих машинок, последних и первых поцелуев, радио-передач. Земная жизнь во всем своем неестественном искажении! Тогда я что-то понял. Что мне открылось, не знаю. Но одно было ясно: дальше так жить нельзя. Я умру, немедленно, сегодня ночью. Надо уйти, бежать, спастись, сердце, сердце. Не помню как я очутился на стуле среди друзей. Меня поливали водою, поили каплями, врач щупал пульс: он говорил, что безумие подниматься на 30 этажей. Но я понимал другое. Безумие в другом. В тот же день я ушел. Бросил жену, сына, честный труд и контрабас. Вот собственно моя история. А сейчас, думаю, надлежит внести еще одну поправку. Тогда мне казалось: если буду продолжать жить по старому, смерть или безумие неминуемы! Теперь я догадываюсь: были и другие возможности. Мог, подобно вам, превратиться в негра.

— Я бы предпочел умереть, — жалобно сказал Боб Кастэр.

— Ах, не говорите глупости, — отмахнулся старик.

— Но почему это выпало на мою долю?

— Вы не ушли. В какую-то минуту вы не сделали соответствующего вывода. Но мы помним: Бог по любви своей предоставляет много возможностей спасения. Вы христианин?

— Да, — ответил Боб, — христианин. Или вернее, хочу быть им.

Беседа заглохла. Боб укутался потеплее в пальто, съежился. Старик что-то бормотал, неразборчивое.

— Вы читали Паскаля?

— Отрывки.

— Паскаль берет вас за плечи, он повторяет: не спи, не спи, не спи.

Боб к удивлению своему почувствовал, как его трясут чьи-то могучие руки. Открыл глаза: туманный рассвет, теплый и гниlostный. Над ним стояло двое полицейских, критически его разглядывая.

— Где старик? — вскричал Боб Кастэр.

— Старика нет. И лучше бы тебе тоже провалиться, — посоветовали ему. — Доберешься своими силами или нам тебе помогать?

— Я не спал, я не пьян, зачем вы так говорите? — возмутился Боб.

23. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ.

Как ни странно, после событий этой ночи Боб Кастэр почувствовал себя даже окрепшим, словно приложившись к благодатному началу покаяния и прощения. Приток новых сил был вполне кстати, ибо жизнь, — как всегда случается, — успела сразу швырнуть еще одну охапку тяжестей.

Во-первых, выяснилось, что адвокат Прайт стакнулся с враждебными кругами и обманывает Боба: под влиянием угроз Клана или гонорара масонских лож, чего-то другого или всех

причин в совокупности, только он предал интересы своего клиента. Вел дело не честно. Бумаги, которые они сочиняли, никуда не отправлялись, и ответы, будто бы получаемые, оказались апокрифами. Боб набил ему морду. Роста Прайт был огромного и кулаки имел внушительные, но не защищался и принял наказание покорно. Однако, найти подходящего адвоката стало еще мудренее: трусили, виляли.

От прямой, неотложной цели приходилось сворачивать в сторону мелких и спорных забот. (Так биолог, чья основная задача открыть тайну жизни вообще, постепенно откатывается в мир насекомых и кончает свою деятельность на глазном нерве дрозодилы).

Анализ показал, что Сабина беременна.

— Если ты настаиваешь, я буду разумеется с тобою до конца: не у тебя операция, а у нас обоих, — объяснил Боб.

— Ведь иначе нельзя, — умоляюще, но упрямо решала она.

Сабину возмущали его доводы. Она не считала это убийством. И во всяком случае: плодить несчастных и портить свою личную жизнь — большее преступление. Если бы он упоминал о своей любви, о их любви, даже в прошлом, о твердом желании сохранить именно этого ребенка (а не отвлеченно), Сабина бы уступила. Но Боб так не говорил. Наоборот, ему нужна была ее самочинная готовность идти на жертву — улыбаясь, на эшафот. А этого, очевидно, Сабина не могла дать.

Вдобавок ко всем бедам, доктор Поркин, пользовавший Боба, успел незаметно исчерпать весь запас своей доброй воли. Не то, что он собирался прервать лечение. Нет. Но у Боба создавалось впечатление, что на этом пути многого ждать не приходится. Он побывал у хирурга, друга Поркина, который предлагал совершить пересадку кожи: хотя бы местную, — и вызвать реакцию на остальных участках. Но операция сложная и болезненная. И Боб, хотя бы по недостатку времени, пока не решался!

На служебной лестнице Боба также обидели: перевели из отдела классиков в отдел школьных пособий, — в другой под-

вал. Благодаря этой уловке жалование Боба оказалось уменьшенным на полтора доллара в неделю и уравнено с окладом остальных негров. Хозяин издательства был поклонником Dale Carnegie и горькие пилюли предподносил подслащенными, по системе этого великого американца. Он, впрочем, обчелся: один славянин так жестоко избил его за дешевое христианство и ничего не стоящую любезность, что ему, основателю фирмы, понадобился гипс и больничная койка.

От шефа подотдела классиков Боб без труда узнал адрес врача, сделавшего аборт: «Человек хороший, хотя несколько странный», — сочувственно предупредил бывший начальник.

И робкой парой, держась за руки, Боб и Сабина поднялись по неказистой лестнице. О, если бы они поняли тогда стук своего сердца: всю нежность и печаль... о, если бы они поверили только.

Доктор не проявил энтузиазма: «теперь очень опасно, дорого, в сущности, почему ей не рожать?»

— Но вы настаиваете, тогда лучше делать немедленно! — перешел он на другую крайность.

Сабина желала подождать еще с недельку (все таки продолжала надеяться).

Операцию условно назначили к этому времени: середина февраля.

— So long, — сказал доктор, выпроваживая их.

Они стояли на ветренном, студеном 2-м Авеню: близко катил лед East River и присутствие огромных масс замерзающей воды ощущалось всем нутром. Сабина долгим взглядом припала, присосалась к Бобу. Он не обращал уже внимания... Раньше надеялся: вдруг заплачет, вскрикнет, уткнется в грудь, — «милый, ненаглядный, прости, родной, прежний мой». Теперь испытывал только раздражение: унижительное, бесплодное примеривание, высчитывание, сравнение.

Виновато, растерянно, озираясь, она зашагала к Собвею, — на работу, — исчезла, как фантом, под землей.

24. МАКС и Ко.

Она служила секретаршей у литературного агента. Патрон ее — сокращенно: Макс — не стал великим писателем только потому, что роль мэнэджера гораздо ответственнее и требует большего дарования. Целыми днями, иногда даже в праздники, Макс давал инструкции, переучивал европейских литераторов, натаскивал энергичных американских юношей и вдов, правил рукописи, спорил, разбирал, ставил хирургический диагноз и трепанировал. Телефонная трубка была у него зажата меж ухом и плечом, — негр тут же лошил его сапоги, — одной рукой он что-то отмечал в календаре, в другой он держал рукопись, просматривал ее, ухитряясь еще отвечать на спешные запросы сотрудников.

Искусство для Макса родная стихия, и только эти бестолковые «творцы» мешали ему своей непонятливостью. В голове у него царил образцовый порядок, но когда он встречал людей поживших в Европе, то всегда чувствовал себя неловко, словно в сумасшедшем доме, когда не знаешь доподлинно с кем разговариваешь: доктор ли, больной, санитар? Прочитав рукопись, Макс сразу улавливал суть и мог объяснить: хорошо ли это, плохо и почему... и как, изменив структуру, улучшить произведение. Ибо много зависит от структуры.

Вообще, произведение делится на содержание и форму. Бывает хорошее содержание и неумелая форма — это провал. Возможно банальное содержание и удачная форма — это интереснее.

Еще имеются — типы! Очень важно: типы — центральные и побочные. Оформляется вещь при помощи диалогов и description. Главное — диалог. Description знаменитые писатели сами не делают — поручают своим секретаршам. «Когда вы описываете воду, — поучал Макс, — следует играть прилагательным опасный: безопасная вода, небезопасная волна, опасная глубина... это всегда удовлетворяет».

И, конечно, надо быть реалистом: human. Если героиня

влюбилась, но у того жена, то это конфликт между страстью и долгом: human. «Но если вы занимаетесь человеком, который не желает умереть: ни сейчас, ни через 40 лет... то это надумано. Великие писатели вам не пример: только когда прославитесь, начнете фантазировать».

Блестящие идеи осеняют любую барышню, а вот отлить, как следует, это уже мастерство, техника. Макс имел даже философию искусства: маленькая истина, постепенно превратившаяся в отвратительную ложь: «искусство обращается к эмоциям человека; если я, прочитав книгу, почувствовал волнение... отлично; а если не подействовало, значит дурно».

— Но вас больше всего задевают коньяк и женские ноги! — рассердился как-то один из его немолодых уже клиентов и ушел хлопнув дверью (а потом вернулся: в других конторах хуже).

Действительно, теория Макса утыкалась в нищету его эмоционального опыта. «Представьте себе папуаса или 14-ти летнего мальчишку, чьи душевные движения являются высшим арбитром... и вы поймете в какой опасности наша культура», — не раз порывалась Сабина ввязаться в спор. Но сказать такое, значит смертельно уязвить его. «Замечательно, но это не искусство», — часто повторял Макс загадочную фразу: — «это не литература». В его башке все было поделено, классифицировано: роман, повесть, пьеса, исторический роман, публицистика, философия, наука, — без переклички. Так, в детских пособиях, физика, химия, ботаника, в разных концах книжки и нигде не сливаются. Он обладал удивительным нюхом: прочитав наскоро, в присутствии автора, рукопись, Макс выуживал лучшее место, — сравнение, сцену, — и говорил: «Это очень хорошо, но здесь не кстати». Один француз, расшиврепев, попробовал объяснить ему, что бессмертные книги сохраняются в веках только благодаря этим неожиданным, великолепным отрывкам: одолеть нынче целиком Илиаду, Данте, Дон-Кихота, Шекспира, скучно и бесполезно... гениальная страница потому неуместна, что она гениальна, и нужно сохранить ее хотя бы выпирающей, а не кромсать, резать. Но Макс

не обращал внимания на «гениальных» фанатиков; к тому же он сознавал: задача автора отстаивать свой товар, дело редактора защищаться, а его роль, посредника, сглаживать противоречия.

Если бы Макс говорил: — Я вас не учу писать, я вас учу продавать... Сабина простила бы ему многое. Но нет, он искренне одобрял всю эту убийственную для творчества систему. Макс утверждал: «Принесите мне воистину талантливый рассказ и я наверно его продам. Все вещи, которые мне возвращают, имеют дефекты: я вижу их».

Но после несколько месячных попыток и мытарств, Макс, вдруг, вручал писателю чек, — куш, превышавший иногда его десятилетний заработок, там, на родине. Было над чем задуматься. Так множились кадры соблазненных, усталых, патристически настроенных мудрецов, популяризаторов чужих (а иногда и собственных, ранних) идей, трудов, находок.

— Я теперь понимаю, почему большие американские писатели живут в Европе годами, — признался Сабине русский журналист, дожидаясь приема у Макса.

С очерком этого русского вышел следующий анекдот: Героиня, молодая девушка засмеялась: «и слыша ее смех, все в доме невольно заулыбались»... Так значилось в тексте. И Макс запротестовал: «Невозможно, кто видел, что они все в разных комнатах заулыбались?» Спор продолжался в связи с другим положением: чудное утро, море, пляж, чайки, — герой пленен красотой природы, но чувствует, однако, себя несчастным, лишним. Макс решил: «нелепо, окруженный таким великолепием, герой должен радоваться». После скандальных препирательств, русский уступил и добился чека.

— Америка странный мир, — сообщил он Сабине, получая деньги. — Она имеет свои плюсы.

— Вы не знаете Америку, — возмутилась Сабина и горько потом жаловалась Бобу.

У Боба Кастера занятия протекали в несколько иных условиях, но не менее лживых и бездарно-ограниченных. Пост-

но-религиозный, скупое-христианский, лже-добродетельный и самоуверенно-меркантильный дух.

Предполагалось, что сотрудники попадутся идиоты, кретины и устанавливалась (сверху) надлежащая практика — рутина — на все возможные случаи; поскольку рабочий соответствовал этому интеллектуальному уровню, дело двигалось согласно плану; если же служащий проявлял интерес, самостоятельность, т. е. был живым человеком, не только дома или на рыбной ловле, но и в предприятии, то он страдал, оказывался вредным и удалялся, подобно наросту. Из двух телефонисток, место одной постоянно освобождалось: и этих, кочующих, барышень Боб всех заметил. Ту же, что без перебоя сохранялась, — т. е. пришлось кстати, — Боб не запомнил: ни голоса, ни лица, ни имени. Доска, идеальная, плоская, сглаженная. Утешение начальства, созданное в процессе сверхестественного отбора.

Никаких перемен, даже улучшений! Рутинка и только. Вам платят за рутину. Ничего не затевай в разрез с освященной нормой, даже если это явно диктуется здравым смыслом. Произошла непредвиденная заминка? Спроси старшего, он позвонит дальше. Ответа нет? Не важно: ты покрыт, — you are covered, — ответственность переложена. Главное, избегай инициативы и личной ответственности. Инерция. Не думай. Программа рассчитана не индивидуально, а на группу, на артель.

«Американизм это клюква Соединенных Штатов, — думал Боб. — Большой отсталости, технической и организационной, трудно найти и на Балканах. Тут какая то тайна».

Довольно гладко и без резкостей Боб Кастэр высказал это заведующему персоналом: тот громил их за очередную погрешность по отношению к Святой Рутине.

— До войны у нас цветных не принимали. Всем известно, что они ленивы и недисциплинированы. Но такую распушенность, как ваша, мы даже не предполагали возможной.

— Вы дурак, — заверил его Боб. И откланялся.

Он легко нашел другое место, однако, катаясь вниз по социальной лестнице. Между прочим выяснилось еще одно

неудобство его положения: круговая порука, зависимость неизвестных собратьев от его поведения. Если Боб, в шутку, приставал к золотушной итальянке, работавшей в той же Cafeteria, то пострадать могла раса черных в целом. Отныне, только семья его, вид, племя, принимались во внимание.

Дни мелькали хмурые, невзрачные, без запаха, без света, без вдохновения, как в тюрьме или в культурном концентрационном лагере. Ему не доставало друзей: пяти-шести человек его круга, интересов, устремлений. Но их нельзя найти. Даже люди, близкие ему по Лондону или Парижу, претерпевали здесь странные изменения, — в своем роде под стать трансформации Боба Кастэра, — перерождались. Конечно, Сабина. «Она мне нужна теперь. Именно сегодня. Скажу ли я это ей когданибудь?»

25. МАГДА.

Вечером, возвращаясь домой после особенно бесплодных и сомнительных усилий, Боб 'почти обрадовался встрече с Магдой: загородила ему путь у самого крылечка.

— Можно зайти к вам, — попросила. Маленькая, сухая, тоскливо постукивающая зубами.

— Ладно, — согласился. И подумал: вместо отдыха и помощи ему подсовывают, навязывают, существо предельно обойденное, достойное утешения. Новую тяжесть на шею!

У Ники шумели. На всякий случай, сделав знак: потише... Боб на цыпочках провел ее в комнату. Со времени той памятной ночи он не бывал у соседа. По странному совпадению, тот больше не приглашал Боба, — едва здоровался, — будто считая свое задание выполненным. Усевшись на диване, Магда сразу, торопясь, заплакала, издавая горлом смешные, птичьи звуки.

«В общем ее поразило такое же, если не похуже, горе. А ведь она слабее 'меня», — зашевелилось привычное и Боб усмехнулся. Ибо еще с детства усвоил: эти анемичные и хилые, которых ему приходилось всегда подбадривать (на экзаменах,

в творчестве, в походе), гораздо лучше устраивались чем он сам, мужественный, готовый любого пожалеть. «Я спал с этой женщиной, — вспомнил он и злобно осклабился. — Как в этой страшной жизни все ловко переплетено, осмысленна каждая бессмыслица».

Он уложил Магду поудобнее, укутал, дал отхлебнуть вина и тогда лишь разглядел, до чего она истрепалась. Тошная, пепельно-землистая, сморщенная, без возраста.

— Я не знаю, как мне жить. Я не могу больше жить. Я не хочу больше жить. Мне нельзя больше жить, — шептала она быстро, упрямо, одержимая: казалось, витальные силы иссякли, остались только деструктивные, ведущие к разрушению, самоуничтожению. А в то же время, глаза ее, усталые (доброй, чахлой лошади), теплились доверчивым ожиданием, надеждой, мольбой: вот согрей меня, скажи, открой, объясни, влей соки, смысл и я снова зашагаю.

И Боб, который сам, последние недели, с трудом сводил концы с концами, наклонив голову, стиснув зубы, слушал ее, испытывая предвртную муть и томление.

Муж ее бросил, тогда, при катастрофе. Осталась с двухлетним парнишкой: кормит, поит... Но с ужасом замечает: растет. Она не в состоянии воспитывать ребенка одна. Давно надумала: бритвой перерезать себе горло. («Каждый имеет свой образ самоубийства, характерный для него, подобно походке или почерку», — отметил Боб). Вчера чуть было не решилась, да вспомнила: ведь не случайно они с Бобом набезобразничали. Не случайно же такие вещи происходят.

— Да, да, — поспешно согласился Боб, морщась.

Он знал по опыту: жалость, полумеры, посильная помощь, не могут спасти человека. Надо отдаться ему целиком, полюбить. Тогда легко заставить его снова дышать, быть, приносить плоды. Урывками же, пятаками, только обманешь, отсрочишь. И все же он ринулся, согнув тяжелую голову на низкой шее: перед ним стена, еще одна (все та же), он ее прошибет, о, проклятие.

— Ты понимаешь, — убеждал Боб злобно и настойчиво.

— Если бы я полюбил тебя, всю, ты бы воскресла, что ли. Но это значит, частично хотя бы, жить за чужой счет, паразитом, в тягость. Быть дефицитным продуктом в хозяйстве. Пойми, — гневно повторял он. — Жизнь такая сложная и опасная задача, а ты даже не пробуешь разрешить ее. Ты знаешь, что такое минёр? Он идет впереди своих частей, находит мины и разряжает их. Минёр дважды никогда не ошибается. Лучшие бьются, ищут прохода, а ты еще отягощаешь, мешаешь, мертвым грузом ложишься. Я плыву в бурю через Гудзон с твоим же ребенком на спине, а Магда прыгает и цепляется за мой ворот, требует внимания. Слушай, я тебе поведаю тайну мироздания, — согласился он, неохотно, подарить ей самое ценное из мыслей, опыта, откровений, то, что годами вынашивал и боялся открыть, выдать даже Сабине (ибо тогда оно могло вдруг потерять неоспоримость новизны). — Тайна мироздания, — повторил он торжественно, стремясь поразить Магду, вызвать душевный перелом.

26. ТАЙНА.

— В начале был только Он, — заговорчески сообщил Боб Кастэр. — Все что было, было Богом, и Бог был всем, что было. Вселенная Бог и кругом ничего: небытие. Чего нет, то небытие. И Бог, по неизреченной доброте и любви своей, пожалел эту черную, холодную, страшнее смерти «пустоту» небытия. Сказал: «Досадно, что есть небытие, ужас небытия»... И еще: «Сделаю так, чтобы небытие могло приложиться к жизни, и тогда не будет больше небытия». Будучи всеильным, Он мог единоличным актом занять небытие, распространиться туда. Но тогда, опять таки: все что есть — Он, а кругом небытие. Механическим путем задача не разрешалась: небытие отступает, но не уничтожается. Надо, чтобы само сердце небытия ответило Богу: да... и тем самым подсекло собственные корни.

— Значит есть два начала жизни? — спросила вдруг Магда.

— Нет, — отмахнулся Боб. — В том то и дело, что нет:

ибо небытия нет! Здесь тайна, трудно осознаваемая. Существует только божественное. Чего нет, того нет. И подлость, страх, злоба, их нет: это смерть души, корни возвращения, якоря небытия. Понимаешь?.. Тогда Бог дунул, бросил искру, дрожи, толкнул небытие, родил, привел к сознанию и выбору. Весь процесс истории, загадка нашей земли, в этой борьбе: принять ли нам, высеченным из небытия, Бога, заразиться Его светом, оценить Его правду, утвердиться в Его любви или, наоборот, вернуться вспять в состояние сна без сновидений, смерти, небытия, воистину уму непостижимого, черного, холодного вакуума. В душе каждого тягнутся эти две возможности. Человек решает лично, но не только для себя: чаша весов всего мироздания колеблется. Усилие Микель Анджело или Франциска Ассизского влияет на целое: это мерило живого существа, вырванного из небытия. А гадина, тупица и насильник падает ношей на других, отягощает. Любой грех имеет космическое значение, потому что доказывает присутствие тех же элементов и у остальных: ведь речь идет о самоупразднении резервуара небытийности, — «Господи», взмолился Боб: несмотря на веру свою слова то выбирает какие-то лживые. Но продолжал, скрепя сердце: — Понимаешь, Магда, в тебе, как в препарированном кролике, видны струны, тянущие душу назад в древнее состояние покоя и смерти. С титаническими ухватками маниака ты работаешь на самоуничтожение и на разрушение мира. И не ешь, не пьешь, не спишь, отклоняешь всякую радость, смак ее и всякое созидательное движение.

— Я хочу, я хочу, — прервала его Магда и в ее голосе зазвучали творческие нотки. — Я желала бы принести себя в жертву. За великое дело. Десятки лет об этом молю Бога. И Бог не дает мне ответа.

— Это тайна Каина, — сказал Боб, усмехаясь: опять напыщенное слово. — Каин и Авель собрались принести жертву. Дар Авеля детский, от излишка, без надрыва. А труд Каина подобен каторжному. Бог сразу принял жертву Авеля. А Каина нет. Вот тайна: именно потому, что заслуга его велика. Если бы у Каина хватило силы, благородства, любви, продержаться,

потерпеть, ждать, не отчаиваясь и не сдаваясь, от его жертвы остался бы огромный, спасительный след в жизни. Но у него короткое дыхание: как у всех Каинов. Пожелал немедленного результата, позавидовал младенцам Авелям. Медведь в пустыне не сразу лижет руку аскета. Мрамор сопротивляется резцу гениального скульптора упорнее, чем дилетанту или придворному шаркуну. Каин взбунтовался, отчаялся, подобно ученому, разбивающему в гневе свою реторту. И вся его миссия сорвана. А ты идешь по пути Каина.

Магда не была убеждена, но что-то затеплилось в ее душе и жаждало продолжения, развития.

Тогда Боб заявил:

— Я создаю новое общество: последний интернационал: «Враги небытия соединяйтесь». Если ты обуздаешь в себе темные инстинкты, приходи к нам. Мы пловцы с длинным дыханием. Неся собственных и чужих Каинов, переплываем ртутные воды к утверждению живого. Помни, это не шутка: царство Божие берется силою.

Так говорил Боб Кастэр. От усталости, печали, не осталось и следа. Испытывал только досаду, — в сущности разменивает себя по мелочам: — черношкурый, просвещает истерическую бабенку. А он мог бы командовать армией, обращаться к миллионам, поучать народы. («Каин, Каин»).

Из корридора доносилась развратная музыка саксофона: не обрывается, все резче, выше, без радости, подобная бреду сексуального маниака. В одностворчатую дверь к Бобу, с воплями и улюлюканием, рвались пьяные: Ники убедил их, что там женщина. Они лежали в темноте; Боб гладил ее сухие волосы и сморщенное личико.

— Понимаешь, — шептал он. — Тебе не повезло. Но надо держаться, до поры до времени. И все таки жить за собственный счет. Я тоже потерял многое и, видишь, не сдаюсь. Сабина беременна и собирается выскрести моего ребенка.

— Я ненавижу Сабину, — отозвалась Магда, словно о давней своей знакомой. — Дурак, ты не понимаешь: она сперва тебя разлюбила, а потом ты изменился.

Боб вздрогнул точно от удара хлыста: вот слабая, добрая, а эту страшную истину легко преподносит ему.

— Ты ошибаешься. Правда по середине, — кротко сказал он, настроенный великодушно собственными вдохновенными образами.

— А я бы твоего ребенка донесла, — заявила вдруг Магда.

Незаметно уснула, то и дело всхлипывая, бормоча, спохватываясь, как голодная, побитая, бездомная собака, нашедшая себе случайный приют. Боб думал: «блудный сын, истосковавшийся по доброму слову и горячий пище... вот неожиданно его умыли, согрели, уложили на чистые простыни. Никто не прогонит, хотя бы до утра: и пришел он в себя»...

Она так храпела, что мешала ему не то что спать, но даже лежать тихо, курить. «Как мало я сделал. И больше получил, чем дал. Тайна. Застрять с нею навсегда: посвятить жизнь. Хоть одного человека спасти. Может в этом разрешение вопроса: цель и суть. Приму ее ребенка: обеспечу им тыл. Без крупных подвигов. Не быть Каином самому... Но с какой стати? Отказаться от самого себя? Я не Каин, не отчаялся, не убивал. Я только не уступаю: не отдаю лица своего за мармелад. Я тоже хочу: притти в себя. Быть самим собою, на соответствующем месте».

— Но где твое место? — пронеслось.

«Прежде всего, я не черный, — упрямо ответил голос в Бобе. — Главное преступление, подлость и слабость людей: ползут и застыбают там, куда их ставят обстоятельства удачи или неудачи. Не признаю. Факт, что все меня соблазняют, толкают на путь сладкого компромиса, только доказывает насколько я прав, сопротивляясь: силен дьявол, трудно сохранить свою душу. Пока жив, не откажусь. О, меня мармеладом не купишь»...

Неожиданно, из храпа, донесся голос Магды:

— Почему это так устроено в жизни, что легко, почти произвольно, выходит дрянь, ложь, предательства... а как только пробуешь другое, высокое, светлое, сразу натыкаешься на трудности.

— Это потому, — объяснил Боб, — что птицы небесные имеют гнезда, зверь лесной нору и даже комфортабельную, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. И все, что от Него или с Ним, не имеет приюта на этой земле, с трудом укладывается. Чему тут удивляться?

«Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову, — повторил он про себя, потрясенный. — О чем ты думаешь? На что жалуешься? Борись, побеждай и будь счастлив».

— Спи, спи, — сказал он строго Магде, которая зашевелилась было, желая продолжать беседу. — Поздно уже.

В. С. Яновский

(Продолжение следует).

КОНЬ РЫЖИЙ*)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I.

Мне тогда еще казалось, что сознание не определяется бытием, и я не знал, что человек может быть переделываем жизнью. Мы — студенты, но идя строем к каптенармусу, уже даем ногу, и в мерном ударе общей ноги есть даже какое-то удовольствие.

В цейхгаузе, заваленном штанами, гимнастерками, сапогами, в беспорядочном набросе которых чудится что-то трупное, мы переодеваемся во все защитное; все наголо острижены. И, выстроившись в две шеренги, стоим перед рослым, жилистым полковником, украшенным боевыми орденами; на его скуластом лице загар войны, фронта, боев; мужественным голосом он обращается к нам:

— Господа юнкера! До сих пор вы учились в университетах, но сейчас вы мобилизованы и пришли учиться совершенно другой науке. Вы пришли учиться, — отчеканивает полковник, — науке убивать, это трудная наука и вы преуспеете в ней тем лучше, чем скорее забудете то, чему до сих пор учились...

С шумно-приятным ударом общей ноги мы выходим на военный плац, радующий глаз своей ровностью. Отделенный командир, по-осиному в талии перетянутый юнкер, бывший студент-математик, даже в выражении лица которого не оста-

*) См. книгу 14-ую «Нового Журнала».

лось ничего математического, учит нас становиться во фронт перед генералом.

Полковник прав. Чтобы ловко маршировать, лихо делать фронт, проворно действовать пулеметом и по движущимся мишеням метко стрелять из винтовки, надо забыть «Пир» Платона и «Пролегомены» Канта; это мешает; так же, как и то аристократическое чувство надмирности, которым дарила философия.

Я иду на отделенного командира. Он, как генерал, идет на меня. Не доходя до него, я отрывисто выношу вперед левую ногу и со счетом «два» становлюсь во фронт. Он проходит. Я провожаю его напряженным взглядом вращающейся головы и, отчетливо повернувшись, с левой же ноги продолжаю путь, пока не становлюсь второй, третий, десятый, сотый раз. В общем, это приятно, как всякое упражнение, развивающее ловкость тела.

На глазомерные съемки, учебную стрельбу, на тактические занятия, с песнями во взводной колонне, мы маршировали за Москву. Мы занимаемся этим в лесу, у Канатчиковой дачи, где помещены, привезенные с фронта, сошедшие с ума офицеры. И когда мы с песней уходим с ученья, из-за решетки сада сумасшедшие глядят на нас тихими, скучающими взглядами, явно не понимая, кто мы такие.

А у Даниловской заставы в этот час окна уже начинают светиться теплыми керосиновыми огнями. К воротам, посмотреть на юнкеров, цепляясь друг за дружку, бегут хорошенькие портняжки, прачки, горняжки. Из строя мы подмигиваем им, нас ведь держат взаперти. Рота, как машина, отбивает по снежной улице шаг. Мы для девочек поем:

«Вспоили нас всех, вскормили
России могучей поля...»

После ужина всех нас клонит ко сну, ибо за день мы утомлены маршами, гимнастикой, морозным воздухом; мы крепко спим на своих койках, чтобы на рассвете медная труба того же,

смешно вздувшего щеки, горниста подняла нас на те же занятия.

В отпуск по Москве, где еще так недавно я передвигался в бесконечности кантовских пространства и времени, я теперь иду взволнованно ища генерала. Какого угодно, пусть даже отставного, я его озабоченно выискиваю. И вот, наконец, золотом и кровью блеснул артиллерийский генерал. Он делает вид, что не замечает моего бьющегося сердца, но кого-то оттолкнув, я уже становлюсь на снегу Арбата во фронт именно так, как меня учили.

Генерал подтверждающе чуть приподнял белую перчатку и проходит под моим вертящимся взглядом. Но на извозчике приближается второй, бородатый, с девочкой в голубом капоре, и я тороплюсь свернуть в Старо-Конюшенный, скрыться от красных подкладок, золотых и серебряных зигзагов генеральских погон.

В богатом истово-московском доме в Старо-Конюшенном те же знаменитые адвокаты, умные политики в очках с бородами, известные инженеры, певцы, музыканты, актеры с именами. Гостиная полна говором, остротами, смехом. Студентом я засиживался тут до рассвета, а теперь в десять вечера юнкерское тело уже не в силах преодолеть сонности; и несмотря на веселье и музыку оно засыпает в желтом шелковом кресле. Я с трудом слышу спор знаменитого адвоката с социалистом-инженером о проливах. Невпопад улыбаюсь актеру, острящему о футуристах. От сонности я вижу все в уродливом искажающем зеркале, во мне даже вырастает неясное раздражение против седой гривы адвоката, безмускульных рук известного скрипача, брызжущих брильянтами розовых ушей актрисы и всей этой желтой гостиной стиля директории. Даже романс, вырывающийся звоном из темноты широко разъятого рта певицы, кажется бессмыслицей и дребеденью. Среди шелковой и, в сущности, уродливой мебели, с неестественными улыбками и движениями, певица поет о том, что мы пойдем в лес, нарвем цветов и будем счастливы, как дети. На рябшем рисунке желтоватого ковра я глажу на свои солдатские сапоги, силуясь не

зевнуть и, под раздавшиеся после романса аплодисменты, на цыпочках выхожу в дальний кабинет, где мне постелена кровать.

Наслаждаясь, я сбрасываю «лакеем» сапоги, протяжно зевая, с приятной ломотой в спине медленно скидываю одежду, ложусь на холодноватые простыни и накидываю теплое одеяло. Сразу же я впадаю в темно влекущее бессознание, но все-таки еще разбираю, что в гостиной придушенно тенор поет о том, что он растворил окно, потому что ему стало душно невмочь и он поэтому упал на колени; но тенор умирает. Я сплю и в сотый раз мне снится тот же юнкерский сон, как наш курсовой офицер поздравляет меня с производством, а мы все двадцатилетние новенькие прапорщики, в золотых погонах, в зеленых бекешах затянутых новыми ремнями, с новенькими наганами и шашками, толпимся на какой-то бесконечной, снежной равнине и, обнимаясь, прощаемся друг с другом и все куда-то расходимся по снегу с подмерзшей проламывающейся коркой.

II.

Сероватый рассвет. Морозная тишина. В улицах ни души. Деревянные тротуары заснежены. На крышах греются у труб галки. Все еще спят. А я прапорщик 140 пехотного запасного полка иду в полк на занятия и слушаю, как круто скрипят мои подметки по обледелым тротуарным половицам.

Итти мне далеко, за Пензу, где в поле в бараках расквартирован полк. На ходу я думаю о том, о сем, высчитываю очередь, когда поеду с маршевой ротой на фронт, вспоминаю, как играл Станиславский Вершинина в «Трех сестрах», как чудесно барабанил Маше «трам-там-там», а за сценой под сурдинку слышался марш. На Сенной площади мелькают рассветные очертания съезжающихся базарных мужиков в раскатывающихся розвальнях. Мужики в полушубках, чапанах, в галицах, в меховых собачьих шапках кажутся таинственными, неподвижными тумбами; лиц не видно, торчат только заиндевшие куски аршинных бород.

Идя по наезженному снегу Сенной Площади, я ощущаю трогательность того чеховского спектакля, вспоминаю и себя, студента, где-то высоко у галерки. Площадь остается позади. Я припоминаю, как три года тому назад приехал в Москву в университет и с Рязанского вокзала, в обнимку с чемоданом, ехал на извозчике все чему-то улыбаясь, и никак не мог подавить эту от счастья выходящую на губы улыбку, хоть и стеснялся, что ее заметят прохожие. В университете, в светлооконных корридорах — гудящая толчея зеленых, черных курток, сюртуков, пиджаков, русских рубах, великороссы, украинцы, сибиряки, грузины, евреи, армяне. Вся Россия. И это ощущение с шестой части земли столпившейся молодежи — прекрасно.

У Старого Вокзала я перехожу оснеженные рельсы, все еще полный воспоминаниями моей Москвы. Я словно даже чувствую тишину университетского читального зала; ощущаю и нашу гаудеамусовскую жизнь на Малой Бронной с попойками в ночной чайной «Калоше», с вечеринками землячества; воскрешаю в себе то чувство беззаботной приподнятости от всей этой студенческой свободы жизни, которая кажется теперь потонувшей.

Закутанный башлыком унтер-офицер ведет мне навстречу взвод мерно мнуших снег солдат и хрипловато командует: «Смирно! . . . ». Отдавая честь, я говорю: «Вольно . . . ». Передо мной снеговая равнина, на ней ряды барачков, в них — полк; за годы войны Пензу затопил шестидесятитысячный гарнизон и былой моей Пензы тоже давно нет. Я отворяю дверь барака, под ноги мне вырывается пар, крутятся низкими клубами; взводный истошно подает команду.

Шумя негнушимися подметками солдаты строятся. Это все пожилые ратники. Я вывожу их в снежное поле и там начинаю учить стрельбе по движущимся мишеням, рассыпаю в цепь, гоняю перебежками, заставляю окапываться, залегать, готовлю к фронту так, как приготовлен и я. А в перерывах, когда солдаты вольно толпятся, курят и согреваясь наотмашь машут крест-накрест руками, я толкую с ними о войне и знаю, вижу, что этим бородачам-мужикам военная служба тяжка,

что думают они не о ней, а о своих деревнях, хозяйствах, о бабах. Но этого я стараюсь как бы не замечать. Когда же во взводной колонне мы уходим с ученья и я приказываю песню, и песенники запевают уныло-тревожную «Вы послушайте стрелочки», не останавливая ее, я совершаю, в сущности, служебный проступок, ибо песня эта запрещена приказом командующего округом, как не возбуждающая воинских чувств.

Но в поле, в желтых снегах я один только и иду с ротой и я молчаливо разрешаю песню потому, что она единственная, которую солдаты любят петь. А любят потому, что выливают в ней подлинны чувства. Я же ее люблю оттого, что слушая подхватывающие, дробные крестьянские голоса заражаюсь их заунывным вдохновением.

«Вы послушайте, стрелочки,
Я вам песенку спою.
Я вам песенку спою,
Про службу про свою.
Три мы года прослужили,
Ни о чем мы не тужили,
Стал четвертый наступать
Стали думать и гадать.
Стали думать и гадать
Как бы дома побывать.
Как бы дома побывать,
Отца, мать повидать.
Отца, мать повидать,
С молодой женой поспать...».

* * * * *

За обедом в офицерском собрании все мы молоденькие офицеры всегда говорили об одном: когда и чья уходит на фронт маршевая рота? Конечно, мы читаем газеты, следим за Государственной Думой, волновались речью Милюкова о «глупости или измене», статьей Маклакова о «сумасшедшем шофере», толковали об угрожающих правительству речах Керенского и Родичева; правительство «петербургских старичков» у нас непопулярно, но все же всех нас это уже мало касается; мы почти уже в окопах, наши чувства только воен-

ные, мы видим только войну; и все думаем, что Бог даст, вопреки всему Россия дойдет и до победы.

Отъезжающий на позиции прапорщик играет на рояле и поет:

«У меня блещут погоны,
У тебя дрожит рука.
Эти пыльные вагоны
Ждут последнего звонка...».

III.

И в этот вечер из полка я шел, как всегда, усталый, закутанный в обмерзавший от дыхания башлык. Пенза вся в синей темноте; от мороза быстро бегут редкие очертания пешеходов; от режущего ветра ломит переносицу. Зато дома, в жарко натопленных комнатах я рад отдыху. Освещенная сквозь желтый абажур у темнокрасного стола в гостиной, сидит за вышиваньем мать, в ее пальцах игла делает цветные стежки на суровом, смятом ее рукой полотне. Я снял холодноватые сапоги, в туфлях, позевывая, шелещу длиннейшей, широченной газетой «Русское Слово».

Но вдруг в передней позвонили. Разношенными валенками няня Анна Григорьевна прошуршала к парадной двери. И вдруг чьи-то чересчур быстрые шаги, и еще путаясь в рукавах скидываемой шинели, приятель прапорщик Арзубьев из передней закричал: «Потрясающее известие! В Петербурге переворот! Самая настоящая революция!»

На полных щеках, в круглых темных глазах Арзубьева сияющая радость. Может-быть потому, что тяготили неудачи на фронте, затянувшаяся война, неспособность правительства, распутинские скандалы, но нет, нет, вовсе не поэтому, а почему то совсем другому и я вдруг ощутил ту же странно обжегшую меня радость. Эту радость я увидел и в матери и даже в спервоначалу обомлевшей няньке Анне Григорьевне.

Явно ощущая приятность, что он первый в городе узнал такую историческую новость, Арзубьев, хоть и торопясь, но со вкусом рассказал, что его отец, инженер Рязано-Ураль-

ской железной дороги, только сию минуту получил телеграмму за подписью члена Государственной Думы Бубликова, что правительство свергнуто и власть уже в руках членов комитета Государственной Думы.

— Теперь скорая победа и конец войне! — сиял Арзубьев.

— Надо Ладыгиным сказать, — и Анна Григорьевна зашестела валенками к двери.

Через минуту, торопясь, вошел плоскогрудый, желтолицый присяжный поверенный Ладыгин с круглощекой женой и застенчиво улыбающейся дочерью-курсисткой. С ними, извиняясь и шурша длинной юбкой, пришла даже их гостья, спесивая дама с прищуренными прохладными глазами. Арзубьев еще раз рассказал о телеграмме Бубликова и я видел, как все обрадованно заволновались. Даже незнакомая спесивая дама, оказавшаяся вдовой полицеймейстера, проговорила:

— И я скажу поделом! Всеми этими скандалами нельзя губить страну! Уж если Пуришкевич назвал наше правительство забывшим родину, то и поделом!

IV.

А на рассвете я бежал в полк. Я, конечно, за республику, за Думу, за Милскова-Гучкова и за победу, которая теперь приблизилась! Перерезая Базарную площадь с редкими, на морозе жавшимися, жалкими прохожими, пробегая мимо мертвых домов и унылых улиц, мимо рыбных рядов, где сусеки полны торчащей мороженой рыбой, я чувствовал захватывающее душу возбуждение и все вокруг, казалось мне, перерождается.

Но в полку никто еще ничего не знает. В бараках тихий гул солдатских голосов; в поле на занятия их не вывели и солдаты чувствуют, что, кажется, произошло для них что-то важное. Но что? Не знают. Они переговариваются, перешептываются, но как только подходят офицеры, хмуро расходятся.

В бильярдной офицерского собрания толпятся офицеры. Капитан Васильченко с отчаянным лицом, молча, ходит из угла

в угол. Молодые возбуждены, как и я. Большинство же мнетя, покашливает, словно поперхнулось. Говорят, что командир полка заперся в кабинете, в ожидании телеграфного ответа командующего округом на запрос: что делать? Но телеграф бездействует.

В роте я вызываю взводного Каркунова, мелкого бакалейщика до войны. По его смеющимся глазкам вижу, что он уже знает и ему нравится. Я беспокоюсь: а вдруг солдаты пойдут усмирять город, усмирять революцию, если будет отдан приказ? Каркунов пугливо глянул на дверь, заперта ли? «А кто ж их знает, ваше благородие, народ темный, слухают, а что к чему не понимают». Но после раздумья дружеским шепотком бросает: «да нет, навряд ли выйдут, война надоела, домой хотят, вот что».

Меж бараками по снегу пробегают серые шинели, нагоняют друг друга, толпятся, о чем-то говорят, узнать бы о чем? Везде полуголоса, шепоты, все чего-то напряженно ждут. И вдруг в роту вбегает побледневший прапорщик Крылов: потрясающее известие: царь отрекся! Он рассказывает, что командир полка в кабинете упал в обморок. В собрании офицеры смяты. А в бараке я не могу даже узнать своих солдат. Со стены сорвали портрет царя, в клочья топчат его сапогами, будто никаких царей никогда в России и не бывало. Солдаты ругаются, приплясывают, поют, словно накатило на них веселое сумасшествие, словно начинается всеобщее счастливое землетрясение. Еще вчера они даже не знали это трудное для мужицких губ слово, а сейчас кричат: «Ура, революция!!!» И я, двадцатилетний республиканец, чувствую, как спадает моя радость, убитая совсем другой радостью солдат. Из офицеров я в бараке один, кругом меня хаос криков. «Урррраааа!!!» «Да здраавствееееет!!!» И крики эти будто вылетают не из глоток, а из каких-то таких опьяняющих глубин, что того и гляди эта обезумевшая радость перехлестнет берега и все затопит. Это радость какой-то всеобщей распутицы, в которой тонут люди, лошади, телеги, и хоть все может-быть и утонут, но сегодня всем почему-то

очень радостно. У солдат сразу все стало иным; изменились лица, жесты, движения, голоса. Это другие люди. И это зрелище и захватывающе и страшно. Это, вероятно, то мгновение, которое называет революции великими. Может быть оно одно и есть революция, а назавтра его уже не будет? Но сегодня все закачалось, затанцовало. Так почему же с чувством тревоги ощущаю я взрыв этих сил? Он мне чужд. Я ему даже супротивен, ибо я не хочу этой всеопрокидывающей, всеразрушающей, всему угрожающей стихии.

— Долой отделенных! — хохочет на нарах танцующий мордвин; он подбрасывает к потолку сапог с взвивающейся из него ржавой портянкой; мордвин уверен, что теперь он свободен от власти отделенного, которого вчера еще боялся.

— Войну долой! — пронзительно летят простуженные басы и тенора из соседнего барака. Мужики нюхом учуяли, что теперь без начальства война повалится под откос и они уже ближе к своей земле, к избам, к бабам и их общая радость так могуча, что ей не удержаться в бараках. Гогочущей, мускулистой толпой полк вываливается на желтый снег, меж бараками колышется океан шинелей. Приветствуя революцию, революционные войска маршем хотят пройти по городу.

V.

На Московской улице красные банты, красные знамена, полотнища кумача; и откуда достали столько кровавой материи? Пензяки без различия состояний все улыбаются, как на Пасху. На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, в войлочных шапочках, в казенных котах едут освобожденные из острога уголовники. С извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики везут их даром; в России теперь все будет даром! «Отречемся от старого мира!» Тюрьмы уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода! Жизнь народа началась только сегодня, а все, что было вчера.

выброшено из народной памяти. Только с сегодня, с этого мгновения, как бы сызнова пошла история России всеми своими полыми водами. Это ледоход, ледолом. И чтобы это чувствовать, видеть, ощущать, стоит жить.

Освобожденный народ не нуждается в полиции и полиции нет, она бежала от народного землетрясения. Везде песни, приветствия, давка опьяненной толпы, обладательницы ничем теперь неограниченной свободы. Губернатор Евреинов арестован, но беззлобно просто выброшен как ненужный предмет. По указу революционного Временного Правительства власть перешла к председателю губернской управы князю Кугушеву, хорошему знакомому и постоянному партнеру губернатора в винт.

Невыдающийся, безобидный князь, ставший против воли революционной властью, от имени революции обязан принять парад народа и войска на Соборной Площади, где в склепе хранится гробница особочтимого у пензяков архиеерея Иннокентия. В каракулевой шапке, в пальто на кенгуровом меху князь стоит на увитой кумачем трибуне рядом с усатым адвокатом, своим помощником. Обоих окружают мешковатые, милые члены управы и гласные думы. Но с трибуны будут говорить теперь не они, их оттеснили, на кровавый кумач лезут совсем новые, из подполья вымахнувшие ораторы.

Тощий юноша с лиловым несвежим лицом, пропагандист Шадрин произносит перед толпой невообразимую речь; его не интересует Пенза, отцы города, он незанят даже Россией. Махая над толпой голодными кулачками он кричит о человечестве, о том, что через все окопы, через все проволочные заграждения, через границы всех государств, эта свобода русской революции полетит ко всем, ко всем, ко всем! Толпа гудит, рукоплещет трогательной всечеловеческой речи Шадрина, полощет в февральском воздухе кровавыми полотнищами. Толпа хочет того же, чего и он, вот такого же веселого и обязательно всеобщего и радостного мирового танца.

Но революционные крики обращаются все-таки и к комиссару Временного Правительства, к перепуганному князю Кугу-

шеву. Неподалеку от него, у трибуны стоит седоусый бригадный генерал Бем, начальник гарнизона, в петлице его касторовой шинели тоже есть, хоть и небольшой, красный бант. С окраин в центр идут шестьдесят тысяч войск, это сверхчеловеческий парад, сотрясающий воздух над Пензой; такого парада генерал никогда еще не принимал; блестящий снег весь изранен солдатскими сапогами.

Я иду впереди роты, слышу сзади: «Нет теперь командёров! Идем как хотим!» Солдаты пьяны и свободой и водкой, все течет самотёком, под давлением нечеловеческих сил.

Перед полком на коне едет наш седенький командир. На груди, рядом с орденом св. Владимира, у полковника приколот красный бант и на побледневшем лице старика вся необычайность его ощущений. Сквозь марш долетают пьяные крики солдат. Оркестр играет Старо-Егерский марш. Конь полковника танцует, выбрасывая серый хвост; это спокойный конь, но по службе он знает, что под марш надо всегда чуть-чуть играть и шалить.

Перед нашей ротой идет вёрткий ефрейтор с портретом великого князя Николая Николаевича. В бараке, только что вырвавшись из карцера и поэтому опоздав к самому началу революции, ефрейтор долго не знал, что-б ему сделать; он папхой сбил икону, ударил ее ногой, отшвырнув под нары, орал о «Гришке и Сашке», топтал обрывки уже растоптанного портрета царя, но вдруг увидав великого князя, подпрыгнул, сорвал и теперь, заломив вязанковую папаху, идёт с этим портретом перед ротой. Ефрейтор обязательно желает театральности, он крепко заложил за воротник, он покачивается, месит снег пьяными ногами и с кому-то угрожающим лицом, то и дело, сипло вскрикивает: «Ддда зддррравствует Ррррадзянка!»

Трубачи устали. На морозе пристывают к трубам губы. Как только обрывается марш, сразу же шелестят по снегу тысячи солдатских сапог. Отдохнув, трубачи ударили снова, раздувают щеки маршем «Москва». Под эту плавную русскую мелодию, по этому снегу с алеющими кровью бантами, ноги

сами подламываются, сами идут; солдаты подтягивают: «Масква, Масква златые главы!» и шелестят их сапоги.

— Братцы, долой войну! — кричат высыпавшие из мастерских, замасленные железнодорожные рабочие. — Долой! — режут ответно солдаты. Под бледным полковником боченится от этих криков конь. На Московской мы столкнулись с желтыми бескозырками дргунского полка, едущего под полувальс, под полумарш. И пока стоим, пропуская конницу, в строй вбегают пьяные от счастья интеллигенты в пальто с каракулевыми воротниками, жмут солдатам и офицерам руки, кричат: «Да здравствует армия! Да здравствуют офицеры!»; ревом «ура» солдаты отвечают и им.

Под это немолчно стонущее «ура» мы подходим к Соборной Площади. Головная колонна с командиром на коне поровнялась уже с трибуной комиссара Временного Правительства. Изредка князь Кугушев помахивает каракулевой шапкой в знак приветствия. С странно сведенным лицом стоит и генерал Бем, держа под козырек. Его белую перчатку я вижу на кровавых полотнищах кумача. А вокруг взлетают папахи, гремят марши, туши. Вместо губернатора с балкона губернаторского дома взвизгивают его несколько горничных: «Урра, да здравствует революция!»

Но вдруг всё прорезали сильные выкрики: «Бема бьют!» И все кинулись к трибуне комиссара, а с тротуара, ничего не поняв, дамы машут сумочками, платками, кричат: «Ура!». Я и прапорщик Быстров сдерживаем наших солдат. Я кричу: «В строй!»; я остервенел, я лезу на солдат, я знаю, что если сейчас мы их не сдержим, они, может-быть, разнесут всё.

— Музыка, музыка! — странно кричит командир полка. Это он хочет хоть музыкой увести бесстройную разламывающуюся полковую колонну. Гулко бухнул большой барабан, но с разных сторон мешаются с музыкой те же хриплые крики: «бьют, бьют!»

В ворота какого-то дома мы, пять прапорщиков, не впускаем наседающую толпу. Сзади на снегу валяется голый, пятнистый от кровоподтеков, растоптанный солдатскими сапо-

гами труп полного человека и в этом трупе, странно раскинувшем руки и ноги, есть что-то совершенно несообразное с только что виденным командиром бригады и начальником гарнизона.

— Товарищи! Где же свобода?! Товариииищииии! Это же позор революции! — надрывается ломкий, умоляющий юношеский голос прапорщика Быстрова. Я уперся кулаком в грудь лезущему на меня солдату, его глаза бессмысленно остеклянели, ряд желтых, словно собачьих, зубов ощерился, изо рта тянет самогоном. «Да, что ты осатанел, чёрт!», кричу я. А солдат только разгоряченной дышит, прёт, давит, он только и видит что валяющийся сзади меня окровавленный труп. С площади долетает марш, это командир всё еще хочет увести солдат музыкой.

И вдруг из-под солдата на меня вывернулся розовенький гимназистик с голубыми кантами эвакуированной из Польши гимназии; ему жарко от давки, но даже среди одичалых солдатских лиц, это хорошенькое лицо ошеломляет меня своей искаженностью. Мальчик бьет локтями, протискивается. «Пустите!» с визгом кричит кудрявенький, хорошенький буржуазный херувимчик.

Упав, я еле выпростался из-под сбивших меня тел; они прорвались; я только вижу их бегущие к трупу подметки с налипшим на них снегом и меж серых шинелей маленькую, черненькую, гимназическую, опережающую всех. Возле трупа, размахивая, как мясом, вырванным куском красной генеральской подкладки, хохочет бородатый солдат. «Вот она увольнительная записка-то!» И теребя полуоторванную руку трупа, двое солдат перочинными ножами срезают с генеральского пальца затекшее обручальное кольцо.

А революционные шествия мимо князя Кугушева всё идут, там всё кричат «ура» и играет музыка. И только в сумерках солдаты и народ расходятся с площади кто куда хочет.

В темноте Пензы вздрогнули фонари и погасли. В этих завываниях ветра их некому зажечь. Горожане крепче запираются на замки, засовы, крючки, боятся грабежей. Но это совершенно напрасно, восставший народ благодушен. В снежной

тьме всё тонет в песнях, в гуляньи, в лузганьи семячек. На базаре кабатчики попытались запереть трактиры, потому что солдаты не хотят платить за водку, но солдаты не дали запереть, хватит, заплатили и задарма пьют за здоровье Революции Иваны. Этим то и хороша февральская свобода, что она полная свобода! В ней осуществлена совершеннейшая свобода человека!

Посередь снежной улицы в темноте мимо нашего дома идут солдатские толпы; сквозь нежно-лапчатую ткань морозного окна видно, как, качаясь, идут в обнимку, в шинелях нараспашку и все поют в разной с жгучим удовольствием. А у нас в комнате, указывая на них, присяжный поверенный Ладыгин, в молодости за дело народа знававший каземат Шлиссельбурга, говорит с отвращением:

— Теперь мы все в и х р у к а х, — и помолчав, добавляет с какой-то трещиной боли в голосе, — ухнула Россия... там, — указывает он куда-то, вероятно, на Петербург, — всё упустили... а теперь уж не подхватишь... всё пропало...

VI.

В неурочное время в сторожном мраке пустой Никольской церкви, у иконы Богородицы в высоких, серебряных, закапанных воском подсвечниках горят желтые свечи. В церкви нас двое: мать и я. Дряхлый отец Никодим в зеленоватой епитрахили служит напутственный молебен; в церкви пахнет и ладаном и какой-то милой затхлостью. Я уезжаю с маршевым батальоном на юго-западный фронт, где началось наступление русской армии.

В чем-то легком черно-кружевном на коленях перед сурово темнеющей Богородицей молится мать; в ее моляще поднятых на икону карих, сияющих глазах дрожат слезы, губы осиливая рыдания шепчут; крепко сжимая крестное знаменье в лоб, в плечи, мать невольно смежает веки и вдруг, не в силах сдержаться, рыдает. От старческого голоса отца Никодима, читающего Евангелие, от музыкально-меркнувшей темноты, мать плачет все безудержней. И после молебна мне с трудом удастся настоять, чтобы она не ехала провожать меня еще и на вокзал.

Маршевый батальон выстроен на площади с оркестром музыки впереди. Я член полкового комитета, говорю солдатам краткую речь о начатом наступлении. Я говорю искренно, но мне мешает говорить то, что я всё-таки понимаю, что «разумная дисциплина» и «свободная армия» это нечто вроде балета хро-мых и оперы немых. Солдаты стоят недовольные, изредка, как бы из вежливости откашливаются. Маршевые роты не доходят до фронта, с дороги разбегаются по домам, до того не хочется им войны, до того не терпится им дорваться теперь уж не только до своей, но и до чужой, помещичьей земли.

После отслуженного на ветру молебна архиерей Владимир, блеща черными лаковыми глазами, дает нам всем приложиться к прохладе золотого креста и приятно кропит обнаженные головы мокрой метелкой.

Команда: «Становись!» И вот оно первое движение к око-пам: погрузка в вагоны. Ах, как хорошо итти под музыку этого легкого веселого марша, под нее бы и умереть пустяки. У вокза-ла раздается отчетливый шум снятых к ноге винтовок и солдаты давкой врываются на перрон. Возле длинного красного эшелона стоят матери, отцы, сестры, дети. Матери все пытаются е щ е х о т ь р а з о б н я т ь с ы н о в е й. А в теплушках с взвизгами затереренькала гармония: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает!»

У головы поезда горнист играет сигнал к посадке. От этих тревожных звуков даже крепившиеся женщины заплакали. А в вагоне все разухабистей, все хулиганистей наяривает ливенка. В ответ горнисту свистит паровоз. И эшелон медленно и плавно поплыл от пензенского вокзала. Крича что-то безумное, выры-ваясь из рук дочерей, мать прапорщика Быстрова, протянув к нему руки, бежит за поедом.

А поезд дымит, ускоряет ход, поезду ее не жалко. Она упала, ее поднимают какие-то темные люди. В поезде с звоноч-ками перебирает гармония; солдаты поют: «вышли мы все из народа, дети семьи трудовой». У окна вагона Быстров стоит с затуманенными глазами. На верхней полке весельчак прапорщик Кирилл Ивановский, задрав вверх ошпоренную ногу, напевает:

«Завтра может в эту пору нас на ружьях понесут...» А внизу между лавок, на фибровом чемодане похохатывает банкомет поручик Нижегородцев, тасуя карты, уже начиная «железку».

Река Сура, красный мост, мужской монастырь, холмистая зелень часовни Живоносная Источница (откуда, по преданию, при осаде Пензы кумыками, из городских ворот вынесся Светлый Всадник, обративший в бегство кумыкского Акку-хана), театр, белый собор, всё мелькнуло и моя Пенза уходит на повороте; только с железно-дорожной насыпи метнулась худая стреноженная лошадь и уродливо запрыгала по лугу трепыхая гривой. Паровик протяжно свистит. «Прощай, моя Пенза, прощай всё, что я в тебе так любил!»

VII.

Эта в желтых обрывистых берегах река называется Днестр. Земля эта — Буковина. А чужой поселок, куда мы ночью входили со звоном сцепляющихся штыков, называется Залещики. Квартиреры отвели мне ночле́г в заваленной барахлом еврейской халупе; перепуганная кудрявая еврейка умоляет уйти, поискать другую квартиру, у нее болен муж, много детей, много вещей. В зоне военных действий ее ломаные шкафы, комоды, шифоньерки, продавленные чемоданы, бронзовые шандалы и кенкеты кажутся мне какими-то потусторонними предметами. Но куда ж деваться в темноте неизвестной ночи? И я успокаиваю хозяйку, что на утро мы уходим дальше на фронт.

Но на утро у Днестра, в солнечном местечке Залещики, солдаты замитинговали. Мы довели из Пензы только половину батальона, другая повыпрыгивала на станциях в темноте ночей. Но вот и привезенные, почувствовав, что потянуло сыростью окопов, боями, смертной тоской, сошлись на митинг в местном театре и отказываются идти дальше.

Контуженный, бессильный капитан Грач, командир батальона, уговаривает солдат подчиниться приказу, выступить, спасти начатое наступление. Но на сцену театра выбежал загорелый солдат, в шинели в накидку, с космами выбившихся

волос, с затравленными глазами и ременным поясом почему-то на шее. Этот солдат-кликуша закричал:

— Вот ты говоришь о Расее и мы, конечно, с тобой сии-дарны, а говоришь ты сё-таки неправильно! И вот я спрошу тебя по-своему, пачему ты затростил об этой Расее?! У тебя фабрики, да заводы, да именья, вот у тебя и Расея, ты и голо-сишь, чтоб воевать. А у меня, к примеру, где они мои именьи-то? Где? — с остервененьем закричал солдат. — Кады они у меня были?! У меня и земли-то всей, что вот под ногтями... вот она моя Расея! Да чем я ей, Расее, виноват, раз я всю жизнь на ~~Рос~~поспоров работал, раз у меня в ей ничего не имеется! А по-нашему, по-неученому, раз слободно для всех, то кому надо, поди да воюй, а меня не трожь, повоевали и будя!

— Довольно обдуряли нашего брата... замудровали... — зашумели солдаты.

Грач беспомощно смотрит на офицеров. Просит выступить меня. Но что я скажу? Ведь кликуша-солдат в чем-то и прав? Конечно, для меня дело не в именьи «оплаканном» еще в отрочестве. У меня есть за что итти, у меня есть Россия. А у них? Это страшно сказать, но я знаю, что у них нет ни-че-го. Стиснутый толпой, я лезу на сцену и, отвечая «преды-дущему оратору», начинаю речь о том, что Россия такая же родина моя, как и его, но я, конечно, знаю всю лживость и неподлинность таких уверений.

— Ты сперва землю отдай, а тады на хронт! — кричит солдат с черной развороченной бородищей.

Я понимаю, что веревка, на которой триста лет водили русскую армию, сгнила, что петровскую палку в Петербурге кто-то выронил. И все-же я, свыше меры взволнованный двадцатилетний прапорщик, кричу, уговаривая солдат итти на смерть и без веревки и без палки.

Закрывшись загорелой рукой, в первом ряду плачет боевой пулеметчик, подпоручик Кислов. А я всё кричу, всё уговариваю землей, свободой, легендой о России. За мной выступают такие-же прапорщики-студенты, Дукат, Ягодин. И, наконец, двадцатилетние мальчики, в театре Залещиков, мы совершаем чудо.

Мы осиливаем солдат: без палки, без дисциплины они соглашаются итти умирать с остатками развеянного чувства о родной стороне. Конечно, я знаю всю хрупкость этой нашей победы, ибо с первого пензенского дня революции чувствую всю неминуемость еще неясной, но надвигающейся гибели.

Но сегодня на площади Залешиков уже играет военный оркестр. Нам приказано влиться в 117-ю пехотную дивизию, находящуюся в боях. У солдат в подсумках полный комплект боевых патронов, а под рубахой нателный крест иль медный образок, у каждого холодит на груди жестяной личный знак с номерком, чтобы по нем опознать убитого. У меня — надетая матерью ладанка с молитвой-псалмом, из прекрасных слов которого я запомнил: «...перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его; не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы ходящей во мраке, заразы опустошающей в полдень; падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся, ибо ангелам своим заповедую о тебе — охранять тебя на всех путях твоих; на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать льва и дракона будешь...»

Под Преображенский марш двинулась голова колонны.

Подтрунивая над моей любовью к маршам, друг прапорщик Кирилл Ивановский, улыбаясь, подмигивает:

— Но каждый марш звучит печально, в нем что-то уходит и вот, быть может, ушло бесповоротно.

— В маршах всегда есть движение, они на сухожилья, на кожу, на мускулы действуют, в марше — физиологическое удовольствие, к тому ж на ходу только и думается по-настоящему, — отвечаю я.

В окне халупы я вижу довольное лицо освободившейся от постояльцев еврейки. В душащих облаках поднимаемой нами пыли мы проходим мимо обрывистых берегов желтого Днестра и выходим на шоссе, за годы войны истоптанное солдатскими сапогами и подковами конницы.

VIII.

Над нами высокое беспощадное небо с нестерпимым жидкорасплавленным солнцем. Вороты рубах расстегнуты, лица матовы-пыльны, на губах соль, пот, песок, и нет краю этому ползущему галицийскому шоссе с копошащимися на нем игрушками-солдатыками, конями, орудиями, передками, зарядными ящиками, обозными повозками, двуколками, верховыми, мотоциклетами. Всё движется сплошной лавой, конница, пехота, артиллерия; движение то и дело закупоривается живой пробкой; с треском сцепляются колеса орудий, друг на друга наезжают упряжки; над шоссе повисла матерная брань ездовых, храпят под хлещущими нагайками, бьются лошади. А надо всем темным облаком поднимается пыль, и под сумасшедшим солнцем мы задыхаемся в этой пылающей пыли. Губы ссохлись, пересмякли; усталость, голод, жажда; на остановках люди мгновенно засыпают тут же в пыли, в канавах, у дороги, но это не сон, это тяжкое забытие. На деревенских улицах у одиноких колодцев солдаты сгруживаются пить, сюда же с ведрами бегут кавалеристы поить лошадей; но на походе от питья только тяжелее.

Сколько дней мы идем? То ночуем в развороченных гранатами халупах, то на дворах под нежно шелестящими ветлами. В походном снаряжении люди спят в странных вывернутых позах; если б они не вскрикивали, не стонали во сне, можно было бы подумать, что это забытые на дороге трупы. А то мы идем ночь напролет под звездами и задремываем на ходу, в усталости не разбирая, сон ли это, явь ли, и всё движемся вперед, ступая отяжелевшими ногами в темноте черного ночного шоссе. И чем глубже мы вклиняемся в Галицию, тем шоссе взволнованней и бесповоротней втягивает нас в то дикое пространство, где нет уже ничего кроме войны.

Левый сапог трёт, я плохо подвернул портянку, но переобуться боюсь, отстану. «Ну, вот, это и есть война», прищипывая по шоссе, думаю я, «всё это оказывается совсем просто,

еще переход и за Коломней мы «войдем в соприкосновение с противником», как обычно пишется в военных реляциях». Как мы войдем, я еще не совсем себе представляю, но это там будет видно. Сейчас в Пензе, Тифлисе, Омске, Архангельске люди читают в газетах о юго-западном фронте, как когда-то читал и я, и этот юго-западный фронт представляется им в виде какой-то идеальной военной линии, на самом деле, это мы, копошащиеся игрушки-солдатики, лошади, пушки; мне кажется, что в нас есть даже какая-то беспомощность; из Пензы все казалось гораздо величественнее.

Мы оставляем за собой виднеющиеся ломанные изгибы старых русских окопов; проходим мимо обращенных к ним бывших австрийских; в канаве валяется уйма какого-то снаряжения.

— Эй, где теперь 117 дивизия?! — кричит Кирилл Ивановский скачущему по полю казаку-ординарцу.

— А Бог ё знает, — чуть приостановился и поскакал дальше казак.

У кого ни пытаемся узнать местонахождение 117-й дивизии, никто не знает: в боях. И мы наобум движемся по этому живому шоссе к Коломые.

На вытянувшем шею и просительного ржущем жеребце по полю рысью обгоняет общее движение обозов бородатый полковник, вероятно, отец большой семьи, оставшейся где-то в Калуге. В вооруженной давке люди злы, оттого, что не знают почему они идут, оттого, что никто и тти не хочет, и все всё-таки идут под мученьем ослепительного солнца, от которого некуда скрыться, от которого, того гляди, лопнет перекалившийся череп. Лошади, люди, пулеметы, орудия, зарядные ящики, патронные двуколки, мотоциклеты, всё смешалось гремящим хаосом в этом неуправляемом движении, но я знаю, что в какой-то будущий момент, вся эта живая масса рассыпется и под солнцем начнет переезжать, перебегать, выбирать позиции, откроет огонь и тогда представится в виде совершенного порядка, в котором проявится сила, управляющая хаосом войны.

РОМАН ГУЛЬ

Ночью, на опустелом дворе брошенной хаты, я, засыпая, слышу, как, умачиваясь рядом со мной, прапорщик Мещеряков говорит:

— Знаете, Гуть, что на войне для меня страшнее всего? Что такая масса людей, такие чудовищные силы заняты ведь совершенно непроизводительным трудом.

Я смертельно хочу спать, не вслушиваюсь, не понимаю, что говорит Мещеряков.

— Вы, Мещеряков, экономист? — слышу голос Иванковского.

— Экономист . . . , а что?

— Сразу видно.

Мещеряков что-то отвечает, а я, подложив под голову скатку-шинель, сладостно проваливаюсь в бездонную тьму. С тревожного военного неба глядят большие галицийские звезды всегдашнего кантовского неба, но они кажутся мне колеблющимися, плывущими, как множество огней летящих аэропланов.

IX.

— Эй, крупа, сторонись, орудия едет! — кричит загорелый артиллерист, сидя раскорякой на коренастой пушке.

На шоссе под Коломеей общее столпотворение дошло до отчаяния. Теперь уж всё движется хаосом в двух направлениях: отступая и наступая. Нам навстречу по смятому кукурузному полю лавой промчалась конница. Какие-то растерзанные, до последнего усталые, только что вышедшие из боя, как из чертова пекла, пехотные части идут прямо по полям, и колеблется на солнца неровная щетка их сверкающих штыков.

— Куда идете? — Какой части? — 117-я дивизия не знаете где?

— А ее знает, твою 117-ю, — сплевывает на сторону солдат, запылённый, белозубый, как негр.

— Ты поди, посмотри там, под Коломеей, где какая ди-

визия, — смеется другой, отставший, хромающий, без пояса, без фуражки.

Обветренный, красноносый от опалившего его солнца, Ивановский приостановившись, указывая рукой в воздух, говорит:

— Слышишь артиллерию?

Доносятся мягкие вздохи, словно пушкинская сказочная голова из «Руслана и Людмилы» надувает щеки и с шумом выпускает из них воздух.

— Эй, не отставай, не отставай, слабосильная команда! — подтягивает отстающих здоровяк, прапорщик Дукат. Солдаты порастерли ноги, ослабли; а навстречу, разрывая нас, всё идёт, грохочет отступающая артиллерия с сидящими на пушках запыленными артиллеристами, с засыпающими, склоняясь к конским шеям, ездовыми. Сотрясая землю, в карьер по полю промчалось несколько орудий, в упряжках стелятся взмыленные кони, с звоном металла унося пушки; бесстройными толпами, повеся головы, движется пехота; ординарцы на мотоциклах, квакая лягушкой, прорываются с донесениями.

В этом предсмертном хаосе, во всеобщем усталом ожидании боя, всё побеждает саженная матерщина, злобно несущаяся над движением армии. Но и здесь, пересиливая все, вдруг какой-нибудь весельчак; глядя на нас, идущих к Коломые, заорет истерическим голосом:

— Эй, торопись, торопись, браток, а то не успеешь австрийских лепёшек поест! Их там задарма раздают!

— Дорогу кавалерии, — покрикивает богатырский красавец ротмистр на белоногом походном гунтере, продираясь сквозь поднятую пехотой пылищу.

Близость огня чувствуется во всем, в усталости ругающихся людей, в выражении лиц, в оттуда, с полей сражений, словно из доменных печей тянущем зное, в котором плавится всё: тела, воля, отчаяние, мужество, трусость, храбрость, безразличие. Сейчас солдаты уже не замитингуют, они уже на театре войны, уж захвачены в эту чертову воронку, крутящуюся с все ускоряющейся стремительностью; пусть в

зное, в пыли, в голоде, но теперь они пойдут в бой так, как мы им прикажем, и как прикажут нам.

Идя краем шоссе, в массе тяжело дышащих, потных людей и коней, толкающих мокрыми пенистыми мордами в спину, я чувствую, что какая-то необъяснимая сила **навсегда увела меня** от университета, имения, Пензы, Москвы, от книг, журналов, от всех тех чувств, которые были. Тут всё другое и всё не то. Тут мы все словно нагишом, наши чувства сильны, голы и просты: усталость, храбрость, голод, трусость, смелость, сон, страх. Мы дышим воздухом чужой страны, спим в опустелых домах, в сутки едим консервную банку мяса на троих, немного сухарей, немного воды, а проходим по сорок верст. Мы, конечно, не думаем о многом и в начитанности отстанем от тех, невоюющих, оставшихся в тылу, но зато каждые день и ночь на этом военном шоссе, а завтра в бою, и мы научаемся чему-то, может-быть, даже большому, во всяком случае мы узнаём здесь то, чего они никогда не узнают. И в облаке пыли идя по этому волнующемуся шоссе, я рад тому, что я здесь, а не там, что я на войне, которая лепит людскую, может-быть, грубую, но простую и в чем-то правильную душу.

— Оправиться, покурить! — сняв фуражку, кричит вспотевший, изнемогший капитан Грач; он оттирает грязным комком платка лоб. Мы ложимся отдыхать на вытоптанном лугу под самой Коломеей. Сейчас нет большего удовольствия, чем вытянуться всем телом на этой пыльной траве. Из газет солдаты свертывают цыгарки, лежа, курят, сплевывая, по-цыгански, тонкой струей. Потные, утомленные они редко перебрасываются словами, да и о чем говорить? Каждый глядит в голубое небо и ничего в нем не видит. Кто задремал, кто задрал вверх ноги, чтобы отлила кровь и отдохнули ступни и икры. Я вот, лежа на спине, думаю о том, как скверно написал о войне в «Красном смехе», не видавший ее, Леонид Андреев. Мимо тропят мелкой рысью какие-то казаки на горбоносых дончаках

— Становись! — кричит, трудно поднимаясь, капитан Грач.

И вскоре мы вступаем в чужую австрийскую Коломью.

Ее опустошенность представляется театральной; пустые помертвелые улицы кажутся длиннее чем есть, в окнах брошенных домов ветер рвет занавеси; а на углу какой-то круглой площади, тоже как на театре, открыта кофейня; и пока капитан Грач и прапорщик Дукат уехали искать коменданта, я в ожидании их, с невыразимым и никогда еще неиспытанным наслаждением, сажусь за беломраморный столик кофейни.

Мне подает молоденькая полячка, у нее румяные губы и пушистые ресницы. Я плохо понимаю ее польскую речь, но по улыбкам вижу, что она не прочь бы полюбить русского прапорщика. Но в этом разбитом городе время идет с такой тяжелой быстротой, что я только успеваю сказать полячке какие-то слова, как в кофейню возвращаются в конец измученный капитан Грач и пыльный, крепящийся прапорщик Дукат.

— Неутешительно, — мрачно говорит Дукат и, сняв насквозь пропотевшую фуражку, опускается у столика. — Коломью бросают, местонахождение 117-й дивизии неизвестно, предполагают, что отступая с боями, она должна быть где-то совсем близко к востоку, дан маршрут и надо немедленно двигаться.

— А общее положение? — спрашиваю я Грача, и мне ни за что не хочется подниматься, уходить из кофейни.

— Наступление лопнуло, — закуривая коломыйскую папиросу, усмехается больной капитан, — на революционном лозунге армия не дерется, не хотят товарищи. Теперь идут арьергардные бои, чтобы хоть как-нибудь выправить фронт, чтобы наступление, превратившееся в отступление, не превратилось еще и в катастрофу.

Мы встаем, трудно поднять свинцовые ноги. А пленительная полячка уже поит тем же плохим кофеем какого-то другого, такого же пыльного, обросшего щетиной, такого же усталого кавалериста и так же улыбается ему мерцающими глазами.

По тем же помертвелым, обморочным улицам мы оставляем Коломью. Где-то на западе вздыхает артиллерия. В поле, под городом скакавший на кряхтевшем коне ординарец указал нам

дорогу на фольварк, где расположился штаб 117-й пехотной дивизии.

Это была покинутая прелестная усадьба с приземистым домом, вокруг которого еще цвели астры. На некошеном лугу перед домом мы выстраиваем батальон для приема его начальником дивизии. Статный, в блестящих очках, с кирпичем плотной седой бороды, во всем защитном, генерал быстро идет к батальону. Но на команду «смирно!» солдаты не обращают внимания. Полгода назад за такую стойку генерал разнес бы батальон, а теперь он делает вид, что все обстоит благополучно, и произносит краткую речь о борьбе за свободу, чему подучился наспех и без знания дела.

Хмурые, обгорелые от солнца солдаты пасмурно глядят на его очки, на золотые погоны, на барскую бороду. О чем думают? Да все о том же. Полуоглянувшись, я в оцепенении вижу, что в ветвях яблони сидит мой солдат четвертого взвода Рыжов. Вспомнив босое деревенское детство, он полез за зелеными яблоками. Лицо у него наглое, смеющееся, будто он спрашивает: «а что, мол, вы со мной можете в таком случае сделать, раз хуже окопов и смерти все равно ничего нет?»

Генерал, слава Богу, его не видит, он продолжает говорить о том, что счастлив принять батальон в стяжавшую боевую славу в Тарнопольском прорыве 117-ю дивизию, а сзади меня солдат, которому надоела генеральская речь, бормочет сквозь зубы: «да, мать ее вдоль, эту твою дивизию. . . »

Роман Гуль.

(Продолжение следует)

М О Я Р У К А

Моя рука день ото дня старей...
Ее удел с душою одинаков!
Немногое еще под силу ей:
Стакан наполнить, приласкать собаку,
Сиреневую ветвь к себе нагнуть
(Ее сломать уже мне было б трудно!),
Да записать стихи, да изумрудной
Студеной влаги с лодки зачерпнуть...
И это все. Но в скудости такой,
Овеянной вечернею прохладой,
Есть вечности целительный покой,
Есть чистота..., — и лучшего не надо!
И хорошо, что силы больше нет
У нищей девушки украсть объятие,
Бегущей лани выстрелить вослед,
Солгать товарищу в рукопожатьи,
Что нетерпенье юности моей
Сменила мудрость осторожной дрожи...
Пусть ты слаба и с каждым днем слабей,
Моя рука, — ты мне такой дороже!
Вот на тебя смотрю я без стыда,
Без горечи..., и радуюсь невольно,
Что ты уже не можешь сделать больно
Отныне никому и никогда!

*
**

На рубеже последних дней
Мне больше ничего не надо.
Вокруг меня уже прохлада
Смертельной осени моей.

Пусть стали медленней движенья
И голос изменяет мне,
Но сердца в полной тишине
Красноречивее биенье.

Ложится сумрак голубой
На тяжелеющие веки.
И так прекрасно быть навеки
Наедине с самим собой.

Дм. Крачковский.

*
**

Никто не восклицает на псалтири,
Не пляшет, видя пред собой ковчег.
Все холодней и глуше в темном мире,
И время молча падает, как снег.

Как это стало, как это случилось ? ...
По прежнему торжественно горят
Большие звезды, как Господня милость,
И камни о согласьи говорят.

О радость, ты дана была от века,
Как утешение, как горний свет,
Как чудная подруга человека, —
И нет тебя. Ковчег с нами нет.

*
**

Земная и гордая слава,
Величие, блеск и размах,
И мощь исполинской державы,
Что все это? — Пепел и прах..

Летит одинокая птица
И падает камнем; и тень
От гор на долины ложится...
И тысячелетье — как день.

О, если-бы мог земнородный
Над времени властью слепой,
Над темной стихиею водной,
Свободной подняться душой,

Туда, где ни грохот паденья,
Ни грозный и гибельный вид
Пожара, войны, разрушенья
Ее тишины не смутит.

И О В

Тот, у кого не отняты стада,
Ни пажити, ни дом, ни сад плодовый,
Ни близкие его, кто никогда
Не испытал всей тяжести суровой

Господней длани на плече своем, —
Тот разве знает, что такое сила
Любви и гнева, пламенным огнем
Земные наполняющая жилы;

Тот разве может говорить: Отдай!,
Кричать и звать и требовать ответа,
И выдержать, когда потоком света
Зальет его внезапно через край...

О праотец всех страждущих! Прости,
Что нас страшат и горе и невзгоды;
Себе пристанища средь непогоды
В испуге ищущих — не осуди.

Георгий Раевский.

ПРОВАНСАЛЬСКИЕ СТИХИ

1.

Дом смотрит в лес упрямо и угрюмо,
Седой оливой от дороги скрыт.
Он, как старик, в свои ушедший думы,
Что правнуком скучающим забыт.

Безумные, растрепанные ели
Вокруг него ведут свой хоровод.
Пути к нему цветами запестрели
И лишь мистраль вздыхает у ворот.

Нетерпеливым, бурным воздыханьем
Никто в ответ окна не распахнет.
Многовековым, трудным созерцаньем
Здесь каждый камень дышит и живет.

Прованса солнце, тускло золотое,
Замшелый свод лениво серебрит
И на крыльцо, просторное, пустое,
Поблекший лист медлительно летит.

2.

Сквозная южная сосна
Над полем вянущей лаванды.
А рядом — низкая стена
Времен Приама и Кассандры.
С нее сползает купина,
И горько-зноен ветер жадный.

Не видно моря. Облака
На небе выцветшем застыли.
Кустарник пощипать слегка
Пришла коза из древней были.
Шерсть — цвета темного песка,
Библейской драгоценной пыли.

Здесь остаюсь на целый день,
Пьяна сладчайшим тонким хмелем.
О, эта глушь и эта лень,
Июля белые недели,
Скуднейшая оливок тень
И золотой загар на теле!

*
**

Дождь идет над твоею могилой.
Тебе сыро и холодно там.
Я приду к тебе нынче же, милый,
Как бывало тогда, по утрам.

Я седые виски поцелую
И закрытые смертью глаза.
Не скажу, что люблю и тоскую, —
Пусть тебя не коснется гроза

Поздних слез и земных заклинаний.
Я хочу лишь с тобою побыть
У запретной, таинственной грани,
За которую мне не ступить.

Екатерина Таубер.

П А В Л И Н

Я в дом пустой нашла дорогу
(Чужими оскверненный храм),
Пыль оседает понемногу
На никому не нужный хлам.
В давно оставленном покое,
На омраченных зеркалах,
Ничьей заботливой рукою
Не потревожен пыльный прах.
Мы здесь простились и расстались,
Лелею грусть мою в тиши...
Следы руки твоей остались
На пыльном зеркале души!

П Ы Л Ь

День окончен, а завтра опять сначала :
Я с утра повторяла узор
На упругом шелку. Я сегодня устала,
Мне мерещится нежный вздор.
Мне мерещится мир с бирюзовой кромкой,
Светом шелковых лун залитой,
Где павлин величавый на лапке ломкой
Ананас клюет золотой.
В анилиновом мире красок и линий
И условной, смешной красоты

Расцветает так царственно хвост павлиний,
Поникают нежно цветы.
Там спокойно; ни слез, ни горя, ни боли,
Ни тоски, ни любви, ни утрат...
И мне хочется в мир на лазоревом поле,
В сотворенный мною сад.

Елизавета Шувалова.

Париж, 1946.

О РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

В конце прошлого, 1946 года, в Москве вышел третий том «Сочинений И. В. Сталина», посвященный, как выражается «Правда», «подготовке Великой Октябрьской Социальной революции», т. е. пораженческой работе Ленина, Сталина и прочих, после падения Монархии, во время демократической и всенародной Февральской Революции.

Именно теперь, когда сознанием измученного страшной войной и замученного нестерпимым бесправием народа владеет мечта о раскрепощении, о свободе, о возможности жить по своему праву, — именно теперь «третий том» Сталина снова и снова вбивает в головы советских людей нелепые басни о Феврале.

Уже тридцать лет прошло с начала Февраля, а п р а в д а о нем все лежит под спудом казенной лжи и будет лежать, пока в России существует террористическая диктатура, созданная во имя «пролетарского интернационализма». Ибо нынешняя, ищущая свободы, советская молодежь, нынешнее, истосковавшееся по земле колхозное крестьянство — не должны знать, что и Земля и Воля были уже в руках у самоправного народа в тот короткий февральский миг, который Сталиным же назван был «величайшим переломом в русской истории».

Аршином времени значение исторических событий не измеряется. Можно даже сказать: чем решительнее последствия события в истории, тем меньше оно занимает места во времени. А в самом слове «перелом» уже слышится — неожиданность, стремительность, мгновенность.

И действительно, величайший в истории России перелом произошел ровно в 72 часа! Между началом — совершенно неожиданным — восстания Волынского полка на заре 27-го февраля и отречением императора 2-го марта прошло ровно три дня. В эти три дня — вне человеческой воли и помимо человеческого сознания — совершилось настоящее социальное чудо: не только погибла монархия, не только был взорван весь

административный аппарат империи, но исчезли также — политическая власть и социальная мощь вчера еще господствовавших классов и сословий!



... Какая сила могла удержать расплавленное тело России от окончательного распада? Какие силы могли предупредить, остановить анархию? Как могла пережить Россия первые недели хаоса, когда революция еще только рождалась, когда еще только загоралось в сознании народа чувство новой государственности?

Никакой ученый теоретик, историк, социолог, психолог не мог предсказать, не мог даже представить себе глубину психологического потрясения, которое пережила Россия в минуту падения монархии. Ощущение неограниченной свободы; освобождение от всех, самых обязательных во всяком человеческом общежитии ограничений овладело населением империи в 170 слишком миллионов. А тут же каждый вдруг почувствовал страшную усталость, переутомление от трехлетнего напряжения войны. Наступил какой-то паралич воли. Россия перестала — на фабриках работать, на фронте — сражаться. Население, как будто, утратило способность повиноваться. Начальство — приказывать и командовать. На мгновение судьбы России, война были забыты. Кое-где в деревне крестьяне начали самотеком разрешать земельный вопрос, т. е. делить земли помещиков и инвентарь. На заводах рабочие перестали работать; начали вмешиваться в управление, вывозить на тачках особенно нелюбимых директоров и инженеров. На фронте началась стихийная демобилизация. Начавшееся в зиму 1916 года дезертирство стало настоящим бедствием! Солдаты с утра до вечера митинговали, а весь офицерский корпус внезапно оказался под подозрением в «контр-революционности». Еще 28-го февраля, в Кронштадте, матросы жестоко расправились с офицерством; зверски убили командира Балтийского флота адмирала Вирена и с ним многих офицеров, других арестовали и держали в тюрьме в совершенно издевательских условиях.

Через день вспыхнули беспорядки во флоте в Гельсингфорсе. Новый командующий флотом адмирал Непенин был из за угла убит немецким агентом. На фронте тоже были жестокие эксцессы против офицерства, но нигде не достигали Балтийских размеров. В городах бывали самосуды, грабежи, всякого рода самоуправства.

Профессор Джеймс Мавор, один из немногих среди исследователей нашей революции, признает, что после краха монархии вся машина местной администрации перестала функционировать, но подчеркивает: в России такое исчезновение всякой власти, всякого административного принуждения должно было неизбежно сопровождаться эксцессами населения. Почему же, собственно, только в России? Разве после Первой Мировой войны, во время бесчисленных революций и гражданских войн большого и малого калибра, Западная Европа не видела эксцессов? А Россия была единственная страна, где и взрыв старого государства и выросшая на развалинах революция — оба эти процесса происходили не до или после войны, а в самый ее разгар, во время самого тяжкого кризиса на фронте. И нужно удивляться не тому, что были эксцессы, а тому, что они носили только спорадический характер, что анархический развал был все таки остановлен, был восстановлен авторитет власти и административный аппарат управления. Ожил фронт, Россия начала снова работать и был заложен фундамент демократического государства на основе глубоких социальных реформ.

*
**

Почему это случилось? Это случилось потому, что кроме хаоса была еще... революция! Впрочем, после большевизма, фашизма, гитлеризма, в этом слове слышатся только ужас, кровь, насилие, издевательство над свободой, презрение к человеку. Если называть тоталитарные перевороты, как теперь принято, революцией, то наше время было не-революцией. Все, чем сильны и чем гордятся тоталитарные режимы, мы отрицали и ненавидели, ибо без свободы политической «социальное освобождение» превращается в невыносимое рабство!

После падения царского режима были краткие месяцы, когда, казалось, восторжествовали, наконец, все идеи, которыми была пронизана русская духовная и политическая культура, во имя которых сто с лишком лет шла борьба. От Радищева через декабристов, Герцена, «Народную Волю», великих русских писателей, безымянные тысячи культурной молодежи, уходившей на каторгу во имя освобождения народа, через 1905 год и Государственную Думу — прямая дорога вела к весенним дням 1917 года.

Теперь о них забыли! Они залиты кровью и ужасом последующих долгих лет русской Голгофы. Однако, повторяю, значение исторических событий не измеряется их длительностью

во времени, а их внутренним содержанием. Гитлер и Муссолини гордились тем, что они порвали все связи с идеями свободы и демократии. Где они теперь?!.. У нас тоталитарный режим задавил свободу и демократию, спрятавшись под маску «совершенной демократии» с ее — на бумаге — «самой демократической в мире конституцией». Но ведь в этой конституции в искаженном виде обещано на бумаге все то, что Россия имела уже в своих руках в 1917 году. И к тому, что она имела — Россия вернется! «Февраль» был черновым наброском — грядущей в новом освобождении народной России!

*
**

Сначала, после распада старой России, у новой власти — и вообще ни у кого в России — не было в руках никакой физической силы принуждения. И пока восстанавливался административный аппарат, сдерживающей и организующей силой было — Слово. Верой в творческую силу свободы, в разум народа преодолели мы все вместе, вся Россия, от первого председателя Временного Правительства, кн. Львова, до рядового кооператора и сельского учителя — первые страшные недели, когда часто отчаяние заползало в душу самых сильных среди нас. Сотни тысяч энтузиастов-добровольцев заменяли административную машину, пока она заново строилась. С первого дня хаоса во всех деревнях, уездных и губернских городах создавались разного рода комитеты, советы, которые всякими, иногда наивными, способами восстанавливали порядок; убеждением и словом останавливали насилия; создавали примитивные формы администрации. Они связывались с земствами, с кооперативами, с городскими самоуправлениями. Разорванные социальные связи постепенно опять срастались.

В этот период революции, когда силы сцепления еще не поспевали за силами распада, петербургский и местные Советы сыграли огромную и положительную роль. Большевики-пораженцы там были в меньшинстве. Советы политически были в руках оборонческой, социалистической и демократической интеллигенции (меньшевики, социалисты-революционеры, трудовики, национальные социалистические партии и т. д.). Советы были популярны в низах. Их вожди, чувствуя за собой силу масс, часто преувеличивали свою роль; вызывали против себя страшное раздражение у людей, привыкших жить в нормальных условиях государственного порядка. Петербургский Совет причинял много затруднений Временному Правительству и

часто своей бестактностью давал повод для легенды о «двоевластии». Но я могу со спокойной совестью защищать положительную роль Советов, потому что у меня самого с руководителями Петербургского Совета были довольно острые отношения. Я считал, что представители Советов и социалистические партии, которые поддерживали Временное Правительство, должны от удобной позиции «благожелательной оппозиции» отказаться и взять на себя прямую ответственность за управление государством. Они это и сделали с опозданием на два месяца! Играя же в оппозицию, не зная всей трагической трудности положения страны, вожди и ораторы советские часто своей безответственной критикой Правительства играли в руку демагогам; давали пищу для разнузданной в низах агитации против правительства «капиталистов».



А между тем, это правительство «капиталистов» было настоящим демократическим, народным правительством свободной страны и революции. Нас было одиннадцать: «десять министров-капиталистов» и один «заложник демократии». Перед нами стояла тройная задача совершенно нечеловеческой трудности. Мы должны были: 1) восстановить весь аппарат управления государством сверху до низу; 2) продолжать во что бы то ни стало войну и 3) в срочном порядке провести ряд коренных политических и социальных реформ, которых требовала революция.

Революция, война и восстановление государства — сплелись в один узел, который нельзя было разрубить, а надо было распутать. Ни одно правительство во время войны не несло такого тройного груза и такой тройной ответственности. Мы отлично видели всю логическую несовместимость войны и революции. До краха монархии мы делали все, чтобы избежать революции во время войны. Теперь мы стояли перед фактом: революция случилась во время войны. Оставалось — или дезертировать, спрятаться в угол, или, рискуя всем, спасать то, что еще можно было спасти. Пойти на такую работу без энтузиазма, без веры в творческие силы России, в разум народа, было невозможно. И мы, почти все из нас, в это верили. Первые два месяца во Временном Правительстве — одно из самых светлых воспоминаний в моей жизни. Ибо я видел своими глазами, с каким самоотречением, от своего вчерашнего дня, от всех своих «классовых интересов» и политических программ, могут рабо-

тать люди, для которых спасение родины стоит выше всего. Потом подъем прошел. Отцвели цветы и догорели огни революции. Некоторые из нас стали стыдиться своего бывшего энтузиазма; отказываться от своего собственного прошлого. Но это прошлое было. Оно навсегда записано на страницах русской истории.

Нам казалось, что падение старого режима со всем его тяжким прошлым освободит Россию от крови и насилия; предаст забвению старые счеты и старые распри. «Верьте в силу русской свободы» — повторял часто князь Г. Е. Львов. Символом примирения были — всеобщая политическая амнистия, вернувшая в Россию всех политических эмигрантов, освободившая всех политических заключенных, и отмена смертной казни. Потом эту отмену жестоко осуждали, но тогда, в марте 1917 г., она вызвала подлинный восторг во всех общественных кругах и во всей без исключения печати. Протестовать приходили только некоторые крайние левые — поклонники «якобинского террора». Им тогда уже хотелось крови, а этой крови Правительство ни за что не хотело допустить — какой угодно ценой! В этой России бушующих страстей первая кровь «революционного трибунала» вызвала бы ее потоки по всей России. Мы этого не хотели. Мы с нетерпением ждали спасительного перелома в психологии потрясенного событиями народа. Верили в этот перелом и его дождались.

А в ожидании, работая день и ночь, Временное Правительство подвело под Россию новый политический и социальный фундамент.

Зачем вспоминать сейчас об этой огромной работе? Что от нее осталось? Ничего. Но не зная, какой была Россия перед «Октябрем», можно действительно поверить, как верят многие в С.С.С.Р., что большевики свергли «контр-революционное правительство империалистов», которое не давало рабочим и крестьянам всей свободы, служило англо-французским банкирам и поддерживало помещиков против крестьян в деревне.



«Третий том» Сталина ураганным огнем обстреливает земельную политику Февраля. Временное Правительство, — видите ли, — всячески оттягивало решение аграрного вопроса, в надежде выиграть время, чтобы совсем снять его с повестки дня. В крайнем случае «буржуазия» надеялась отделаться подачками — отдать крестьянам земли Романовых или мона-

стырей, но сохранить помещичью собственность. «Правительство фабрикантов и помещиков и не может иначе относиться к крестьянам, — негодует крестьянолюбец Сталин. — Что им крестьяне, здравствовали бы помещики!»

Но ведь это — демагогическая сказка, сознательно выдуманная «творцами Октября». Но ведь на самом то деле потому Февраль и был величайшим переломом в истории России, что он обрек уничтожению помещичье и капиталистическое землевладение и спешно готовился к передаче всей земли в пользование на ней трудящихся.

1-го апреля, т. е. всего через месяц после взрыва Монархии, был опубликован декрет о коренной земельной реформе, подписанный всем правительством «фабрикантов и помещиков» и выработанный первым Министром Земледелия Революции А. И. Шингаревым. Он был членом кадетской партии и накануне открытия Учредительного Собрания, в январе 1918 года, был убит на больничной койке, как «враг народа»!

Никто, вообще, не мог снять земельную реформу с порядка дня. Ибо Временное Правительство ее осуществление с самого начала передало в руки самого населения. Был учрежден Центральный Земельный Комитет и открыты местные комитеты во всех губерниях, уездах и волостях. Во всех этих комитетах решающее большинство принадлежало членам, свободно выбранным населением. Местные же комитеты, кроме подготовки нового земельного строя, ведали в переходное время земельными отношениями в своей округе.

4-го мая Центральный Земельный Комитет опубликовал руководящее постановление об «общем направлении, в котором будет вестись подготовка земельной реформы». — «В соответствии — говорилось там — с новыми потребностями нашего народного хозяйства, с неоднократно выражавшимися пожеланиями крестьянства и в согласии с программами всех демократических партий страны в основу будущей земельной реформы должен быть положен принцип, что все земли сельско-хозяйственного назначения должны перейти в пользование трудового земледельческого населения».

Вековая тяжба между помещиком и мужиком была решена в пользу деревни. Это вызывало против Февраля страшное озлобление среди крупных аграриев. Земельный переворот, санкционированный народно-революционной властью, был одним из источников попытки свергнуть Временное Правитель-

ство. Большевики же воспользовались переходным временем в деревне для разжигания там анархии и гражданской войны. «Развернутая во всю ширь программа аграрной революции» большевиков летом и осенью 1917 года состояла в том, что, по инструкции Ленина, его единомышленники натравливали самые темные низы деревни с помощью деморализованных дезертиров на разгром усадеб и расхищение урожая. Естественно, Временное Правительство, поддержанное всеми демократическими и социалистическими партиями, боролось, прибегая иногда к вооруженной силе, против срыва величайшей в истории Европы земельной реформы. Правда, и среди этих партий были влиятельные люди, которые потом писали, что со своей земельной реформой Временное Правительство «слишком медлило». Но как можно было в разгар страшной войны, в разгар сельскохозяйственных работ, от которых зависел осенний урожай, т. е. судьба фронта и страны, в зиму 1917-1918 годов, осуществить великий земельный переворот на пространстве около 250 миллионов десятин? — Этого никто и никогда не объяснит! И нужно еще вспомнить, что в волостях, уездах, губерниях — всюду в земельных комитетах шла напряженная кипучая работа. Осенью, ко времени созыва Учредительного Собрания, работа была бы закончена и правительство явилось бы туда с готовым земельным проектом. — С весны 1918 года вся земля оказалась бы в пользовании на ней работающих и крестьяне не превратились бы, как теперь, в голодных крепостных государства-помещика.

Рядом с земельной реформой стояло рабочее законодательство Временного Правительства. Несмотря на войну, министр торговли А. И. Коновалов сразу ввел на всех казенных заводах 8-часовой рабочий день — тогда об этом во всех странах рабочие еще только мечтали! По почину правительства 8-часовой рабочий день стал правилом во всей частной промышленности. Были введены примирительные камеры, фабрично-заводские комитеты, а профсоюзы получили право на самое широкое самоуправление, утраченное ими целиком в С.С.С.Р. Во всей своей деятельности Временное Правительство исходило из убеждения, что организованный труд должен быть признан, как самостоятельная сила в хозяйственной жизни страны. Великая французская революция 1789 года вывела на авансцену третье сословие — буржуазию. Во время величайшего социального переворота в России родилось, как самостоятельная политическая и социальная сила, четвертое сословие — сословие Труда.

Благодаря особенностям исторического развития России случилось то, что должно было случиться: установление в России политической демократии означало одновременно и торжество демократии социальной. Сам Ленин дважды — при въезде своем в Россию 4-го апреля 1917 года и накануне большевистского переворота в октябре — решительно заявлял, что «Россия ныне самая свободная страна в Европе», где «отсутствует насилие над массами».

Это одно утверждение Ленина упраздняет всю ложь, которая под видом «истории» распространялась о русской демократической революции, о Временном Правительстве, о социалистических партиях, о русской демократии большевиками в течение 30 лет.



Пока расплавленная Россия медленно остывала и вливалась в новую форму своего социального бытия, весь государственный строй России был перестроен на основах демократии. Нужно исписать много страниц, чтобы описать всю огромную работу, которая была проделана для этого среди бури и грозы войны и революции. Строй свободы, равенства и социальной справедливости, который стремились осуществить поколения за поколениями русских людей, становился фактом.

Само собой разумеется, что все гражданские и политические права человека и гражданина были фундаментом новой демократии. Была установлена полная независимость суда и несменяемость судей; все особые суды были уничтожены и все уголовные и политические преступления были переданы в ведение суда присяжных. Все религиозные, национальные и сословные ограничения были отменены. Была объявлена полная свобода совести. Была установлена независимость православной церкви и в августе был созван Собор для восстановления патриаршества. Все прочие церкви, секты и религии получили полную свободу пропаганды. Женщины получили все политические и гражданские права. Был выработан с участием представителей всех партий, общественных и национальных организаций, избирательный закон для выборов в Учредительное Собрание на основах всеобщего, прямого, равного и тайного — и пропорционального — представительства. На таких же основах было преобразовано во всей России городское и земское самоуправление. Был издан закон о кооперативах, который предоставил кооперативному движению огромные права в хозяйственной

жизни. Законы о профессиональных рабочих союзах, об органах местного самоуправления, о кооперативах были выработаны самими их представителями. Вообще, Временное Правительство хотело привлечь, как можно скорее, всю страну к государственному строительству, приучить население к чувству ответственности за судьбу страны.

Свободная демократическая Россия не могла быть централистическим государством. Временное Правительство провозгласило независимость Польши и восстановило полную автономию Финляндии, отложив только формальное провозглашение независимости до Учредительного Собрания. Представители местных национальностей были привлечены к управлению Кавказом и Туркестаном. Была учреждена комиссия, которая должна была подготовить законы для переустройства России на федеральных началах. Летом получила автономию Украина.

Я категорически утверждаю, что Временное Правительство, опираясь на все здоровые и демократические силы государства, целиком выполнило свой долг: после падения монархии в кратчайший срок весь государственный, административный и хозяйственный аппарат государства был перестроен на твердых началах политической и социальной демократии. Никакая дальнейшая демократизация была невозможна — она бы вела к абсурду; через абсурд к — диктатуре...



Строительство демократической России кончилось страшно... Отсюда русской реакцией и западным общественным мнением был сделан решительный вывод: русский народ не созрел для демократии и предпочел вернуться к «старому царизму» в новом красном мундире. Этот вывод так крепко засел в головах, что и после Муссолини и Гитлера и «кризиса» всей западной демократии ни у кого не возникло вопроса, — «а может быть мы ошиблись, может быть тоталитарный режим вовсе и не вытекает из прирожденной неспособности русского народа к свободе?»

Возьмем для примера Германию. «Проклятого царизма» там никогда не существовало. Она была равноправным членом семьи культурных народов, в отличие от «варварской» России. Она потерпела в 1918 году жестокое поражение, но ведь и Россия тогда была признана на Западе «побежденной» страной. Хозяйственный строй Германии был подорван блокадой, но ведь в России блокада в первую войну была еще суровей. В Германии

были прусские юнкера и реакционные капиталисты, которые помогли Гитлеру захватить власть. Но и в России были реакционеры, которые помогали Ленину в его борьбе за власть. А когда пришел к власти Гитлер? В разгаре войны? Сейчас же после изгнания Вильгельма II, когда Германия — так же, как годом раньше и Россия, — из монархии перестраивалась в республику? Захватил ли он власть, выйдя из рядов германской «революционной демократии», разыгрывая роль защитника неограниченной свободы? Ничего подобного! Между воцарением Гитлера и концом войны прошло почти 15 лет. В Германии были сильные организованные политические партии. Административная машина, полиция и войска действовали безукоризненно. Немецкая демократия и социалисты были твердо уверены, что никакая тоталитарная диктатура, по большевистским образцам, у них в Германии совершенно невозможна. Невозможное оказалось фактом... Немецкие демократы и социалисты вместе с нами оказались в изгнании во Франции. Тогда французы, в свою очередь, стали утверждать, что случившееся в России и в Германии у них произойти не может: Франция — олицетворение демократии и носительница духа свободы. В 1940 году Третья Республика под первыми ударами гитлеровского тарана рассыпалась, как картонный домик. А между тем Франция в ту войну поражения не испытала; 20 лет была гегемоном Европы, и Третья Республика погибла не на девятом месяце, как республика российская, а на семидесятом году своего существования. А какой станет «четвертая» — еще никто не знает!

Нет, после того, что случилось в Европе после первой и, в особенности, второй войны, русской демократии не нужно себя защищать и ей не в чем оправдываться. Получив в свои руки разрушенное «диктатурой безумия» государство, преодолевая внутренний хаос страшным напряжением всех творческих сил страны, Россия вышла на путь демократического строительства и восстановила аппарат государственного управления.



К концу весны распад был остановлен.

Россия и в тылу и на фронте стала возвращаться к более устойчивым и более нормальным условиям жизни и работы. А центробежные, антидемократические силы с этого времени сосредотачиваются на двух полюсах: вокруг Ленина и вокруг

неизвестного еще по имени военного диктатора, которого еще нет, но которого усиленно ищут на фронте.

В описаниях демократической революции в России 1917 года в «исторической» — русской и иностранной — литературе установился трафарет: со дня падения монархии Россия изображается катящейся по наклонной плоскости к хаосу и анархии прямо в объятия Ленина. Уничтожить этот трафарет сейчас едва-ли возможно. Но, может быть, наступит когда нибудь время, когда и мое свидетельство будет принято во внимание.

С первого дня падения монархии и до последнего дня краткого существования свободной, демократической России я был в самом центре развивавшейся трагедии. Малейшее изменение положения в России отражалось во мне и на мне. Я видел, чувствовал, осязал, как оглушенная взрывом монархии Россия быстро приходила в себя; как стремительно крепла она; как росли в ней творческие силы; как страна начала снова работать, снова воевать, снова приказывать и подчиняться приказу.

В том, что я пишу нет никакой розовой воды. Целый отдельный мир, шестая часть суши с 170 слишком миллионами населения, только что выдержал жестокое социальное землетрясение и вылезал из под развалин. Как разрушенный город, Россия жила на бивуаках. Но она уже жила. Она уже строила. Иногда там и здесь почва содрогалась. Происходили обвалы и крушения. Но строительство нового порядка продвигалось вперед все быстрее и быстрее. Самоуправства в деревнях уменьшались. Дезертирство на фронте было остановлено. В советах влияние большевиков после «восстания 3-го июля» свелось к нулю. Анархия на заводах прекратилась и промышленность работала снова, хотя уже, конечно, не с напряжением первых лет войны. Выбитое из колеи революцией, население возвращалось к органической работе в земельных комитетах, в кооперативах, в профессиональных союзах. По всей стране шла огромная просветительная работа. К концу лета, на основе нового, демократического избирательного закона, было восстановлено городское и земское самоуправление. Советы, отслужив свою нужную во время «взрыва» службу, сходили со сцены.

Одним словом, государственный организм настолько выздоровел и административный аппарат настолько окреп, что у небольшой группы сторонников «военной диктатуры» пропал страх перед «эксцессами революции» и они решили убрать с своей дороги к власти отслужившее свою службу в борьбе с

левым хаосом «слабое и безвольное Временное Правительство»!

Аграрные реставраторы пытались найти себе опору в далеком от всяких «классовых вожелений», но жестоко нравственно на фронте пострадавшем, — офицерстве во главе с генералом Корниловым, как большевики нашли себе опору в самых темных, переутомленных войной низах армии.

Диктатура во имя социальной реставрации не могла победить и на один день, ибо вместе с монархией в короткие дни «величайшего перелома» исчезла и вся мощь имущих классов. Зато, потерпев неудачу, вожди «национальной» диктатуры широко открыли двери диктатуре «пролетарской». Сталинский «третий том» это еще раз подтверждает! *).

Дело в том, что после провала генеральского восстания правые ненавистники Февраля отнюдь не отказались от своих планов. Они пошли «к той же цели — другими средствами». Они, упорно клеветая на Временное Правительство, старались подорвать доверие растревоженных народных масс к революционной власти. Их не пугал начинавшийся уже новый развал на фронте и в тылу. Напротив. Они были в восторге. Совершенно серьезно «национальные» политические стратеги — военные и штатские — поставили ставку на Ленина. Пусть только он покончит с Временным Правительством, а там «мы с ним справимся в три недели». Ленин охотно воспользовался любезно ему предоставленным трамплином. Только, «три недели» почему то затянулись на тридцать лет...

Ленин после июльского своего разгрома скрывался в Финляндии, почитая свое дело проигранным, и писал очередную книжку. И вдруг все переменялось!

«Генерал Корнилов открыл перед нами совершенно неожиданные и невероятные возможности», пишет он своему Ц. К. в Петербурге через две недели после корниловской неудачи.

Невероятными возможностями Ленин отлично воспользовался для того, чтобы убить в России народную свободу!

Но на штурм Февраля он шел под прикрытием Февраля же!

*) Надо помнить, что и правые и левые сторонники диктатуры нашли себе нужную опору в иностранных высших и правительственных кругах; одни — в союзных, другие — в германских.

Нужно свергнуть правительство «корниловца Керенского... в интересах именно данной (т. е. февральской — А. К.) революции, ибо ни демократического мира, ни земли крестьянам, ни полной свободы, вполне демократической республики — получить иначе народу нельзя»...

И народ — получил! Получил вместо полной свободы и вполне демократической республики Февраля — самую полную и вполне тоталитарную диктатуру Октября*).

А теперь, через тридцать лет ленинизма-сталинизма, что стало — «с основными политическими требованиями русского народа, во имя которых шли на героическую борьбу лучшие его представители?»...

Но никакие ужасы диктатуры «не могут остановить развития России... Она все же идет вперед и с каждым шагом развития все настоятельнее становятся требования политической свободы. Без политической свободы не может жить Россия, как и ни одна страна в двадцатом веке.

«Да здравствует новая борьба за улучшение жизни рабочих, которые не хотят оставаться рабами на каторге фабрик и заводов!»

«Крестьяне!.. Терпеть ли последний крепостников, сносить ли молча издевательства и надругательства чиновников?» Идите «на борьбу за политическую свободу, за переход всех земель к крестьянам. Подачками не излечить крестьянской нищеты, не избавить крестьян от голода. Не милостыни требуют крестьяне, а той земли, которую веками поливали они своим потом и кровью. Не попечение начальства нужно крестьянам, а свобода от чиновников, свобода самим устраивать свои дела»...

Никто бы не усомнился, если бы я тут написал: все приведенное в кавычках я взял из «воззвания», ныне накануне нового страшного голода, распространяемого в «стране советов».

Да, это воззвание нужно там распространять, но написал его... Ленин тридцать пять лет тому назад!

В нем торжествующий Октябрь услышит голос грядущего Февраля, грядущего освобождения: без политической свободы нет жизни русскому народу!..

А. Керенский.

*) Ибо свободолюбивые лозунги октябрьского восстания были сознательным демагогическим обманом. После разгона Учредительного Собрания Ленин публично на Съезде Советов заявил, что уже перед Октябрем большевики — «стали на позицию, твердо и решительно отстаивающую диктатуру пролетариата»...

ИЗ 30-ЛЕТНЕГО ДАЛЕКА

В одиночной камере Петропавловской крепости Андрей Иванович Шингарев, одна из первых жертв большевистской революции, записал в дневник: «Я не жалею о происшедшем. Готов повторить его (подчеркнуто Шингаревым) и не опасаясь будущего. Я не боюсь этих экспериментов буйной юности и незнания собственного народа и чужой истории... Я приемлю революцию, и не только приемлю, но и приветствую, и не только приветствую, но и утверждаю». Это было на девятом месяце революции, когда кончилась ее февральская фаза и только начинался Октябрь. Заканчивая 5-го января 1918 года свои записи, Андрей Иванович не ведал будущего: ни более отдаленного, российского, ни ближайшего, своего, — не мог предвидеть уготованной ему через 48 часов жестокой смерти.

Поколение, на личном опыте пережившее 17-ый год, редет с каждым днем. Министр высшего образования СССР Кафтанов недавно подсчитал, что «более 80 процентов работников умственного труда, которыми располагает сейчас СССР, составляют лица, прошедшие школу воспитания уже в советскую эпоху». В других цифрах: «две трети действующих ныне в России сил — в возрасте ниже 35 лет и являются всецело продуктом коммунистического воспитания». И в эмиграции все меньше становится живых участников Февраля и Октября, способных судить о том, как это было, не по наслышке от других и не по изображению и толкованию сталинских историков-лауреатов.

Чем дальше во времени и ближе к жизненному концу, тем настоятельнее потребность с предельной прямоотой дать ответ — себе и другим — на предложенный Шингареву вопрос: «стоило ли делать революцию, если она привела к таким последствиям?» Надо ли было свергать старый строй самодержавия, чтобы получить, если не взамен, то в итоге, советский строй с диктатурой ВКП(б) — и не на недели или месяцы, как то представлялось Шингареву и как предполагали первоначально

и Ленин с Троцким, и те правые, которые Октябрю сочувствовали, — а на годы и десятилетия, как это дано было видеть нам? В опыте пережитых 29 лет, кто из нас скажет с шингаревской решительностью: не жалею, готов повторить, не опасаясь будущего!... Принимаю, приветствую, утверждаю!

И Шингарев понимал, что, дорвавшись до власти, большевизм «дешево ее не отдаст», «ему все нипочем», «он циничнее и храбрее» самодержавия. Но все же он «не опасался будущего». Он рассчитывал, что все образуется: «солдаты возвратятся домой, рабочие исстрадаются от голода и от безработицы большевистской разрухи и изверятся в своих безумных вождах, уголовные постепенно снова попадут в тюрьмы». Шингареву только краешком глаза дано было видеть «последствия» большевизма за первые два «героических» месяца его существования. Он не мог предвидеть ни того, что через сутки будет сам с Ф. Ф. Кокошкиным зверски умерщвлен в больнице, ни Брест-Литовского мира, ни затянувшейся на годы гражданской войны, ни людоедства во время голода 1920-21 и 1932 г.г., ни людодерства ВЧК, ОГПУ, НКВД и МВД, ни пыток, ни казни 12-летних (за кражу социалистической собственности) и 75 летних, ни рабского труда в концлагерях, ни «спянной кровью» дружбы с Гитлером, развязавшей мировую войну опять таки с миллионами убитых и искалеченных, физически и морально, с всемирным одичанием и общим помрачением культуры. Всех этих и других «последствий» революции Шингарев не знал, не предвидел, не мог предвидеть.

Можно сочувствовать и разделять веру Шингарева «в государство, в народ, несмотря ни на что». Это не отменяет, однако, того неоспоримого факта, что исполненный оптимизма прогноз его, увы, ни в какой мере не оправдался и через 29 лет.

Шингарев «всегда стоял за эволюцию, хотя она идет такими тихими шагами, а не за революцию, которая может, хотя и быстро, но привести к неожиданной и невероятной катастрофе». По его убеждению, «наивно и близоруко думать, что революцию можно делать или не делать: она происходит и начинается вне зависимости от воли отдельных людей». И «когда революция произошла, бесцельно говорить, хорошо это или плохо. С весны 1915 года она стала роковой необходимостью, и это я увидел осенью 1916 года, и в этом направлении я тогда впервые пошел. Правда, многие, и я в том числе, мечтали лишь о перевороте, а не о революции такого объема; но это было проявление нашего желания, а не реальной возможности».

Противоречивость этих суждений — очевидна. Стоя всегда за эволюцию, А. И. Шингарев, в числе других, все же фактически «делал» революцию и, не сознавая того, шел в ее направлении еще до осени 1916-го года. С другой стороны, хотя после того, как революция произошла, и бесцельно говорить, хорошо это или плохо, — все же Шингарев нашел, что «лучше, что она уже произошла», несмотря даже на то, что «произошло это в непредвиденных размерах и направлении». Шингарев утверждал, что «это не фатализм и не детерминизм», и вместе с тем считал, что с весны 1915 года революция «стала роковой необходимостью». Шингарев, конечно, прав: для революции «сожаления, раскаяние, упрек и обвинения» — ничто. Ну, а для живых людей — для переживших революцию? Можно ли утверждать, что «изменение их поведения ничего не смогло бы изменить в ходе развития революции», — если не быть детерминистом или «фактопоклонником»? Фактическое подлежит всегда суду и оценке. А это предполагает, что происшедшее могло, по мнению судящих, и не произойти. Только такой подход дает возможность оценивать исторические события и активно участвовать в них, а не только их регистрировать и толковать задним числом.

В совокупности обстоятельств, определяющих судьбы человека и человечества, отдельные элементы связаны между собой и обусловлены. Достаточно одному или нескольким выпасть или стать иными, и итог может быть иным или совсем не тем, какой фактически имел место. Рассуждение о том, что было бы, еслибы то-то случилось или не случилось, — совершенно законная и необходимая часть исторического познания. Упущенные возможности и использованные случайности — не только занимательная, но и поучительнейшая глава исторического опыта и знания. Абсолютно рационализированного или полностью освещенного знанием мира нет и не может быть: в таком мире человек не мог бы действовать, не был бы живым человеком. Что случилось, несомненно имело достаточные к тому основания. Но следует ли отсюда, что все другие возможности были исключены и стали с самого начала невозможны? Вытесненная тем, что фактически имело место, и не осуществившаяся на деле возможность продолжать жить в сознании людей и уже, тем самым, не перестает быть тоже реальностью. Только при упрощенно-гегелианском подходе, будто все действительное разумно и только разумное действительно, можно отрицать сказанное.



Приятию революции *post factum*, в силу ее «роковой неизбежности», как непреодолимой «лавины», обычно соответствует представление о революции, как некоем неделимом единстве, или «блоке», который надо брать — или отвергать — как таковой, целиком. Как правило, такое представление защищают противники всякой революции и сторонники наиболее крайних форм революции. Иногда, впрочем, его разделяют и сторонники средних или умеренных течений. Так, его можно встретить и у П. Н. Милюкова, который в разное время воспринимал русскую революцию по-разному.

«Историю (второй) русской революции», в трех томах-выпусках 1921-го года, П. Н. Милюков писал в самый разгар гражданской войны, — как «историк-современник». В этой работе он различал фазы и стадии развития даже в февральской революции. Он откровенно отмечал, что «ему трудно будет отказаться от убеждения, что все могло бы пойти иначе, если бы степень самосознательности и степень волевого напряжения у руководителей были иные» (Вып. 1, стр. 56). В 1927 году вышла другая работа П. Милюкова «Россия на переломе», и здесь автор попробовал взглянуть на русскую революцию глазами «будущего историка», стараясь уловить ее «неизбежный характер». При этом оказалось, что «русская революция не была бы революцией, если бы она остановилась на первой (февральской) стадии и не дошла до крайностей». В качестве как бы социологического закона, Милюков утверждал, что «у всех настоящих революций своя судьба» — «проделать все стадии». «Пока не пройдены все естественные стадии, революция должна (подчеркнуто П. Милюковым) следовать своему неизбежному курсу и не может остановиться на середине. Революционный пожар должен выжечь до тла все, что уцелело от низвергаемого порядка, — не только все учреждения, но и все пережитки психологии» (Т. 1, стр. 40-41). Иными словами, только Октябрь сделал русскую революцию «настояще», — не будь Октября, и Февраль был бы ничем, не был бы революцией: «раньше чем стать большевистской, Россия созрела для большевизма».

Не будем задавать безответных вопросов, — в частности, как при таком подходе Милюкова — «будущего историка» должна быть расценена вся деятельность Милюкова — политика в пред-февральский, февральский и по-февральский периоды

русской истории? Подчеркнем только, что П. Н. Милюков не удержался на своей новой позиции. И в очерке, посвященном памяти А. И. Шингарева и появившемся в 29-м году, П. Милюков говорит о «прямой дороге», с которой свернула «признанная и одобренная Шингаревым» революция и на которую «Россия должна вернуться, чтобы продолжать свое историческое шествие по правильному широкому, хотя и долгому, пути». (Сборник «Памяти Погибших», стр. 44).

Но и возвращение к первоначальному взгляду не было последней позицией П. Н. Милюкова. В своей предсмертной, нашумевшей статье «Правда о большевизме» Милюков в 1942-ом году вновь вернулся к защите Октября, как «настоящей революции в собственном смысле слова*), как разрушительно-творческой и органической части русской истории», к тому, что февральская революция «подготовила Брест-Литовск и раздел России» и т. д. И он оказался далеко не один. «Принятие революции февральской и отвержение революции октябрьской есть непонимание исторического процесса, — непонимание того, что революция едина и имеет разные стадии своего разворачивания (!)», — утверждает философ культуры Н. А. Бердяев («Русский Патриот» ном. 16, май 1945 год).

Можно, конечно, говорить о революции как единстве, не различая в ней ни форм, ни стадий, ни характера, ни целей, ни методов, — как можно и всю историю человечества рассматривать как единое целое, раскрывающее свой разум и дух. Но такой панлогизм топит в «целом» и «общем» — частности и конкретную реальность. Ограничение объекта и различение фактов — первое условие и требование подлинного знания: «в ограничении обнаруживает себя мастер»; «определить — значит сузить». И почему только революцию брать в «целом», как единство? Почему не говорить в таком случае, скажем, и о самодержавии как «единстве»? Между тем ни один историк, разве только большевистской выучки, не может не проводить различия между первым самодержцем и последним; не может

*) При таком понимании революции, очевидно, все февральские революции 1848 года должны быть признаны не настоящими. Между тем, хотя они и не дошли до крайностей 1648 и 1791 (и 1918) г.г., они все же потрясли самые основы европейского абсолютизма. С другой стороны, и французскую коммуну 1870 года в таком случае нельзя было бы причислить к «настоящим революциям», потому что, будучи крайней, она не прошла всех полагающихся ей предварительных стадий.

говорить как о единстве о царствованиях трех Александров; или даже в царствовании первых двух Александров не различать между первоначальными прогрессивными и последующими реакционными мероприятиями. Почему же такая одиозная привилегия для революции? И почему, допуская в революции «разные стадии разворачивания», считать непониманием исторического процесса различие между Февралем и Октябрем или в самом Октябре не различать первоначальной пугачев-ленинской стадии и последующей аракчеево-сталинской?

И вовсе не обязательно отрицательное отношение к Октябрю или положительное к Февралю, чтобы различать их. В. А. Маклаков, например, как и Шингарев, никогда не хотел революции, а всегда желал мирного «оздоровления» — желал его и при самодержавии и Столыпину, желал его и при большевизме и Сталине. В крайнем случае он соглашался, опять таки как Шингарев, на переворот и меньше всего был энтузиастом Февраля. После шока, испытанного от режима Виши и торжества Жеребковых, Маклаков пришел даже к предпочтению «их (большевиков) режиму 1917 года». Напечатанная Маклаковым (в «Русских Новостях» от 25 мая 1945 года) статья «Советская власть и Эмиграция» полна совершенно неожиданных для б. посла б. Временного Правительства признаний. Оказалось, что советская власть «уже с 1921 года стала делать уступки потребностям, правам и желаниям 'человека' в экономике и аграрной структуре», — что как будто было известно В. А. Маклакову и раньше, как была известна и замена НЭП-а сплошной и насильственной коллективизацией, и проч. Оказалось, что коммунистическая партия — «подчиненный элемент государственной власти»; что «эти (октябрьские) приемы оказались действительнее, чем свободы февральской эпопеи», не только для восстановления государственной мощи, но и «для социальной справедливости»; и т. д.

Получился парадокс: в течение четверти века спорили два виднейших либерала В. А. Маклаков и П. Н. Милюков о правде либерализма и никак не могли друг с другом согласиться. Совпали же они во взглядах на «правду большевизма». Оба пришли в конечном счете к тому, что еще в начале 20-ых годов доказывал П. Б. Струве, а именно, что февральская революция была «государственным самоубийством русского народа». Для Милюкова и Маклакова Февраль был как бы неудавшимся покушением на государственное самоубийство русского народа, от которого народ был спасен Октябрем. Именно поэтому Маклаков и различает между Февралем и Октябрем,

говорит о двух революциях, — как Ленин о трех, присчитывая к ним и революцию пятого года.

Если даже анти-большевику Милюкову («все мы — анти-большевики», дважды счел нужным подчеркнуть автор «Правды о большевизме») восьмимесячное февральское «интермеццо» представляется величиной малостоящей — и, по существу, отрицательной — по сравнению с четвертьвековым, а сейчас почти 30-летним, Октябрем, легко представить себе отношение к Февралю малоосведомленных иностранцев*) или выполняющих казенный заказ советских историков и публицистов.

Только что вышел 3-ий том полного собрания сочинений И. В. Сталина (в 16 томах). Здесь собраны его речи и статьи за 1917-ый год. Когда перечитываешь их теперь, очевидна политическая их нарочитость, вздорность и клевета, которые подсказывались ближайшей и главнейшей задачей: соблазнить и увлечь, если не за собой, то за призрачными посулами. В обстановке кипевших революционных страстей все изобличения могли неискушенным представляться искренними и правдивыми: «Правительство фабрикантов и помещиков... что им крестьяне, здравствовали бы помещики» (Т. 3, стр. 35); «партии эс-эров и меньшевиков были в лагере тех, которые громили и обезоруживали рабочих, солдат и матросов» (132): русская «либеральная буржуазия и англо-французские капиталисты хотели проделать в России малую революцию, чтобы, подняв воодушевление народных масс, использовать его для большой войны» (172); и т. д. и т. д. И не тому надо удивляться, что Сталин, вслед за Лениным и Троцким, пробираясь к власти,

*) Чтобы не говорить об иностранцах-невеждах, скажу, что и такой образованный историк, как б. министр иностранных дел Франции Габриэль Ганото, не упоминает о том, что самодержавие было свергнуто не большевистским Октябрем. За самодержавным периодом русской истории у него следует октябрьский.

То же проделал и проф. Ласки в своих «Размышлениях о революции нашего времени» (1943). И у Ласки за «полуварварским и совершенно реакционным деспотизмом» следует непосредственно спасительный Октябрь.

И в американской печати совсем еще недавно передовик прогрессивной РМ, не задумываясь, сообщил, что «русская революция 1917 года была спроектирована и выполнена (engineered and executed) социал-демократами, называвшимися большевиками, а позднее коммунистами». Для него Февраля вообще не существовало, — революция началась в Октябре.

прибегал к демагогии и клевете, а тому, что и через 30 лет «величайший из людей» и «величайший ученый нашей эпохи» нуждается в повторении и размножении былых поклепов и наветов.

Вслед за Сталиным и сталинские «академики» — И. Минц, И. Трайнин, И. Петров, А. Косульников, Е. Городецкий и др. — различают февральскую революцию, малую и буржуазно-демократическую, и октябрьскую — великую, большевистскую, рабочую, социалистическую. Все же и малую революцию советским историкам жаль отдать русским капиталистам и иностранным империалистам. Поэтому и ее присваивают они частично себе, как присвоили Герцена и Белинского или Короленко с Чеховым. Оказывается, что и буржуазно-демократическую революцию «совершил рабочий класс... Но власть в стране с первых же дней революции взяли в свои руки капиталисты и помещики» ((Спутник Агитатора, Октябрь 1946 год, стр. 8). Или в других выражениях: «Во главе этой (народной) революции (в Феврале) шел самый революционный класс в мире — русский пролетариат», но — «февральская революция почти ничего не изменила в общественном строе России. Крепостническое государство не было разбито, и... страна продолжала идти тем же путем, который неизбежно привел бы (!) ее к потере государственной самостоятельности» (Большевик, Ноябрь 1945, стр. 27).

Можно спросить — уже не сталинских комментаторов революции, а самого Сталина, — как же это все-таки: власть взяли «министры-капиталисты», и почти ничто не изменилось, а вместе с тем, по свидетельству того же Сталина, сделанному в самой гуще событий, на 6-ом съезде большевистской партии, в июле-августе 1917 года, — «такой свободы, как у нас, нигде не существует в условиях войны... нигде у пролетариата не было и нет таких широких организаций» (Том 3, стр. 173-174)?!.. Допустимо ли в таком случае и сейчас, через 30 лет, повторять, что не-большевистский путь революции был бы «усилением власти имущих классов над трудящимися и превращением России в колонию Англии, Америки, Франции» (там же, стр. 138)? И, главное, — надо ли было, дозвоительно ли было устраивать заговор и путем длительной и жестокой гражданской войны свергать режим свободы, подобного которому не существовало нигде?



На вопрос «стоило ли делать революцию?» ответ может быть только один: конечно, нет! Не стоило и не стоит делать революцию никогда и нигде: «издержки производства» всегда огромны и далеко не всегда оправдываются результатами. Революция ищет оправдания для себя в том, что она способствует прогрессу. Но и это бывает не всегда. Со времен Герцена революция признается наименее желанной, а со времен Жореса и варварской формой прогресса, — отчаянным средством. Даже такой поклонник Октября, как Гарольд Ласки, и тот защищает для Англии «революцию по соглашению», а не какую-либо иную.

В очень ценной работе «Великое отступление», вышедшей всего год тому назад, но политически уже успевшей несколько устареть, Н. С. Тимашев привел множество фактов, цифр и доводов в доказательство того, что после 25 лет кровавой революции Россия демографически, индустриально и в смысле элементарной грамотности оказалась приблизительно там же, где она была бы без революции, развивая наметившиеся уже раньше тенденции. Политически же Россия под Сталиным вернулась больше чем на столетие назад, к худшим временам романовского самодержавия. Здесь прогресс оказался совершенно мнимым, обернулся явным и ужасающим регрессом. В этом отношении Октябрь не имеет и того условного и апостериорного оправдания, которое признавали за революцией Герцен и Жорес.

Совершенно иначе обстоит дело с Февралем. При всех провалах и недостатках Февраль был апофеозом свободы — всяческой: для человека, для трудящегося, для иноверца и иноплеменника. Февраль был не только вестью о свободе, он и реализовал ее. В излишестве свободы оказался в значительной мере и рок Февраля, его бессилие: к своей власти народ оказался особенно требовательным. Но что Февраль был политическим прогрессом по сравнению с предыдущим и последующим периодами русской истории рискнут оспаривать лишь немногие, — и за 30 лет не изжившие своих предубеждений и предвзятости.

Оправдание Февраля — и неоправданность Октября — и в другом: в том, что Февраль был в гораздо большей степени исторически неизбежен, чем Октябрь.

Уж как ни старались избежать революции Шингарев с Маклаковым, как ни противились ей Гучков с Шульгиным, за какие только соломинки ни пытались ухватиться! Об одной из таких соломинок рассказал в прошлой книге «Нов. Журнала» В. А. Маклаков. «План избежать Революцию был сорван не крайними левыми, не кадетской общественностью, а самой властью. Всю ответственность за революцию она как будто хотела сохранить за собой». Так думал о Феврале Маклаков накануне второй мировой войны, приведшей его к положительной переоценке Октября.

Мы никак не разделяем мнения В. А. Маклакова будто выдвинутый им в феврале 1917 года план роспуска Думы на три дня с одновременным назначением премьером ген. Алексеева мог предотвратить революцию, которая назревала и готовилась в течение столетия и прорвалась стихийно, для многих совершенно неожиданно, в конце февраля 1917 года. Свершившись молниеносно и будучи воспринята восторженно, она не встретила никакого сопротивления ни с чьей стороны, стала в подлинном смысле национальной. На этом фоне Октябрь представляет собою полную противоположность.

Задуманный и выношенный в тайниках большевистской партии, Октябрь был удачно выполнен в ночной тьме организованными, дисциплинированными и вооруженными группами ничтожного меньшинства. На следующий день после переворота, «изменившего лицо мира», проснувшийся обыватель, протирая глаза, спрашивал себя и других с изумлением, что собственно произошло? «Без хаоса, без уличных столкновений, почти без стрельбы и кровопролития, одно учреждение за другим захватывалось отрядами солдат, матросов и красногвардейцев по распоряжениям, исходившим из Смольного Института». Так описывал октябрьскую «революцию» главный ее творец Троцкий. И сейчас, подсчитывая, какова была численность большевиков, возглавлявших натиск на «твердыню капитализма» (этим термином обозначается «буржуазное» правительство А. Ф. Керенского), сталинские историки определяют ее в «250 тысяч». (Б о л ь ш е в и к, Ноябрь 1945, стр. 31).

Октябрь не был принят большинством населения ни при выборах в Учредительное Собрание, ни по сей день, — о том убедительно свидетельствуют практика диктатуры и исчисляемые десятками миллионов замученные и томящиеся во всякого рода тюрьмах, изоляторах, лагерях. Можно согласиться с «Большевиком» и большевиками, что советская власть «проч-

на и устойчива». Но если бы власть эта, действительно, покоилась на «всемирности», режим диктатуры был бы ей не нужен. Между тем многое изменилось за 30 лет во внешнем мире и в России, только правительственный террор в СССР остался себе равным, совершенствующим из года в год свою технику.

Февраль предшествовал Октябрю. В той мере, в какой он не предотвратил его, он исторически с ним связан и за него ответствен. Решающим здесь было несчастное, бессильное и нелепое «восстание» генерала Корнилова, которое шло навстречу прочно укоренившемуся, унаследованному от прошлого — из русской истории и истории других революций — ожиданию неизбежной контр-революции справа. Чтобы избежать борьбы на два фронта и сосредоточить силы против главного и ближайшего, наступающего противника, было заключено фактическое перемирие, дана амнистия бывшим и будущим заговорщикам против Февраля.

Фальсифицируя историю, сталинские академики умышленно раздувают и размеры корниловского движения, и свою роль в его подавлении. И подавлять-то никого почти не пришлось: был мыльный пузырь, который при первом же прикосновении лопнул и рассеялся. Это только воображению сталинских историков чудится, что в числе «организаторов корниловского мятежа» были не только кадеты, но и эс-эры, и меньшевики, и «только одна партия выступила против корниловщины — партия Ленина-Сталина». Все это сплошной вздор. Трагическая же правда состояла в том, что Февраль ждал главного врага и нападения не с той стороны, с какой следовало. Во власти книжных аналогий, поддаваясь большевистской пропаганде, преувеличили опасность справа и преуменьшили угрозу слева. «Большевик» правильно отмечает дату, когда «началась полоса большевизации Советов по всей стране»: это случилось 31-го августа, когда выступил Корнилов. Руками ген. Корнилова большевики загребли для себя жар настолько успешно, что тут же решили устроили свою, «социалистическую» революцию.

Заявлять, что Февраль «подготовил и оправдал Октябрь», можно с горздо меньшим основанием, чем утверждать, что Октябрь был подготовлен и оправдан ген. Корниловым. Парадоксальность последнего утверждения изобличает неправильность и ему предшествующего.



Февраль отличен от Октября не только тем, как тот и другой были «сделаны» и какой жизненный срок каждому из них отпустила история. Это были и по существу два разных и в значительной мере противоположных пути. Большевики уверяют и сейчас, что, если бы Россия пошла февральским путем, он «неизбежно привел бы ее к потере государственной самостоятельности. Был ли у власти кадет Милюков или 'социалист, Керенский, — политика их в одинаковой степени носила антинациональный характер».

Пробежим мысленно, к чему стремился Февраль и чего достиг Октябрь в решении основных проблем — земли, воли, мира.

Февраль приступил к радикальному решению земельного вопроса. Это решение он видел не в разнуздании стихии, а в планомерной передаче земли трудящимся на основе права и исконного крестьянского правосознания, санкционированного народно-представительным учреждением.

Этому не дано было осуществиться. Пришел Октябрь со своими решениями. Сначала с прямым действием «всей власти на местах», затем с «комбедами» и «продотрядами» и, наконец, с истреблением «кулаков как класса» и насильственной сплошной коллективизацией, под контролем и надзором партийных и колхозных бригадиров. Кое-кто от такого решения выиграл, но Россия и большинство крестьянства от него проиграли. Если к непосредственно пострадавшим — не только кулакам, но и середнякам и беднякам, — присчитать миллионы погибших от недорода и голода, будущему историку будет нетрудно сравнить и оценить февральский и октябрьский варианты решения земельного вопроса.

Еще проще, — если от земли перейти к воле. Только примитивная и невзыскательная большевистская пропаганда может считать, что выкрикивая изо дня в день: СССР — самая свободная страна в мире, самая демократическая, нигде никогда не превзойденная, и т. д., она и на деле такой делается. Даже профессора Ласки в этом не удалось убедить, — а он ли не был к тому предрасположен? Теперь глава отдела пропаганды и агитации при ЦК ВКП(б), он же, конечно, и академик, Г. Ф. Александров возмущается и Ласки, который «осмеливается

говорить, что в Советском Союзе не имеется свободы речи, свободы печати и свободы собраний*). Говорить о какой-либо свободе там, где все — от детских букварей до литературной критики, науки, религии, музыки — подвержено контролю и надзору, где государственный аппарат служит целям поставки дешевого труда для форсированной индустриализации, могут только мании этой индустриализации, огнем и мечом вгоняющие население в царство своего «социализма».

Тоталитарная власть большевиков, как и самодержавная царей и королей, свободна от каких-либо сдержек и ограничений. Но у каждой из этих деспотий своя формула. Людовик XIV определял неограниченный абсолютизм словами: «Государство — это я!» Тоталитарный же большевизм говорит: Государство — это ты, рабочий, трудящийся, всякий советский житель!... Ты не в праве, поэтому, предъявлять государству никаких требований — ни политических, ни даже экономических; это было бы равносильно требованиям к себе самому».

Февраль сделал Россию самой свободной страной в мире. Это признали и враги Февраля. Февраль положил конец традиционному противопоставлению народа власти. В Феврале русский народ стал властным и российская власть народной. Но тяжелая историческая наследственность продолжала тяготеть над властью и над народом. Власть, как власть, продолжала внушать опасение и недоверие, продолжала считаться злом, синонимом произвола и насилия. Народ слишком долго держали в тисках и в молчании, чтобы он не предъявил чрезмерных требований при первой к тому возможности.

И в национальном вопросе Октябрь действовал так же, как и при решении земельного. Начав с разнуздания стихии и потакания сепаратизму и самоопределению «вплоть до отделения», он перешел к централистскому зажиму и уравниванию всех племен и народов в общероссийском бесправии, — офи-

*) И в Америке встречаются «академики», которые находят свободу в СССР, — не такую, как в Соединенных Штатах, но все же свободу. Так профессор Hunter College Джон Сомервил в книге о «Советской философии — теория и практика» открыл, что «советский гражданин не хотел бы (?) быть свободным от общества, в котором живет... Он не хочет (?) быть предоставленным самому себе государством». В России свобода, потому что там свобода от *laissez faire*.

Не всякий академик додумается до того, чтобы «свободу от свободы» признать тоже свободой!

циально именуемом союзом свободных народов. Уничтожая политическую свободу и демократию, Октябрь, конечно, не мог не упразднить и национальной свободы составляющих Россию народов. Развитие грамотности, распространение письменности, театры на родном языке, увеличение кадров интеллигенции, — вещи, конечно, положительные. Но ими не искупаются зло и вред, которые были нанесены мирному и лояльному сосуществованию народов в рамках единой федеративной России.

Если об этом можно было гадать и спорить до трагического опыта второй мировой войны, то после добровольного ухода миллионов в плен к Гитлеру, лишь бы избежать Сталина, и активного сотрудничества целых народностей, в Крыму и на северном Кавказе, с вторгшимся и насилующим врагом, — плодотворность и осмысленность политики Октября в национальном вопросе еще труднее доказуема. Надо ли напоминать, что Февральская революция до «14 пунктов» Вильсона провозгласила и признала право на национальное самоопределение больших и малых народов? Однако, Февраль, и мы с ним, всегда был против одностороннего самоопределения — «вплоть до отделения» — в порядке утверждения воли одного народа без соглашения с другими. Мы мыслили самостоятельность каждого из народов России в порядке общей коллективной безопасности — российской и мировой.

По убеждению многих, пристрастных и беспристрастных, историков, Февраль обречен был на поражение, а Октябрь на победу из-за — и благодаря — своей политике мира. И Февраль был за скорейшее окончание мировой войны, — но в рамках общего мира, а не путем сепаратного, предательского, объективно неосуществимого выхода из войны. Октябрь был за немедленный выход из войны, за мир с внешним врагом во что бы то ни стало, за превращение внешней войны во внутреннюю. Так и случилось. Выйдя из войны империалистической, Октябрь верг Россию в войну гражданскую, которая не кончилась и тогда, когда затянувшаяся из-за Октября мировая война закончилась не победой мировой революции, как о том бредил Ленин, а победой союзников, несмотря на уход России.

Октябрь не переставал издеваться над пацифистами и пацифизмом, как выдумкой попов и буржуев. Вместе с тем каждое нападение на соседа, как и территориальное восстановление утраченного, неизменно мотивировалось советским правительством соображениями миролюбия и предотвращения

угрозы военного столкновения. Именно так оправдывал свое соглашение с Риббентропом Молотов 31 августа 1939-го года. На то же ссыался и Сталин после столь поразившего его «вероломного» нападения Гитлера. «Ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп», — оправдывался Сталин в речи по радио 3 июля 1941 года. Значило ли это, что и «мюнхенцы» или генералиссимус Франко, действовавшие как раз по этому рецепту, были правы, — генералиссимус Сталин не пояснил.

В дальнейшем и Сталин, и Молотов одинаково подчеркивали: «Мы не имеем и не можем иметь таких целей войны, как захват чужих территорий и подчинение чужих народов» (Сталин 6 ноября 1941 года); «мы не ищем территориальных увеличений для себя и не будем вмешиваться во внутренние дела других народов» (Молотов 24 мая 1942 года). То был язык Атлантической Хартии — первоначальной, неудачной фазы войны. С успехами союзного и, в особенности, советского оружия произошел резкий поворот. Слова о миролюбии и демократическом мире без аннексий продолжали звучать в советской пропаганде, но дела свидетельствовали совсем о другом. «Коммунистический империализм в форме экспансии России», как выразился недавно один американский публицист, направился на север (Печенга) и на юг (Триполи), на запад (линия Штетин-Триест) и на восток (Корея-Дайрен-Курильские острова).

Обозревая прошлое, сейчас можно утверждать, что желание вернуть территории, утраченные Россией по вине советской власти, — имело решающее значение для ее внешней политики и накануне войны, и во время войны. Разрыв Москвы с западными демократиями и соглашение с Германией, сделавшее возможным войну, произошли потому, что Гитлер оказался щедрее — за чужой счет — Франции и Англии. Чтобы вернуть утраченное в Польше и Балтике, советская власть не остановилась перед соглашением с «извергами и людоедами» и оказанием им материальной и моральной помощи в течение целых полутора лет. Молотов доказывал в речи 31 октября 1939 года, что «преступно (!) вести такую войну, как война за 'уничтожение гитлеризма', прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию». И только позднее, в «избирательной» речи 6 февраля прошлого года, Сталин сообразил задним числом, что «вторая мировая война приняла с а м о г о н а ч а л а характер войны антифашистской, освободительной».

С благословения Гитлера СССР вернул себе Бессарабию и «выравнил» границы с Финляндией. Когда начались переговоры о вхождении Москвы в тройственную «Ось», уже стал вопрос не о восстановлении границ России, а об их расширении. И если эти переговоры в 1940-ом году, как и предложение сепаратного мира Гитлером осенью 1943-го, кончились ничем, это произошло опять таки не потому, что Сталина остановило нечто вроде угрызений политической совести. Уступчивость Рузвельта и Черчиля в Тегеране и Ялте — тоже за чужой счет: Китая, Польши и других — диктовалась безвыходностью их положения по сравнению со Сталиным: Сталин мог играть на два табла — мог сравнивать то, что ему предлагали союзники, с тем, что ему предлагал враг.



Но и мир, и хлеб, и свобода были для Октября лишь частностями по отношению к главному, к социализму, при котором все проблемы получают окончательное решение и которому должны быть подчинены не только все моральные ценности, но и жизнь вот уже второго поколения. Россия была провозглашена «страной победившего социализма» и таковой ее признали и за пределами СССР не только единомышленники и друзья большевиков, но и многие из убежденных их недругов — и недругов социализма.

Не будем сейчас останавливаться на том, что из советского социализма без остатка вытравлены все элементы простой человечности. Напомним только, как строители этого социализма оправдывают свой «более короткий, хотя и более трудный и кровопролитный путь» к социализму. В беседе с делегацией британской рабочей партии (Ласки, Морган Филипс и др.) Сталин согласился с тем, что возможен и бескровный, парламентский путь к социализму, но он более длинен и России не был дан из-за «очень низкого уровня культуры и (русских) крестьян, не желавших и слышать о социализме»*)... Большевики таким образом были вынуждены пойти якобы более «кратким» путем, чтобы придти к тому, что они выдают за социализм.

Социалистическим был окрещен советский строй еще в первой советской конституции, в июле 1918-го года. Ленин,

*) Morgan Philips "We talk with Stalin on the two roads to Socialism." — The London "Daily Herald"— 22. VIII. 1946.

впрочем, разъяснил позднее, что это означало лишь «решимость советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание экономических порядков социалистическими» (Т. 22, стр. 513). В марте 1921-го года, на X-ом съезде партии, Ленин заявил еще определеннее: «осуществление социализма в России есть утопия». Но Сталина это несколько не смутило. И он не может отрицать, что классы и классовые различия в СССР сохранились; он только подчеркивает, что классы стали иными, не такими, какие были раньше и какие бывают в капиталистическом обществе. Но если признание наличия классов что-либо означает, оно означает признание наличия социального неравенства и привилегий. Директорские жалования и стахановские заработки с соответствующими «распределителями» жизненных благ для них, для высших государственных чиновников и партийцев, с одной стороны, и жизненные тяготы для всех простых смертных из тех же классов, рабочих, крестьян и интеллигентов, — неопровержимо свидетельствуют о том, что и новые классы сохранили классовые различия и привилегии.

Хозяйственным предприятиям в СССР всячески рекомендуется извлечение прибыли. Однако, и в социалистическом отечестве прибыль не перестает быть прибавочной стоимостью, которая может получиться лишь в результате присвоения результатов чужого труда, или эксплуатации. Происходит ли эксплуатация в интересах частных предпринимателей или в интересах государства может быть и не безразличным для психологии эксплуатируемых. Это не отменяет, однако, самого факта эксплуатации. «Советское общество ликвидировало труд людей на эксплуататоров. Люди стали трудиться на себя». Это должен был сказать шеф большевистской пропаганды и агитации, тот же Г. Александров. И говорил он это, увы, в заседании Академии Наук. Это не сделало, однако, его слов доказательнее. «Пойдите к рабочим», как рекомендовал Ленин, и спросите их, — считают ли они, что трудятся на себя?

Давно уже открыты в СССР сберегательные кассы, рекламируются выигрышные займы, торгуют купцы, существует рынок. «Советская торговля есть наше родное, большевистское дело, а работники торговли, работники прилавка, если они только работают честно, являются проводниками нашего революционного (?), большевистского дела», — цитирует «Правда» от 6 января с. г. великого Сталина. Теперь постановлением Совета министров от 9 ноября 1946 года о «развертывании» кооперативной торговли и увеличении производства продо-

вольственных и товаров широкого потребления формально легализуется и типичная для капиталистического строя — конкуренция. Ее называют, правда, не в пример капиталистической, — «советской», «здоровой», «полезной».

При планированной экономике и монопольном контроле государства, каких еще элементов не достаёт, чтобы признать советский строй государственным капитализмом? Пусть советское государство больше всякого другого «прививает личности сознание долга по отношению к общественным, общенародным интересам». Но ведь всякое государство, по учению Маркса, «есть свидетельство непримиримости классов и призвано насилем умерять столкновения внутри общества, держать их в границах 'порядка'», — доказывает тот же «Большевик» (стр. 53 и 65). И советское государство на деле показало, как энергично умеет оно «умерять насилем» возможность внутренних столкновений и обеспечить свой «порядок». Понятны мотивы, которые побуждают советских идеологов называть свой строй социализмом, а то, что обычно принято понимать под социализмом, относить в будущее, к неопределимому ближе коммунизму. Но ведь «от слова не станется» — ни в дурную, ни в хорошую сторону.

Незадолго до своего умерщвления Троцкий публично признал, что советские вожди «вынуждены скрывать действительность, обманывать массы, маскировать себя, называть черное белым» и т. д. Эти «методы политического гангстеризма» творец и отец Октября относил всецело на счет своего счастливого соперника «Сталина-Борджиа». Он был прав в отношении к нему, но не к себе, к своему собственному участию в Октябре и последующей практике «каленного железа» и «утюга» диктатуры, бессудных казней, заложничества и т. д. Если говорить о методах политического гангстеризма, Троцкий стоил Сталина и Сталин стоил Троцкого. Ибо оба они одинаково строили тот же - с о ц и а л и з м, относительно которого еще Герцен предупреждал: «Социализм, который хотел бы обойтись без политической свободы, без равноправия, быстро выродился бы в самодержавный коммунизм».

Февраль сверг историческое русское самодержавие, чтобы через 8 месяцев в свою очередь быть низвергнутым тем, что позднее обернулось коммунистическим самодержавием. В этом можно видеть руку Немезиды. Но исторически Февраль 1917 года стал неизбежным в силу двух роковых просрочек: запоздалой и неполной ликвидации крепостного права и столь же запоздавшей ликвидации деспотического режима. Победонос-

ный Октябрь и по сей день не спешит со «спуском на тормозах»: с ликвидацией закрепоженного в колхозах и на заводах труда и смягчением политического режима. Если существует какая-либо доля закономерности в истории, одинаковые причины неминуемо должны привести рано или поздно к одинаковым результатам — вызвать аналогичные действия и противодействия.

Конечно, вспять река времен не течет, и о возврате к Февралю 1917 года не идет и не может идти речь. Но почему нельзя вернуться «к принципам февральской революции, которые обычно определяют, как демократические», — остается секретом Н. А. Бердяева. В своей злополучной статье он этого не показал и, думается, не потому, чтобы не хотел, а потому, что не мог за объективной недоказуемостью того, что влечение к свободе может быть убито в человеке и народе. В новой, совершенно иной, чем в 1917 году, исторической обстановке Россия завершила сейчас свой круговорот, или «цикл». Как 30 лет тому назад, снова стоит она перед прежними препятствиями и теми же проблемами — раскрепощения политического, социального, этнического. Как выйти на путь свободы? Как утвердить ее? «Стоит ли делать новую революцию?»

«Не стоит», конечно, — как «не стоило» и 30 лет тому назад! Однако, весь истекший опыт свидетельствует о том, что самодержавный коммунизм бездушнее даже царского самодержавия и немногим его дальновиднее. А в таком случае России как будто снова не избежать наименее желанного, варварского пути развития.

Марк Вишняк.

15.II.1947.

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ИЛИ ОДИН ?

В феврале, в Париже, подписаны мирные договоры между победителями и пятью побежденными, так называемыми спутниками Германии, а в марте, в Москве, на очередной сессии совета министров иностранных дел, начались переговоры между членами великой четверки об основах предстоящих мирных трактатов с Германией и Австрией. За шесть месяцев перед тем, такие достижения на пути ко всеобщему замирению казались почти немыслимыми, и многие твердо верили в то, что события медленно, но верно развиваются в сторону третьей мировой войны, между СССР и его спутниками, с одной стороны, и англо-американским блоком с его спутниками с другой.

Перелом развития в благоприятную сторону может быть точно датирован. 25-го ноября 1946 года, в Нью-Йорке, состоялся частный разговор Бэрнса с Молотовым. Что именно было сказано и обещано, знают лишь очень немногие, и вероятно не скоро кто-либо из них откроет тайну. Но факт несомненен: в тот день началась новая фаза в отношениях между СССР и великими англо-саксонскими демократиями; ее нельзя назвать фазой дружбы или доверия, но все же можно обозначить, как фазу компромисса.

Фаза эта — уже пятая в истории союза, который, по воле Гитлера, объединил СССР, Соединенные Штаты и Британскую Империю. Первая длилась с самого вторжения гитлеровских полчищ в Россию до Сталинграда, т. е. с 22-го июня 1941 года по начало февраля 1943 года. Это была фаза безграничных надежд со стороны англичан и американцев, надежд на то, что, после победы, восторжествуют принципы 14 августа 1941 года провозглашенные в Атлантической Хартии; Москва молчала и тем как бы косвенно подтверждала надежды. Вторая фаза, со Сталинграда до потсдамского совещания или даже до середины лондонского совещания министров иностранных дел в сентябре 1945 года, была фаза кругового движения надежд

и разочарований. Каждый круг начинался с заявлений или действий советского правительства, явно несовместимых с Атлантической Хартией; накапливавшиеся недоумения и разочарования доводили дело почти до кризиса; но кризис благополучно разрешался, обыкновенно в порядке свидания высших руководителей великой тройки; после каждого свидания — московского, тегеранского, ялтинского, потсдамского, делались совместные заявления, которые заключали отказ советского правительства от некоторых притязаний, но также и отказ его союзников от той или иной части принципов, провозглашенных в 1941 году. Третья фаза, самая короткая, началась 22-го сентября 1945 года, когда на лондонском совещании впервые оказалось, что циклический механизм больше не действует: в тот день Молотов предъявил невозможное требование о том, чтобы бывшее было сделано небывшим, а именно, чтобы всякое упоминание о допущенном им было участии Франции и Китая в предварительных переговорах о мирных трактатах было вычеркнуто из протоколов. По этому пункту Молотов не уступил и тем открыл фазу твердокаменного советского упрямства; со стороны союзников, в этой фазе, проявлялись надежды точно выяснить, чего-же хочет Советская Россия, и готовность купить скорый мир ценой больших уступок; наиболее яркое выражение эта фаза получила на московском совещании в декабре 1945 года. Переход к четвертой фазе не может быть так точно датирован, как предыдущие. Но начиная с февраля 1946 года обозреватели внешней политики стали подчеркивать, что англо-американская дипломатия стала противопоставлять советской твердости свою, англо-саксонскую. В этой фазе отношения между недавними союзниками — формально они и оставались союзниками — испортились настолько, что толки о разрыве, даже войне между ними, то и дело прорывались на столбцы печати. Люди, не очень хорошо разбирающиеся в современных приемах ведения внешней политики, утверждали, что напористость и неуступчивость с советской стороны не может быть объяснена иначе, как твердым намерением воевать. Они забывали, что, кроме мира и войны, есть еще промежуточное состояние, обозначаемое формулой Троцкого — ни мир, ни война, — и что Сталин, присвоивший столько идей и планов своих противников, отлично мог и этой идеей воспользоваться. Недаром же он, в самые критические моменты, делал миролюбивые заявления, одно из коих было названо «истинно-христианским» в официальном органе Ватикана.

И вдруг, 25-го ноября 1946 года, эта фаза оборвалась.

Неодолимые, казалось, противоречия во взглядах на устройство вольного города Триеста, на свободу торговли и плавания в дунайском бассейне, на репарации, подлежащие уплате побежденными, были устранены, что позволило выработать окончательные тексты пяти мирных договоров. Несогласие советского представителя с решением большинства в Совете Безопасности перестало истолковываться, как вето. Взаимные обвинения Греции и ее северных соседей касательно пограничных инцидентов оказалось возможным передать на обследование комиссии Объединенных Наций. Автономному правительству Азербайджана Советская Россия дала рухнуть, как карточному домику. Вопрос об окончательном устройстве германских и австрийских дел был сдвинут с мертвой точки. Это, конечно, лишь одна сторона картины. На другой видны действия, показывающие, что солнце дружбы еще не взошло на международный горизонт. В самом начале 1947 года был выдвинут в неприятной форме вопрос о Шпицбергене. В столь же неприятной форме был поставлен в «Правде» вопрос о том, продолжает ли действовать англо-советский союз, заключенный в 1942 году. А советская печать продолжала бомбардировку позиций, занятых союзниками по множеству частных вопросов, из коих складывается дело восстановления мира в Европе, с перенесением главного удара на вопрос о тайном покровительстве, будто бы оказываемом остаткам национал-социализма в Германии, конечно, в видах использования их против СССР. Но эти недружелюбные акты опять-таки перемежались заявлениями дружбы, снова с выдвижением Сталина в роли миротворца. Вождь советских народов наполовину дезавуировал «Правду» по поводу англо-советского союза и придал характер дружественной демонстрации визиту, фельдмаршала Монтгомери в Москву — до 25-го ноября о таком визите трудно было и помышлять.

Чем же объясняется перелом, в тот день обозначившийся? Конечно, далеко не только тем, что мог сказать Бэрнс Молотову. Мы не знаем, что именно он сказал, но уверены, что войной он не грозил.

Тайны кремлевского двора охраняются хорошо, и правду мы узнаем лишь нескоро. Но мы и сейчас можем судить о тех факторах, которые оказали влияние на принятые в Москве решения. Одним из них могла быть перемена в созвездии, составляющем внутренний круг сталинской диктатуры. Подлинных фракций в этом кругу теперь быть не может, но мнения отдельных советников могут и не совпадать и изменяться во

времени. Одной из причин изменения во взглядах могла быть усиливающаяся тревога в связи с грядущим междуцарствием. Между прочим, по сообщениям американских корреспондентов, власти начали готовить советские народы к мысли о том, что Сталин не вечен: тогда как еще недавно он изображался на портретах, как мужчина во цвете лет, теперь не скрывается седина в его волосах.

Другим фактором вероятно было накопление неблагоприятных явлений внутри страны. 1946 год, как теперь официально признано, ознаменовался неурожаем, едва-ли не худшим, нежели в 1921 году. Только то обстоятельство, что он проявился с наибольшей силой не в заволжских районах с их редкой сетью путей сообщения, а на Украине, густо изрезанной железными дорогами, предотвратило новую демографическую катастрофу или, по-просту говоря, вымирание населения. Собственно говоря, полной уверенности в том, что катастрофы не было, нет: ведь замолчала же в свое время советская печать катастрофу 1932-33 г.г., чтобы признать ее только несколько лет спустя. Сведения о выполнении текущего пятилетнего плана не могут слишком радовать советских правителей. Восстановление разрушенной немцами промышленности конечно идет. Но стране еще далеко до уровня 1941 года, тогда как главный соперник, Соединенные Штаты, ушел далеко вперед. По-прежнему в отчаянном состоянии жилищный вопрос. Люди живут в землянках, подвалах, сколоченных из какой-то дряни бараках. теснятся, как муравьи, ссорятся, мерзнут и проклинают свою жизнь. По существу, в этой области советскому правительству, да и всякому иному, какое могло бы прийти ему на смену, предстоит разрешить геркулесову задачу. Здания, сооруженные до революции и плохо поддерживавшиеся в течение тридцати лет, разваливаются. Но разваливаются и те, которые были сооружены под гордым знаменем пятилеток, потому что они были построены для выполнения плановых заданий, а не для удовлетворения человеческих нужд. По этому пункту, в виде исключения, нет разногласий между иностранными наблюдателями. А военные действия, захватившие наиболее густо населенные части СССР, включая все, кроме Москвы и Баку, подлинно большие города, уничтожили и то небольшое, что еще было пригодно для жилья.

Есть далее основания полагать, что непрерывный барабанный бой, напоминавший народу о капиталистическом окружении и неизбежной войне против капиталистической коалиции, произвел впечатление, обратное тому, какое ожидалось вла-

стью. Власть полагала, что криками об опасности она подымет народ на дыбы и исторгнет из него новые жертвы, подобные принесенным в великую отечественную войну. А у русских людей как будто опустились руки. Если нужно опять воевать, ждать новых разрушений, то стоит-ли стараться что-либо отстраивать? У многих, побывавших в Европе, видевших тамошнюю жизнь, могла зародиться мысль — да стоит-ли воевать, чтобы отстоять, на этот раз не против немцев, изоглавшуюся и бесталанную власть? Обо всем этом, конечно, поступило немало донесений от МГБ: читатель может быть не знает, что это — министерство государственной безопасности, четвертое воплощение чудовища, которое сперва называлось Че-ка, потом стало ГПУ, а еще позже — НКВД. О глухом неудовольствии свидетельствуют все чистки и нажимы на национальном и культурном фронтах. Нажимы на культурном фронте продолжают линию, начатую в 1933 году, в составе великого отхода от основного плана коммунистического строительства, по которому, между прочим, национальные особенности следовало усугублять. Нажимы на культурном фронте в первую очередь отнимают те вольности, которые там и сям самочинно захватили было интеллигентные круги, но которые в план великого отхода не входили, а затем пресекают всякие западнические тенденции, направляя развитие по советорусской, не просто русской или просто советской, линии. В данном случае, впрочем, важно не столько то, в чем выражается нажим, а то, что опять нажимают и очень крепко: нажим всегда свидетельствует о неудовольствии, — и неудовольствие плодит.

Третьим фактором могли быть нерадостные для советов вести из-за границы. Кремлевские властители в настоящее время не могут сомневаться в том, что вся их зона безопасности, начиная с Польши и кончая Болгарией, держится только насилем: уберите советские войска и полицию, дайте волю народам, и все политические здания, построенные на коммунистическом фундаменте, разлетятся в прах. В частности, они отлично знают, что в Польше свободные выборы дали бы две трети голосов в пользу Миколайчика — и потому и провели их под знаком террора. Таково же положение в Румынии, Болгарии, Югославии. А там, где, по обстоятельствам, выборы были свободны или почти свободны, проявилась удивительная закономерность, которую можно выразить в следующей формуле: коммунизм есть болезнь, поражающая экономически и культурно нищую четверть нации, подвергшейся военному разгрому или иной равновеликой катастрофе. Так началось на

выборах во всероссийское учредительное собрание в 1917 году, и так продолжалось после второй мировой войны в Финляндии, Франции, Италии и некоторых частях Германии. Владение четвертью населения во вражеском стане, конечно, фактор благоприятный. Но на перевороты, подобные октябрьскому, Кремль не может решиться, опасаясь за конечный исход; а за пределы нисшей четверти населения социальную базу так и не удается выдвинуть.

Неутешительны и дипломатические донесения, восполняемые личным опытом Молотова, Вышинского и других. Америка не развалилась, не разоружилась и явно озлобилась против советского правительства. Англия переживает трудные времена, но ее рабочее правительство менее склонно на уступки, нежели было консервативное. Опыт последнего года показал, что пытаться продвинуть вперед железный занавес, значит идти на риск войны. А как воевать, когда внутри страны озлобление и разорение, и когда сто миллионов европейцев, попираемых советской пятой, только и мечтают о дне возмездия?

Четыре года тому назад Сталин и его присные стояли перед выбором — пойти на содружество с западными державами и полюбовное решение спорных вопросов или избрать путь односторонних и насильственных действий. Они тогда избрали второй и до сих пор с него не сошли. Но теперь они вновь стояли перед выбором — закрепить достигнутые успехи, отказавшись, пусть на время, от дальнейшего продвижения, или продолжать напор на ошетинившихся союзников, рискуя войной, в печальном исходе которой они не могут сомневаться. Воевать они, правда, никогда и не собирались; но ныне они, повидимому, поняли, что состояние ни мира, ни войны может, вопреки их воле, привести к войне.

Принять линию закрепления достигнутых успехов кремлевским властителям было тем легче, что успехи эти велики. Измерить их можно следующим образом: представим себе, как сложилась бы обстановка в мире, вышедшем из войны при наличности, в стане победителей, только демократий. Так, между прочим, было бы, если бы в октябре 1917 года Россия не позволила надеть на себя коммунистическое ярмо. Ход событий был бы тогда приблизительно таков. Во всех странах, освобождаемых от немцев или их союзников, были бы приняты меры к возможно скорому восстановлению законных правительств. Там, где это оказалось бы невозможным, были бы применены общепризнанные демократические приемы для создания правительств, опирающихся на свои народы. Границы

могли бы быть пересмотрены, но на основе сговора заинтересованных сторон, с принятием во внимание пожеланий населения. Тяга к созданию федераций в распыленных частях Европы была бы поощрена. Коллективная безопасность, обращенная против Германии и других милитаристических стран, получила бы демократическую организацию, устраняющую вето великих держав по вопросам, по каким они являются ответчиками. На этой почве оказалась бы возможной быстрая демобилизация, а на горизонте обозначилось бы всеобщее разоружение.

А что произошло на самом деле? Границы проведены односторонними актами советской власти, ибо подписанные в феврале мирные договоры только утвердили Москвою навязанные факты, и трудно сомневаться в том, что то же самое произойдет с границами Германии. В Польше, Румынии, Болгарии, Югославии и Албании волею Москвы посажены правительства, с волею местного населения не имеющие ничего общего. Эти правительства пропускают через сито подвластные им населения, физически устраняя, как фашистов, всех, кто сомневается в непогрешимости Москвы. О полной демобилизации не может быть и речи: даже Англии приходится содержать почти миллионную армию. А разговоры о разоружении напоминают сказку про белого бычка, ибо движение вперед тормозится советскими представителями.

Действительность гораздо ближе к советской программе, нежели к демократической, проявившейся во многих заявлениях государственных деятелей Англии и Америки и особенно в их действиях в районах, где они были хозяевами: во Франции, Италии, Бельгии, Голландии, Норвегии, Дании никто не навязывал населению правительств и не кроил произвольных границ. С некоторой долей преувеличения, положение можно формулировать так: в войне было три победителя, Соединенные Штаты, Англия и СССР; но устроение мира протекает так, как будто было не три победителя, а только один, который иногда — как вот теперь, — милостиво соглашается прислушаться к пожеланиям других, вместе с ним воевавших, держав.

Сознание того факта, что Англии и Америке пришлось шаг за шагом отказываться от требований, логически вытекавших из их демократических принципов, и примиряться с навязанными им фактами, привело и приводит к горьким обвинениям против их собственной дипломатии. Ее часто обвиняют в отсутствии плана, незнании местных условий и нерешительности, противопоставляя ей советскую дипломатию, которая работала по определенному плану, знала местные условия и

нерешительностью никогда не страдала. В этих обвинениях есть доля справедливости; в частности, неоднократная смена руководителей внешней политики Соединенных Штатов в 1945 и 1946 г.г. ослабляла их положение в переговорах, а их знание местных вопросов зачастую оставляло желать лучшего. Но в этом отношении небезгрешна и Москва, постоянно судящая о внешних делах по их отражению в кривом зеркале предвзятой доктрины и донесений, подлаживающихся под ее желания. Что касается планов, то почему надо считать менее определенным англо-американский план восстановления мира на почве свободной самостоятельности местных сил, нежели советский план захвата всего, что можно безнаказанно взять? В сущности, твердых и определенных планов нет ни у кого, да и быть не может; есть только динамические тенденции, которые можно условно называть планами.

Причина относительного успеха СССР и неудачи его западных союзников лежит не в сравнительном достоинстве дипломатий, а в самом характере планов и в исторической обстановке их проведения.

Из двух планов один, англо-американский, требует всеобщего соглашения, а другой не требует. По первому плану, границы проводятся по сговору, а по второму — в порядке самочинных действий, основанных на праве сильного. По первому плану, не полагается быть зонам влияния, разве что какая-либо малая держава попросит великую взять ее под свое покровительство, а по второму такие зоны создаются по манию руки победителя. Первый план хочет коллективной безопасности на почве всеобщего подчинения демократическому принципу большинства, а второй строит ее в порядке властного окрика. Англо-американский план достигает цели только, если наступает подлинный и нераздельный мир, а советский план удовлетворяется и формулой — ни мир, ни война — поскольку нет прямой угрозы перехода в войну. Англичане и американцы стремятся к восстановлению нормальных торговых и культурных связей с замиренной Европой; но какое до этого дело советскому правительству?

Когда встречаются два человека, из коих один хотел бы установить с другим дружеские отношения, а другой настроен неприязненно, отношения складываются так, как того хочет второй: ибо мир требует взаимности, а вражда вызывается и односторонним актом. То же самое происходит в международных отношениях. Если в концерте великих держав есть хотя бы одна, которая не ценит подлинного мира, то весь характер

международной политики ею и определяется. В переговорах, которыми были полны последние годы, преимущество естественно было за той стороной, которая невысоко ценила соглашение. Угроза разорвать переговоры оказывалась в ее руках мощным тактическим оружием и позволяла вымогать уступки в обмен на самый факт сговора. В конечном счете, советский союз милостиво согласился подписать пять мирных договоров, но как далеко отступающих от пожеланий других победителей! Не будем спорить — не все сложилось так., как того хотел СССР; например, выхода к Адриатике через Триест он не получил; но так ли это важно, когда, вопреки ялтинскому соглашению, в его руках Югославия, а через нее — Фиуме и далматинские порты?

Но не только существо соперничавших планов давало преимущество советскому. В его пользу сложилась и конкретная историческая обстановка. Военные операции привели к тому, что советские армии заняли сначала все земли, намеченные к аннексии, а затем и ряд других земель, вплоть до Эльбы и Адриатического моря. В сущности, это и решило дело: чтобы те или иные земли присоединить или обратить в свои протектораты, советам не пришлось вводить туда свои армии; они уже были там, и на законном основании, ибо международное право не ставит ограничений проникновению армий воюющего государства на территории, занятые неприятельскими войсками. Но конечно, противным принципам международного права и Атлантической Хартии было использование этого факта для того, чтобы односторонними актами решить судьбу занятых территорий. Это последнее и было сделано советским правительством, иногда прямо, как это случилось с балтийскими государствами, иногда косвенно, посредством подставных, навязанных Москвой, правительств, которые добровольно уступали все то, что Москвой требовалось, а затем подставляли шеи под московское ярмо. Эти-то акты и вызывали негодование в стане демократий и недоумение по поводу мягкой политики их собственных дипломатий.

Но что эти дипломатии могли сделать? Они могли предъявить СССР грозные ноты, требующие вывода войск и отказа от поддержки кукольных правительств. Но такие требования, обращаемые к первоклассной державе, имеют смысл только в том случае, если их предъявляющие твердо решили — в случае отклонения — воевать. Сомнений, однако, нет: ни за независимость Балтики, ни за подлинно самостоятельную Польшу или Румынию Англия и Америка воевать не готовы. А если такой

готовности нет, разумнее не предъявлять крайних требований, а стараться спасти, что возможно, используя более тонкие методы косвенного воздействия.

Советский план прошел, потому что в его пользу оказались география и история последних лет войны. Это положение можно, однако, повернуть и следующим образом: советский план прошел постольку, поскольку в его пользу были география и военная история; за этими пределами он не осуществился. Чтобы в этом убедиться, представим себе, что вторжения в Нормандию не произошло бы, и что вместо него на совещании великих трех было бы решено — разгромить врага советскими армиями, снабженными всем тем, что могла дать англо-американская техника. Представим себе, что в этих условиях и состоялась бы победа и что советские армии докатились бы до Ламанша и Пиренеев, а может быть перевалили бы и через последние. Что тогда произошло бы? Объединение Европы под красным флагом Москвы!

Этого не случилось, и в этом смысле можно сказать, что с московской точки зрения СССР вовсе не оказался единственным победителем, ибо плоды победы пришлось разделить с другими. Что Москва своей долей недовольна, видно из ее многочисленных попыток выдвинуться далеко за рубежи, образовавшиеся, когда встретились наступавшие с востока советские и с запада англо-американские армии. Мы уже упомянули о Триесте: Но и Греция не превратилась в советского вассала. Советы не получили базы на Додеканезе или в Триполитании. Оказались отклоненными их настойчивые домогательства, касающиеся проливов и северо-восточного угла Турции. Не стал советским и иранский Азербайджан. Тот железный закон, который ограничил осуществимость англо-американского плана, по крайней мере в его территориальной части, обернулся и против советского плана. То, что советы хотели бы иметь за выше упомянутым рубежом, они могли получить только в порядке войны, а так как на войну они не решились, то и не получили — за единственным исключением сравнительно небольшой территории в средней Германии, откуда, по соглашению, ушли англо-американские войска.

Но тогда, может быть, совсем не верна формула, что победителей оказалось не три, а один? Вряд-ли это так. Англо-американский план представляет гораздо большее внутреннее единство, нежели советский. Мир вздохнул бы спокойно и зажил бы новой жизнью только, если бы нигде не проявлялось насилие. А так как насилия было много, потускнел и весь план.

А советский план, не приписывающий подлинной цены замирению, можно считать осуществившимся и в том случае, если граница аннексий и протекторатов не охватила всего того, о чем можно было мечтать.

Если в более ранние фазы отношений между членами великой тройки ощущение неуспеха англо-американского плана приводило к упомянутым выше общим обвинениям против дипломатии, то в более позднее время они стали получать более конкретный характер. Недавно вышедшая книга В. Буллитта, некогда эмиссара президента Вильсона в таинственную страну Ленина, а затем первого американского посла в СССР, является как бы обвинительным актом против Франклина Рузвельта. Этот последний, думает Буллитт, сделал ставку на свою способность приручить Сталина и запретить его в тройку великих демократий — и проиграл. Советскому союзу была оказана огромная и решающая помощь, а в обмен не взято ничего. Следовало эту помощь обусловить формальными и открытыми обещаниями советского правительства — провести послевоенные границы по соглашению с союзниками и отказаться от всякого вмешательства в дела держав, за ними лежащих.

Легко подавать хорошие советы задним числом. Но данный совет вряд ли можно признать правильным. Допустим, что советское правительство подписало бы названные выше обещания. Что помешало бы ему поступить так, как оно поступало за последние годы? К тому же, неверно, будто обещаний взято не было. Независимость Австрии была обещана в Москве в ноябре 1943 года, свободные выборы в Польше и Югославии — в Ялте, в январе 1945 года, демократическое решение вопросов, касающихся германских спутников — в Потсдаме, в июле-августе 1945 года. Эти обещания, открытые и формальные, были нарушены. Почему более священными оказались бы те, на которых задним числом настаивает Буллитт? Советскому самоуправству помешало бы только присутствие англо-американских армий в Польше, Венгрии и Румынии. Но против этого была география и конкретная стратегическая обстановка.

Пойдем, однако, дальше. Оказать всемерную помощь СССР требовалось жизненными интересами Соединенных Штатов и Англии. Без этой помощи, СССР был бы вероятно разгромлен германскими армиями. Много раз его судьба висела на волоске, и этот волосок оборвался бы без англо-американских танков, грузовиков, аэропланов; а без СССР, точнее, после разгрома СССР, не было бы никаких шансов нанести Германии решающее поражение. Советские вожди все это отлично пони-

мали. Это давало им выигрышное положение в переговорах о помощи, если бы таковая была обусловлена обещаниями. Советы могли условия отклонить, а помощь все равно получили бы; впоследствии они стали бы ссылаться на то, что предъявленные условия были затем взяты назад, из чего вытекало бы, что союзники молчаливо согласились на односторонние действия СССР.

Но самая постановка условий могла привести к непоправимой беде. Не следует забывать, что, вплоть до победы, положение было трехугольным, т. е. определялось существованием трех станов: демократического, коммунистического и фашистского. Только благодаря случайности — безумному решению Гитлера напасть на Россию — создался демократически-коммунистический фронт против фашизма, тогда как перед тем, в течение 22 месяцев, существовал коммунистически-фашистский фронт, направленный против демократий. Пока шла война, трехугольник всегда мог перестроиться. Предложение условной помощи могло быть истолковано советами, как лицемерный акт, свидетельствующий о возможности возврата к мюнхенскому решению трехугольника, которое, они думали, было демократически-фашистской коалицией против коммунизма. Естественным решением трехугольника оказался бы тогда сепаратный мир СССР с Германией!

Иногда острие упрека переносят с дипломатии на стратегию. Не надо было, говорят, союзникам высаживаться в Нормандии и тем делать неизбежной встречу с советскими армиями где-то в средней Европе. Надо было сосредоточить силы в Италии, высадиться в Далмации и идти на северо-восток, чтобы встретиться с советскими армиями на Карпатах. Такой план, утверждают, был разработан, но встретил сопротивление Сталина, которого в Тегеране поддержал Рузвельт.

Верны-ли слухи, мы не знаем. Но всякий, кто знает топографию приморской части Югославии, признает, что план был неосуществим. Война в Далмации и Боснии приняла бы тот же затяжной характер, как в Италии, и могла вылиться в траншейное противостояние на подобие первой мировой войны. Кто знает, не затянулась ли бы тогда вторая война на долгое время? Если, как говорят, за Нормандию против Далмации высказался Рузвельт, то он поступил совершенно правильно, отдав первенство стратегическим соображениям против политических.

Решения, принятые в 1942—1945 г.г., привели к большому злу — советскому господству в средней и юго-восточной Европе. Но еще большим злом было бы господство Германии

над всей континентальной Европой, не только к востоку, но и западу от линии Любек-Триест.

Естественно теперь поставить вопрос, когда же были сделаны решающие ошибки, приведшие к скачку коммунистической диктатуры с рубежей 1939 года до линии Любек-Триест? Понятно, он стал возможным потому, что, с устранением Германии, образовалась политическая пустота, в которую стихийно устремился СССР. Было ли, значит, ошибкой устранение Германии? Конечно нет. Оно стало неизбежным с той поры, как Германии было дано утвердиться в национал-социалистическом облике. Решающие ошибки были сделаны в те трагические дни, когда спала не только Англия, но и Франция, и Соединенные Штаты. Теперь известно, что твердый отпор восстановлению всеобщей воинской повинности в Германии (1935 год) и введению ее военных сил в рейнскую область (1936 год) не встретил бы серьезного сопротивления. Новый и еще непрочный режим Гитлера не пережил бы унижения. Тогда устраненным оказался бы его режим, но не Германия; вторая мировая война, вероятно, не разразилась бы, и не образовалась бы пустоты в средней и юго-восточной Европе...

Ошибки прошлого непоправимы, как в свое время были непредвидимы, в их полноте, печальные последствия. Мы живем в мире, в котором были и Мюнхен, и вторая мировая война, и прорыв вперед коммунистической диктатуры. Мы живем к тому же в мире, определяемом победой коалиции, а исторический опыт показывает, что трудно дается в таких условиях замирение. В 1814 году, после победы великой коалиции над Наполеоном, чуть было не разразилась война между Россией и Пруссией с одной стороны и Англией, Австрией и Францией — с другой, из-за Польши и Саксонии. В 1918-1919 г.г., после победы тогдашней коалиции над центральными державами, Италия быстро отошла в сторону, так как оказались неудовлетворенными ее вождения, а, по словам Пуанкаре, только русская революция спасла мир от новой войны против России, которая должна была получить Константинополь и проливы. В этих случаях конфликты между победоносными союзниками благополучно рассосались. Но в 1913 году подобный же конфликт между победителями Турции в первую балканскую войну привел ко второй балканской войне между бывшими союзниками, а в 18-м веке и раньше часто происходили перегруппировки внутри коалиций, в результате которых вчерашние союзники становились врагами. Все это происходило несмотря на то, что принципиальных разногласий между союз-

никами не было, и спорили они только о том, как разделить добычу.

В конфликте наших дней трудности особенно велики, потому что полярно противоположны принципы замирения, выдвигаемые победителями. Демократиям трудно, хотя и не невозможно, ужиться с коммунистической диктатурой. Они не претендуют на то, чтоб СССР перестроился на их лад, но считают естественным и справедливым, чтобы за его пределами общественный и политический строй народов определялся их принципами. Коммунистическая диктатура готова терпеть дальнейшее существование капиталистических демократий — от ленинских надежд на близость времен и сроков в Москве давно отказались — но считает естественным и справедливым, чтобы пределы господства ее принципов были широко раздвинуты, и чувствует себя ущемленной всякий раз, как такому продвижению ставятся препятствия.

В этом основном конфликте обстоятельства были более благоприятны для коммунистической диктатуры, нежели для демократий, и на складывающийся на наших глазах послевоенный мир один из великих победителей потому наложил больший отпечаток, нежели остальные. Это естественно вызывает опасения, как бы по принципу инерции успехи СССР не продолжились и не привели к дальнейшему умалению свободного от коммунистической диктатуры мира. Чтобы такое неблагоприятное развитие предотвратить, выдвигаются разные планы. Одним из новейших является план Буллита, в сущности повторяющий план Липмана. Согласно ему, в составе Объединенных Наций следовало бы образовать Лигу защиты демократии, из Соед. Штатов (с латино-америк. спутниками), Британской Империи, Китая и европейской федерации, включающей отдельные государства, на которые должна быть раздроблена Германия, и все что возможно на юго-востоке Европы. Такой план вряд ли осуществим, так как никому не удалось еще найти приемлемой формулы для европейской федерации, и потому, что европейские государства опасаются заранее занять позиции в возможном вооруженном конфликте, дабы не навлечь на себя первого удара. Сторонникам плана демократической лиги стоит задуматься над тем фактом, что Франция имеет союзный договор с СССР и только начинает переговоры о таковом же с Англией.

Есть, конечно, и другой план разрешения конфликта, на путях взаимного понимания и сговора. Его выдвигает Г. Воллес, который, однако, не может предложить ничего более конкрет-

ного, чем обмен студентами и семенами, выведенными на селекционных станциях.

Что же тогда делать? Бывают болезни, которые лечатся течением времени, при бдительном стоянии на страже против заноса ее на еще непораженные участки. Такова и серьезная болезнь, какой являются разногласия между победителями. К счастью, стоять на страже приходится англичанам и американцам, а это относится к числу их национальных дарований; труднее было бы выдержать такую роль французам или русским. Но стояние на страже должно быть не только бдительным, но и предусмотрительным. Должна быть проявлена забота о том, чтобы надежда не оставляла людей, свободных от коммунистической диктатуры, чтобы у них не опустились руки, чтобы они не заразились той болезнью, которая угрожает постигнутым катастрофами народам. Это трудная и ответственная задача. От ее выполнения зависит, будет ли в мире только один торжествующий победитель, или же он будет вынужден окончательно признать, что победителей было и есть три.

Н. С. Тимашев.

ГАМЛЕТ 1947

This was a man!

(Антоний о Бруте)

He was a man.

(Гамлет о своем отце)

1.

Когда пишется эта статья, английская шекспировская труппа играет в Нью Йорке четыре произведения Шекспира (включая «Гамлета») и «Вольпонэ» Бен Джонсона. В Англии ободренный грандиозным успехом своего фильма «Генрих V», и, поразив Лондон своим воплощением Лира в театре, замечательный актер и режиссер Оливьер работает над кинематографической версией «Гамлета». Из Парижа сообщают о постановке «Гамлета» в новом переводе Андрэ Жида, а Comédie Française готовит того же «Гамлета» в другом новом переводе. Английская труппа совершила триумфальную поездку по Бельгии и Голландии, играя «Отелло» и «Гамлета» (а также «Кандиду» Шоу). О превосходной постановке «Гамлета» сообщали также из Берлина. Это — примеры, взятые почти что на удачу; их можно было бы значительно умножить. Все чаще приходится читать о «возврате к Шекспиру», «шекспировском ренессансе» и т. п. Особенно явственно усиливается интерес к «Гамлету».

Возрождение интереса к Шекспиру... Но разве этот интерес когда-нибудь умирал? Конечно, Шекспира не переставали читать и ставить на сцене, его не переставали изучать, о нем все время писались книги и статьи. И о Шекспире вообще и об его отдельных произведениях, а в особенности о «Гамлете». Библиография литературы о «Гамлете» за период от 1877 до 1935 включает 2167 заглавий книг, очерков и статей. Тем не менее можно говорить об относительном замирании или воз-

рождении интереса в различные периоды. И в количественном отношении — широта круга увлекающихся Шекспиром, — и в смысле большей или меньшей остроты и интенсивности проявляемого интереса. От периода к периоду менялась степень созвучности Шекспира современности, степень его актуальности. За последнее время он опять становится более актуальным, в чем и состоит «возврат к Шекспиру». А по ряду объективных, отчасти здесь указанных признаков, и по моему субъективному ощущению, мне представляется, что именно «Гамлет», и без того в течении веков самое популярное из шекспировских творений, приобретает в наши дни особенно жгучую актуальность, как будто Датский принц, действительно, становится настоящим «героем нашего времени».

Кроме этого усиленного интереса к Шекспиру и часто в связи с ним, за последние годы наблюдалось — по крайней мере в Англии и Америке — также оживление интереса к Елизаветинской эпохе вообще, к полному брожению и противоречий времени позднего английского Ренессанса, причем некоторые авторы проводят параллель между той эпохой и нашей современностью. Обе эпохи рассматриваются не только как переходные, но и как совмещающие в себе глубокое внутреннее противоречие вследствие того, что человеческой мысли открываются такие перспективы, к которым данное общество долгое время не может приспособиться. Так, господствующее мировоззрение Елизаветинской эпохи в основах своих оставалось еще традиционным средневековым, когда уже начинался «век Коперника». Ну а мы, по выражению одного автора, «одной ногой находимся в атомном веке, а другой в 18-м столетии». Чуткий наблюдатель происходившего вокруг него духовного брожения, Шекспир — такова одна из теорий — отразил его в своем творчестве и отразил трагически, потому что сам он принадлежал не к вольнодумцам-реформаторам, а к консерваторам-традиционалистам (однако, как мы увидим, с очень существенной оговоркой). В этом освещении именно «Гамлета» следует рассматривать как трагедию, с грандиозной силой выражающую этот кризис сознания.

Есть ли в этом решение «загадки Гамлета»? В современном шекспироведении существует сильная и, на мой взгляд, очень здоровая тенденция вообще отрицать наличность такой загадки. «Можем ли мы, зная Шекспира, предполагать, что он написал самую длинную из своих драм для того, чтобы скрыть, что он думал?» (Sir Arthur Quiller-Couch). «Загадочность» Гамлета для более поздних поколений объясняется просто тем, что они

уже не знали и не понимали того, что современникам Шекспира было совершенно естественно и понятно. За последние десятилетия большой прогресс в шекспироведении состоял прежде всего в том, что оно стало более историчным, стараясь использовать все то, что выяснило историческое исследование Елизаветинской эпохи. Благодаря этому стало возможно восстанавливать, как воспринимала драмы Шекспира его аудитория, и вследствие этого множество неясностей нашло вполне удовлетворительное объяснение.

Есть очень простые вещи, которые часто упускаются из виду или недостаточно оцениваются. Что может быть проще и несомненнее того, что Шекспир писал для театра, и что каждая его трагедия или комедия может быть вполне понятна только, если мы или видим ее на сцене или, читая, не забываем, что это театр? Но это значит, что каждая сцена, каждый момент действия должны во-первых производить впечатление, как таковые, а во-вторых, в их последовательности осуществлять определенную театральную динамику: нарастание драматизма, чередование напряжения и относительного спокойствия, обостряющие ожидание приостановки действия и т. д. Все ли в каждой сцене полностью согласовано с тем, что говорится в какой либо другой сцене (в особенности далеко отстоящей по времени действия), может быть совершенно несущественным, потому что зритель, захваченный каждой данной сценой и динамикой всей драмы, частных противоречий вообще не замечает. Гамлет появляется, как молодой студент, а в сцене на кладбище ясно указано, что ему 30 лет. Это очень волнует многих комментаторов. — Что хотел Шекспир этим сказать? Не то ли, что Гамлет пробыл в Виттенберге в качестве студента не менее 10 лет, и что он уже с самого начала появляется на сцене, как «старый студент»? Никакие гадания делу не помогут. Рукописи Шекспира не сохранились. «Гамлет» вообще, повидимому, окончательной редакции не получил. Возможно, что Шекспир при одной из переработок просто почему либо не позаботился устранить возникшее противоречие. Но существенно то, что в сцене на кладбище Гамлет высказывает мысли, которые были бы неестественны в устах 20-летнего юноши, но вполне могли быть высказаны 30-летним человеком. И я не думаю, чтобы много зрителей или читателей — исключая комментаторов — вообще заметили это противоречие. А некоторых очень существенных противоречий мысл и не заметили и многие комментаторы.

Гамлет, как театральное произведение, принадлежит к

популярному в то время типу «трагедий мести», образцом для которых служили трагедии Сенеки. Главным содержанием этих трагедий было отсрачивание, оттяжка (delay) выполнения акта мести, которым трагедия кончилась. Если бы Гамлет убил короля сейчас же после того, как дух отца открыл ему тайну преступления, то из этого не вышло бы пяти актов трагедии (Stoll). Шекспировского зрителя колебания Гамлета нисколько не удивляли: так и должно было быть в такой трагедии, интерес которой заключался в том, чем заполнялась «оттяжка». И в том, как ее заполнил Шекспир, как он мотивировал колебания Гамлета, проявились то новое, что он внес в искусство трагедии, и его несравненная гениальность, давшая «Гамлету» совершенно исключительное место в мировой литературе. Выполнение мести отсрачивается у Шекспира не вследствие внешних препятствий (хотя бы потому, что король хорошо охраняется), а вследствие препятствий, заложенных во внутреннем мире Гамлета. Шекспир создал трагедию, основанную на самоанализе героя. Самоанализ и был тем новым, что Шекспир внес в художественную литературу, следуя — чтобы уже здесь подчеркнуть эту очень существенную связь — тому, что Монтэнь сделал в своих «Опытах». Гамлет явился первым законченным образом европейского интеллигента Нового времени в художественной литературе, каковым в истории мысли вообще был Монтэнь.

Магическая сила «Гамлета» выражается в том, что он захватывает нас, несмотря на то, что мы просто не понимаем многого, что было совершенно понятно современникам Шекспира. Но из этого непонимания возникло множество недоразумений, которыми изобилует литература о «Гамлете». Мы чувствуем, что трагедия Гамлета есть трагедия человека. Но почему это так? Почему убийство отца его братом и неверность матери получают гораздо большее значение, чем только — хотя бы и потрясающая — трагедия сына? Потому ли, что как отмечают некоторые комментаторы, Гамлет отличается склонностью к обобщениям? Почему мы не воспринимаем, как чисто эмоциональное преувеличение, восклицание Гамлета: «Распалась связь времени. Зачем же я сковать ее рожден?»

(The time is out of joint; o cursed spite
That ever I was born to set it right!)

Шекспир заставляет нас чувствовать внутреннюю правду изображаемых им переживаний, несмотря на то, что они обу-

словлены совершенно чуждым нам мироощущением. Мы можем наслаждаться «Гамлетом» и страдать вместе с его героем, не имея никакого понятия об этом мироощущении. Но знать его нужно, чтобы избегать кривотолкований, которые многим мешают полностью воспринять то, что в «Гамлете» так сильно и... так актуально.

В Елизаветинскую эпоху еще не было изжито средневековое и по существу глубоко оптимистическое представление о видимом мире, как о трех параллельных сферах, о трех созданных Богом гармониях, каждая из которых представляет собой иерархию с длинным рядом ступеней, поднимающихся до высшего и центрального пункта, и между которыми существует постоянное взаимодействие. Земля, вокруг которой гармонически вращаются солнце и планеты, является центром космической сферы. Царство природы возглавляется «венцом творения» человеком. И третья сфера, человеческое общество, также построенное в строго иерархическом порядке, в каждой своей конкретной форме возглавляется главой государства — как правило, королем. Эта схема «цепи бытия» не была единственной — существовали различные варианты, и мы передаем здесь «елизаветинское мировоззрение» в упрощенной форме, но именно в той, которая играет большую роль у Шекспира*). Только напомним, как у Шекспира грозные события в человеческой жизни совпадают с грозными явлениями природы или предвещаются ими. Это было, как я упомянул, мироощущение в основе глубоко оптимистическое и уделявшее человеку высокое место над животными и приближающее его к ангелам. Нарушения гармонии, конечно, не отрицались: их существование было слишком очевидно, но все должно было приводить к восстановлению гармонии. Для человека источником зла был первородный грех, но искупление открыло путь к восстановлению гармонии и в этой сфере. В «Гамлете» же Шекспир дает почувствовать, что в жизни происходит нечто, что подрывает самые основы оптимистического мироощущения, вызывая сомнения в свойственной этому мироощущению высокой оценке человека. То, что Гамлет узнает от духа своего отца, получает гораздо более всеобъемлющее значение, чем то, которое может иметь личная драма сына.

Гамлет говорит об отце, что он был человеком, т. е. идеаль-

*) Для более полного ознакомления см.: E. W. M. Tillyard. *The Elizabethan World Picture*. New York 1944 and Theodore Spencer: *Shakespeare and the Nature of Man*, New York 1943.

ным образом человека. И что же произошло? Король Гамлет был убит своим братом, и убийца стал королем, т. е. тем высшим центральным пунктом общества, которым должен держаться весь порядок общественной жизни. Мать Гамлета, подчиняясь животным инстинктам, изменила своему мужу, воплощавшему высокий идеал человека, и отдалась представителю гораздо более низкого человеческого типа. (Все это высказано у Шекспира без малейшей неясности и чрезвычайно ярко). Гамлет-сын даже подозревал мать в соучастии в убийстве. Но еще до встречи с духом отца он уже был потрясен тем, что его мать сейчас же поспешила выйти замуж. Она — человек, возвышающийся над всеми животными — оказалась даже ниже животных: «зверь без разума и смысла грустил бы дольше». Выйдя замуж за брата своего мужа, она совершила страшный грех кровосмешения: обстоятельство, имеющее большое значение, но многим комментаторам только дающее повод указать на различие моральных понятий той и нашей эпохи.

Вопрос о кровосмешении и о том, что таковым считать, имел во время Елизаветы огромное актуальное значение. Елизавета была дочерью Анны Болейн. Чтобы жениться на Анне, Генрих Восьмой должен был развестись с Катериной Арагонской. Повод для развода он нашел в том, что Катерина раньше была женой его брата. На этом основании он заставил церковь объявить его брак недействительным и женился на Анне Болейн. Но Рим не дал на это своего согласия, и развод Генриха привел к разрыву с Римом. Таким образом, именно вопрос о том, рассматривать ли брак с бывшей женой брата как кровосмешение (чем такой брак по существу не является), приобрел огромное историческое значение. Во время царствования Елизаветы вопрос этот оставался политически актуальным. С католической точки зрения брак с Катериной Арагонской был расторгнут незаконно, а стало быть брак с Анной Болейн был недействителен, и Елизавета была незаконной дочерью, не имевшей прав на престол. Это и выражает у Шиллера Мария Стюарт, говоря о Елизавете:

Прикосновение незаконнородной дщери
Престол Британии позорит и сквернит.

В «Гамлете» Шекспир занял по этому вопросу определенную позицию: брак с женой брата клеймится, как кровосмешение.. Оправдывать такой брак значило тогда считать Елиза-

вету не законным монархом, а узурпатором, что представляло страшную угрозу для всего порядка государственной жизни, которым Шекспир чрезвычайно дорожил. Когда Шекспир создавал «Гамлета», проблема уже не имела прежней остроты, но все же для зрителей это было не второстепенной деталью, а указанием на то, что и в этом отношении поступок короля Клавдия и матери Гамлета подрывал самые основы государственного порядка.

Служившее исходным пунктом трагедии преступление разрушило порядок в сфере человеческого общества, поведение королевы Гертруды ставило ее ниже животных и тем ставило под вопрос порядок в сфере земной природы. И появление пришельца из загробного мира указывало на потрясение всего миропорядка. Нам чужды эти представления, но они дали повод Шекспиру развернуть перед нами трагедию человека, которая нам близка и в наше время воспринимается нами особенно остро.

2,

Человек — венец творения... «Какое удивительное создание человек! Как благороден его разум! Как безграничны его способности! В облике своем и движениях как выразителен он и чудесен! Поступками он подобен ангелу, познанием божеству. Красота мира! Венец творения!» Эти слова Гамлета очень часто цитируются. Один русский шекспировед (М. М. Морозов) говорит по поводу них, что Гамлет «задумался над самим собой и увидел в себе, человеке, неисчерпаемые силы»^{*)}. Но цитату надо продолжить, потому что Гамлет сейчас же вслед за этим говорит: «но что для меня эта квинтэссенция праха?» (“And yet to me, what is this quintessence of dust?”). Гамлет вовсе не открыл в человеке неисчерпаемых сил, а сначала воспроизвел, говоря с Гильденштерном и Розенкранцом, привычное для них, для того времени традиционное, возвеличение человека, а затем сейчас же противопоставил ему совершенно противоположную оценку. И если в другой сцене Гамлет говорит Горацио:

Дай человека мне
Свободного от рабства страсти,
И я его навеки заключу,
Не только в глубине души и сердца,
Но в самом сердце сердца моего

^{*)} История английской литературы. Издание Академии Наук СССР, Москва, 1945. Коллективный труд. Глава о Шекспире написана М. М. Морозовым.

— то не значит ли это, что Гамлет считает такого человека редчайшим исключением? Не выражает ли это глубоко пессимистическую оценку человека и вместе с тем полный разрыв с традиционным оптимистическим воззрением? И, если в 1-м акте сожаление о том, что «Всевышний установил свой закон против самоубийства» еще могло быть объяснено крайней эмоциональной возбужденностью Гамлета, то это никак уж не применимо к сосредоточенному раздумью монолога: «Быть или не быть», в котором Гамлет говорит о человеческой жизни с глубочайшим пессимизмом, приводя страх перед тем неизвестным, что ждет после смерти, как единственный довод против самоубийства.

То богатство мыслей, которое Шекспир вложил в «Гамлета», нельзя свести к одной формуле, но по крайней мере одной из основных тем является вопрос: «что же такое человек?» И это есть тот вопрос, который вынужден ставить себе Гамлет 1947 года, оглядываясь на совершенное за последние десятилетия безмерное множество злодейств, казавшихся до того столь же невероятными, как казались Гамлету злодейство его дяди и постыдное поведение его матери. У Шекспира постановка Гамлетом вопроса о природе человека выражала глубокое сомнение в оптимистическом мировоззрении, господствовавшем в Елизаветинскую эпоху, и которое сам Шекспир до того разделял. В наше время тот же вопрос выражает не менее глубокое сомнение в характерной для 19-го века вере в прогресс, в процесс совершенствования человека и человеческого общества. Гамлетовский вопрос включает в себе сомнение в ценности человеческого разума, который и считался высшим отличием человека от животных, свидетельством его, казалось бы, неоспоримого превосходства над ними. Но именно в разуме Гамлет открывает источник человеческой слабости. Разум парализует волю, размышление препятствует переходу от прекрасного решения к соответствующему действию, мешает бороться со злом: «сознание делает нас всех трусами». Гамлет говорит не только о себе, но о «нас». И можем ли мы не чувствовать, что это относится и к нам в буквальном смысле, к нашему времени, когда вместо ожидавшегося торжества разума мы видим ужасающий нас разгул инстинктов, казалось бы, уже преодоленных цивилизацией, и когда не разум, как мы его понимали, а хитрость братоубийцы Клавдия оказывается основой наиболее успешного государственного искусства?

Но как ни бесспорно, что основным тоном «Гамлета» является глубокий пессимизм, самый факт появления у Шек-

спира этого пессимизма остается и, вероятно, останется без удовлетворительного объяснения. Что то произошло в жизни Шекспира между тем временем (1598 год), когда он писал «Генриха 5-го», и временем создания «Гамлета» (наиболее вероятная дата для последней версии — 1601 год), и уже в «Юлии Цезаре», написанном вскоре после окончания «Генриха 5-го», начинает чувствоваться, что Шекспир вступает в период разочарования, сомнений и — на некоторое время — безнадёжности. «В жизни Шекспира должен был иметь место какой то внезапный перелом», пишет Шюкинг*), и все попытки объяснить возникновение гамлетовского пессимизма без резкого изменения в психологическом состоянии и духовном развитии Шекспира оказывались до сих пор несостоятельными. Но отсутствие биографических данных не позволяет установить, что же именно произошло, и шекспироведам, в данном случае в особенности «гамлетоведам», приходилось ограничиваться гипотезами. Имеется гипотеза тяжелого и длительного заболевания, гипотеза большой личной драмы (по мнению некоторых, драмы ревности), но все это только гадания. Иначе обстоит дело с гипотезой, что решающее влияние на Шекспира было оказано гибелью Эссекса (февраль (1601 г.)). Шекспир не мог не быть глубоко затронут заговором Эссекса уже потому, что одним из главных соучастников был Саутгемптон, к которому Шекспир был близок. В «Генрихе 5-м» имеется прямое упоминание Эссекса с выражением надежды на его триумфальное возвращение из Ирландии. В «Юлии Цезаре» можно видеть предостережение против цареубийства, приводящего совершивших его к гибели. Некоторые авторы думают, что Шекспир хотел предостеречь этим Эссекса и его друзей от вступления на путь восстания против Елизаветы. В самом «Гамлете» в бунте Лаэрта можно найти черты сходства с бунтом Эссекса. Саутгемптону казнь была заменена пожизненным заключением, и он находился в Тауэре, когда Шекспир работал над «Гамлетом». К имеющимся догадкам прибавлю свою, а именно, что разочарованию Шекспира в человеке могла способствовать та предательская, поражающая низостью и коварством роль, которую сыграл в деле Эссекса Фрэнсис Бэкон, этот изумительно блестящий ум, казалось бы, так ярко воплощавший в себе величие человеческих возможностей.

Гораздо более положительно можно говорить о том идейном влиянии, которое Шекспир испытал за годы, предшествую-

*) Levin L. Schuecking. The Meaning of Hamlet.

вавшие созданию «Гамлета», и которое особенно сильно сказалось именно в «Гамлете». Это было влияние Монтэня. Здесь мы не нуждаемся ни в каких домыслах, так как бесспорные отзвуки Монтэня мы находим в самом тексте «Гамлета», в котором эти отзвуки появляются у Шекспира впервые. Правда, в «Венецианском Купце» имеется замечание Порции о пытке, посредством которой людей заставляют признавать все, что угодно ("you speak upon the rack, where men enforced do speak anything") — замечание, очень напоминающее то, что писал о пытках Монтэнь; однако, нет никаких оснований сомневаться в том, что Шекспир мог высказать эту мысль совершенно самостоятельно. Но в этих, для того времени очень смелых словах, выразилась глубокая человечность Шекспира*), роднившая его с Монтэнем. Знакомясь с «Опытами» Монтэня, Шекспир должен был находить многое, отвечавшее его заветным мыслям, но также и многое, что для него было ново, и с чем он не всегда мог или хотел согласиться. Влияние Монтэня на Шекспира не надо понимать в том смысле, что Шекспир просто воспринял ряд мыслей Монтэня. Именно «Гамлет» показывает, что дело обстояло иначе, что знакомство с Монтэнем поставило перед Шекспиром ряд вопросов, в которых Гамлет старается разобраться, иногда прямо возражая на определенные мысли Монтэня. Монолог «Быть или не быть» в известном смысле почти что является диалогом с Монтэнем, ответом на главу «Опытов» о том, что «философствовать — это учиться умирать», — главу, в которой Монтэнь говорит, что в худшем случае смерть может, когда нам угодно, положить конец страданиям и трудностям нашей жизни. Гамлет ставит вопрос о том, является ли это выходом, и объясняет, что нас от этого выхода удерживает. Но в последнем акте, принимая вызов на состязание с Лаэртом, Гамлет уже говорит о смерти, цитируя Монтэня («что случится теперь, то не случится в будущем» и т. д.). «Надо всегда быть готовым отправиться в путь», говорит Монтэнь; «готовность — это все», откликается Гамлет. И в том, что именно Гамлет с такой остротой выражает тоску по человеку, не являющемуся рабом страсти, трудно не чувствовать духа Монтэня, настаивавшего на том, что человек должен быть господином своих страстей.

Но всего важнее то, что Монтэнь нанес сокрушительный удар традиционной схеме гармонии природы и места в ней

*) "The wisdom and the pity of the divine poet exquisitely reveal themselves in those light words" (Lytton Strachey. Elizabeth and Essex).

человека — «венца творения». Монтэнь самым решительным образом отрицал, что человек занимает в каком либо отношении исключительное место среди животных. В своей знаменитой «Апологии Рэймонда Себонда» он посвящает этой теме десятки страниц, перечисляя преимущества различных животных перед человеком в том или ином отношении и не устая, иногда прямо с какой то яростью, подчеркивать слабости и пороки человека. Человек есть одно из животных, и Монтэнь убежден, что между многими людьми и многими другими людьми существует большее различие, чем между многими людьми и многими животными. Преувеличения Монтэня, для нас очевидные, навряд ли ослабляли действие его критики человека на тех читателей, в которых уже шевелились сомнения, которые чувствовали противоречие между традиционным возвеличением человека с окружавшей их действительностью.

В своей работе «Долг Шекспира Монтэню» Джордж Коффин Тэйлор отыскивает у Шекспира места — фразы или отдельные выражения — или прямо заимствованные у Монтэня или им навеянные. Наличие таких «монтэневских» мест Тэйлор устанавливает у Шекспира, начиная с «Гамлета», в котором таких мест и больше всего, а именно 51, тогда как в стоящем на втором месте «Короле Лире» их 23, в «Троиле и Крессиде» — 16, в «Макбете» — 11 и т. д. Правильность отдельных наблюдений Тэйлора и его статистику можно оспаривать. Но читая параллельно «Гамлета» и некоторые «Опыты», включая некоторые страницы «Апологии», нельзя не прийти к заключению, что по крайней мере в «Гамлете» «долг Шекспира Монтэню» был очень большим. Монтэнь чувствует и в словах Гамлета о «квинтэссенции праха», и в сопоставлении человека с животными, и в резких, даже злобных замечаниях о человеческом разуме. Это не значит, что сам Шекспир целиком принял воззрения Монтэня, как они изложены в «Апологии». Гамлет не делает окончательных выводов о природе человека. Монтэневская критика человека отразилась у Шекспира в постановке вопроса: что же такое человек? Над этим вопросом мучительно бьется мысль Гамлета, как бьется она столь же мучительно у его духовных потомков в наши дни.

Размышления Гамлета основываются на его наблюдениях над людьми: с одной стороны над королем и королевой, над Розенкранцем и Гольденштерном, с другой над Горацио и в другом смысле над Фортинбрасом. Но также и особенно интенсивно на самонаблюдении, на суровой критике себя самого, своего поведения. И это — монтэневский метод сочетания

наблюдений над другими людьми с беспощадным самоанализом. «Я изображаю самого себя», писал Монтэнь в предисловии к своим «Опытам». Введя «Гамлетом» самоанализ в художественную литературу, Шекспир создал исходный пункт развития, которое проявилось в огромном психологическом богатстве европейской драмы и европейского романа, и высшими пунктами которого были в одном разветвлении его основной линии Достоевский, а в другой — Пруст.

Но не забудем и другого, что сближает Шекспира и Монтэня — общих им обоим глубокой человечности, их искания правды и их высокого понятия о человеческом достоинстве — у Монтэня, несмотря на все, что он сделал, чтобы снять человека с воздвигнутого ему пьедестала и, казалось бы, унижить его даже по сравнению с животными. «Разбито благородное сердце» говорит Горацио над трупом Гамлета. То же самое можно было сказать о Шекспире и о Монтэне.

3.

Гамлет 1947 года тоже чувствует, что распалась связь времен. Ему не нужно явления призраков, чтобы узнать о совершенных злодеяниях. Он подавлен нагромождением фактов, которые говорят сами за себя, говорят о возрождении варварства, угнетавшего Монтэня и Шекспира, о триумфальном шествии зла, грозящего уничтожить все, что ему, Гамлету, дорого. Он сгибается под бременем ответственности, которую налагает на него обязанность «выправить время». Он знает больше, чем его предок Елизаветинской эпохи. Он провел даже не 10 лет в Виттенберге, а целые столетия в Сорбонне и в Гейдельберге и в Москве, и в Оксфорде и Кэмбридже, и в Гарварде и Йэле, в бесчисленных университетах и научных институтах. Одной ногой он уже вступил в атомный век, возвешенный двумя взрывами атомных бомб, уничтоживших сотни тысяч беззащитного населения. И он не знает, с радостью или с отчаянием должен он вступить в этот новый век.

Что делать? Как бороться со злом? В голове Гамлета мелькает мысль: воспользоваться атомной бомбой для борьбы со злом, пока эта бомба в руках тех, кто представляет ценности его цивилизации — свободу, достоинство человеческой личности, принцип самоценности человека, все созданное веками того, что он считал истинным прогрессом человека. Но бросить атомные бомбы на кого бы то ни было, ведь это значит уничтожить огромное количество этих же самоценных человеческих жизней и, быть может, начать процесс полного разрушения

этой же, дорогой ему цивилизации. А затем он думает о том, что сделали бы и что, может быть, сделают, имея атомную бомбу, король Клавдий или Лаэрт: Клавдий, прибегнувший для овладения властью к братоубийству, или Лаэрт, который, поставленный, как и Гамлет, перед задачей отомстить за смерть своего отца, без малейших колебаний решает воспользоваться отравленным оружием. А сколько их теперь, Клавдиев и Лаэртов! Они торжествуют уже на большей части земного шара, они приближаются к террасе Эльсинора. Бросать на них атомную бомбу, не знающую правых и виноватых? Можно-ли уничтожить зло злом? И как достичь торжества добра, если зло можно победить только злом?

Гамлет 1947 года снова задумывается над вопросом: что же такое человек? Он оглядывается на прошедшие века. Ведь это не была только цепь преступлений. Казалось бы, человек все больше преодолевал свою темноту и жестокость. Исчезли костры, на которых сжигались инакомыслящие, прекратились пытки, которыми всех можно было заставлять признаваться, в чем угодно. Человеческое знание открыло новые миры, создало чудеса техники. Создано множество дивных произведений искусства. «Какое удивительное создание человек! Как благороден его разум! Как безграничны его способности!» Но теперь опять... Человеческое знание применяется для искусства убивать, угнетать и мучить людей. Исчезли костры? Но появились газовые камеры. Пытки? С какой изысканной техникой строители нового общества заставляют теперь своих вчерашних соратников сознаваться в каких угодно преступлениях. Ценность человеческой жизни? Миллионы убитых евреев, миллионы крестьян, погибших из-за коллективизации, миллионы томящихся в концентрационных лагерях. Торжество справедливости? Тито убивает Михайловича, преданного вождями демократии.

Гамлет 1947 года задумывается над собой, над своей судьбой, сравнивает ее с судьбой своего предка. Тот открывал новую эпоху, был первым. Может быть, спрашивает себя Гамлет сегодняшнего дня, я — последний, и будущее целиком принадлежит Клавдиям и Лаэртам? Ответа на этот вопрос он еще не нашел. Может быть, к счастью. Потому что, если еще нет утвердительного ответа, то значит есть еще надежда и возможность бороться. Но это также значит, что есть и обязанность собрать и напечь все силы. Готовность — это все. Не только перед лицом смерти, но и перед лицом жизни.

Ю. П. Денике

ПОЭТ В ИЗГНАНИИ

Уже исполнилось десять лет со дня смерти Бориса Поплавского. Что из его творчества сохранилось в печати? Отрывки в прозе, в нескольких случайных эмигрантских журналах, и три сборника стихов: «Флаги», «В венке из воска» и «Снежный час». И осталось еще в памяти нескольких друзей смутное воспоминание о странной, щемящей музыке и о какой-то трагической неудаче, так до конца и не уясненной окружающими, да, пожалуй, и им самим.

Музыка замутненная, непросветленный хаос, вот образ невольно возникающий, когда стараешься вплотную подойти к этой поэзии. И сам он в некоей запутанности видел корни своего творчества: «Как замутняет воду молоко», начинает его рука полу-автоматически вычеркивать фразу на полях французского журнала, и следующая строка, все в том же состоянии полусознания, пытается пояснить: «Печаль любви подчас не изменяет». И дальше, новая попытка что-то распутать:

«Как мы ушли с Тобою далеко
От тех времен, когда не изменяют».

Причем Ты — всегда с большим Т. Это и любимая женщина, и любовь вообще, и Бог, и он сам, невольно изменяющий всему тому, чем больше всего дорожит.

У другого такой метод писания вылился бы в что-то бледное, неопределенно-расплывчатое, тусклое, в конечном итоге — в пустоту. У Поплавского это жизнь, насыщенная содержанием, кровью, болью. Тайна ли в этом языка его, особого выбора слов, бесконечного обдумывания сотни раз переписанных в черновиках фраз, расчета, взвешивания, и его абсолютного слуха, не допускающего и тени фальши в образах и ритме, чтобы не проскользнуло что-нибудь не свое, даром полученное, дешевое, не выстраданное? Так или иначе, это поэзия, где слова умышленно не точны (выбраны так, чтобы смертельно

ранить в области сердца). От нее нельзя оторваться и ее нельзя забыть. Классическая рифма уступает место неожиданностям ассонанса. И постепенно хаос начинает проявляться и из кажущегося нагромождения образов и сновидений вырастает пейзаж, таинственный, но отчетливый, как вечерние гавани с кораблями Клод Лорена.

Поплавскому удалось не дать растерять себя в неощутимом. В слова самые обыденные, но заключавшие для него самое широкое символическое значение, он вкладывал то, что их бесконечно превосходило. Отсюда это частое повторение таких образов, как флаги, окно, река, дорога, облака, ад, снег. И постоянное возвращение к унылому пейзажу летних и зимних парижских улиц или предместий: «Там, за домом городской заставы, где сады на кладбища похожи, улицы полны больных, усталых, разодетых к празднику прохожих».

Это легко могло соскользнуть к декадентскому упадочничеству, и секрет Поплавского в том, что отрыва от реальности у него не получилось: секрет работы над собой и внутренней боли. Он пользовался словами, как музыкант звуками: звук дает образ, но неопределенный, и сейчас же торопится замереть, уступая место другому, похожему, но иному. Такой метод писания стихов очень труден и редко кому удается, ибо поэт все время пребывает на границе соблазна, ради призрака красоты воспользоваться не своим, а чужим, ложным, хотя бы взятым на прокат у Эдгара По. Сам Поплавский, повидимому, об этом думает, когда говорит:

«Певец Мореллы, бояся воды:
Скользит в ней белый венец луны.
Ты не заметишь, как упадешь.
Невесту встретишь, царевну — ложь».

Это указание и для тех, кто будет писать о нем: преодолеть соблазн обволакивать его трудные стихи черезчур туманными комментариями. Итак, попробуем выбраться из состояния хаотичности.

В чем трагедия этой поэзии? В том, что этот исключительно одаренный человек оказался поставленным в трагическое состояние перед миром: эмигрант в квадрате, ибо очутившись на чужой земле не только не сумел на ней ужиться, но отталкивался и от своих собратьев по несчастью, но более удачливых — от тех, кого печатают журналы, от умеющих приспособляться деловых людей: «Оставляю этот мир богатым, ярким,

жадным, грубым, остальным». Так прожил он полтора десятка лет, среди духовной изолированности, снисхождения и насмешек «любителей стихов», заглядывающих после ужина на «вечер поэтов» и разочарованных, что «сегодня оказалось недостаточно смешно».

«Читали мы под снегом и дождем
Свои стихи озлобленным прохожим»,

вспоминает Поплавский.

Углубляясь с годами, этот его разрыв с миром превращался в другое, еще более трудное испытание: вечное сомнение в том, существуют ли на свете настоящая любовь и дружба, не иллюзия ли и они, есть ли еще где бескорыстные отношения между людьми. Не потому ли так ужасно все вокруг, что люди дошли до того состояния, когда уже никто никого не способен любить? Вокруг он видел прикрытое лицемерие, взаимное отталкивание, явную вражду, конкуренцию, волчьи отношения в борьбе за существование, сердечную сухость или безразличие, все под маской улыбок и дружелюбного сочувствия. Для него жизнь была возможна единственно в любви, т. е. в правде чистоты и простоты. И в своих дневниках, стихах, заметках на полях книг, он не перестает утверждать на разные лады, что человек прав лишь в том, чему он может бескорыстно и до конца отдаться.

По своему типу и внешности этот человек был полной противоположностью «упадочному интеллигенту». Сильный, широкоплечий, с большими руками и железными мускулами, он стеснялся, что пишет стихи и выдавал себя за профессионала спорта. Как Платон, он скептически относился к ремеслу поэта, считал порой наводнением всю эту музыку, бесовской прелестью.

— Вот увидишь, откажусь от этой чепухи, займусь делом.

— Но почему же? — не понимает собеседник. Что же тут плохого?

— Видишь ли, Платон был прав, когда хотел изгнать всех поэтов из своей республики, сейчас этого не понимают, или считают благостью философа. Что, на первый взгляд, опасного в том, что кто-то умеет выражать себя в песнях? И сам Платон считал, что красота и добро это одно и то же. Но дело в том, что красота и поэзия это вещи разные. Я ничего не говорю против отвлеченной, холодной античной красоты, в архитектуре, допустим. Но в стихах мы не можем не вскрывать, против

своей воли, внутренний ужас нашего подсознания, всю эту борьбу, разочарования, колебания между огнем и холодом, то, что у других так запрятано, что они и не подозревают ни о чем, — разве что в ночных кошмарах, но кто их помнит при свете солнца? Мы же выпускаем этих демонов гулять на свободе, встречаться с себе подобными, будить их в чужих душах, разлагать... Мы, лирические поэты, поэты субъективного, всегда останемся несозвучными эпохе, и люди правильно делают, когда загоняют нас в подполье или доводят до дуэлей или до самоубийства. И чем лучше стихи, тем они опаснее. Яд, отравы, никакой пользы строительству жизни. Ну, у меня горе, очень жаль, но какое право я имею заражать им всех и каждого. Вагон мчится, пассажиры заснули, вдруг врывается нахал и начинает всех будить, нести свою померещившуюся ему околесину, скажем о том, что через три минуты поезд полетит под откос. Ну, и следует заткнуть ему глотку или выбросить на рельсы.

Разумеется, через час он мог утверждать совсем обратное, что людей следует будить и пр., но ролью своей не гордился и от расплаты за нее не отказывался.

Он умер 32-х лет, из них лишь детство — ровно пол-жизни — провел в России. Жил на границе нищеты, вел полу-голодное существование. Последние, самые зрелые его стихи вошли в изданный после смерти сборник «Снежный час». Первое слово этого заглавия, повидимому, навеяно тоской по родине, о снеге тут упоминается на каждой странице, и как все мы, случайные жители Европы, он буквально пьянел от восторга, при виде падающего снега. Второе слово — предчувствие краткости своего жизненного пути. При жизни ему удалось издать только «Флаги». Здесь он ищет свой путь, еще не знает, должен ли человек до конца пожертвовать собою, или он не имеет на это права. На моем экземпляре «Флагов» он написал так: «Никогда не следует выходить из круга любви (из своего света) на внешний холод, никогда не следует утомлять не любящего тебя ни единым словом». Впоследствии он отказался от второй половины этой заповеди. Но тогда жизнь представлялась ему черезчур неприглядной, а в самом себе он еще не находил достаточно сил, чтобы что-нибудь изменить в мире... «Как странен, как нежен, как тленен этот словесный рай», записывает он. «Бесполезный, бесплодный труд, наполняющий жизнь».

«Болезнью той, которою я болен,
Был болен мир от первых дней греха».

По пустынной вечерней улице убегает в гору, гремя и разбрасывая искры, трамвай. За бетонной оградой плаваются в июльской жаре пыльные пустыри. Через цементный овраг перекинут железный виадук и по нему каждую минуту проносятся поезда. Огромный кирпичный дом населен нищетой.

«И громко, но неизъяснимо сладко.

Пел грамофон, как бы Орфей в аду».

На линии старых фортификаций сохранился с прошлого века сад, пустой и запущенный, занесенный снегом. Таковы пейзажи, на фоне которых разыгрывается спор человека с Христом: «Неужели церковь не ошиблась, и Ты на самом деле принимал участие в творении мира?»

Первое впечатление от «Флагов» было такое: звук чистый и щемящий. Понять трудно, лишь иногда что-то прорвется и ужалит: «О, Морелла, вернись, всё когда-нибудь будет иначе». Тревога, взволнованность. Такое беспокойство, что его удаётся выразить лишь в умышленно приблизительных словах. Весь мир застыл в сновидческом состоянии. Иногда на секунду мерещится, что вот-вот кошмар оборвется и произойдет чудо пробуждения, чудо избавления.

К концу 20-х годов Поплавский созрел и сформировался. Не окончательно, конечно. Он всегда пребывал в процессе становления и напряженного роста, волнения, жизни, не только не переносил покоя, но и не стремился к нему. Он все более овладевал формой стиха и символика образов, какою он выражает себя, все более кристаллизуется. Он нашел родственную себе эпоху, тот серебряный полу-реальный для нас мир Марка Аврелия, когда античная цивилизация кончалась, а новая, христианская, едва намечалась. Его притягивают провинциальные римские города на морском берегу с форумом и гаванью, сохранились его рисунки акварелью таких пейзажей. Вот отрывок, средняя часть из его стихотворения «Стоицизм».

Под зеленым сумраком каштанов

Высыхал гранит темнолиловый.

Хохотали дети у фонтана,

Рисовали мелом город новый.

Утром птицы мылись в акведуке,

Спал на голых досках император.

И уже средь мрамора и скуки

Ад дышал полуденный с Эфрата.

А над замком, под смертельным небом,

Распростерши золотые крылья,

Улыбалась мертвая победа
И солдат дремал под слоем пыли.
Было душно. В неуютной бане
Воровали вещи, нищих брили,
Шевеля медлительно губами
Мы в воде о сферах говорили.
И о том, как отшумев прекрасно
Мир сгорит, о том, что в Риме вечер,
И о чудной гибели напрасной
Мудрецов, детей широкоплечих.
Насмехались мокрые атлеты,
Разгоралась желтая луна.
Но Христос, склонившийся над Летою,
В отдаленьи страшном слушал нас.

Вопросы поэзии и религии все более переплетались в его представлении, в обеих он видит ту область, куда можно укрыться от эксплуатации и злобы. «Человек настолько хитер, записывает он на полях книги, что единственные два вида своего настоящего страдания, страдания от разлуки с человеком и с Богом, сумел превратить в два рода тончайшего интеллектуального самоистязания: Поэзию и Религию».

Но и то, и другое не идиллия, а труд и подвиг. Как часто свет исчезает и следует долгая борьба за свет, надежда, восхищение, пропасть, непонятное исчезновение света, еще борьба, оцепенение, усталость, и тогда наступает в его отношениях с людьми период, считавшийся его друзьями изменой. Но тяжелее всего было ему самому от этих измен, им предшествовала долгая упорная борьба за свет, за благодать. Безблагодатность в любви, какое отчаяние! И на переплетках тетрадей, на корешках книг, всюду находим записи: «Жизнь ужасна». Постепенно в своем арсенале находил он все более точные символы. Куда ведут, на что указывают, что напоминают развешивающиеся по ветру флаги?

...Быстрый взлет на мачту в океане,
Шум салютов, крик матросов черных.
И огромный спуск над якорями,
В час паденья тела в ткани скорбной.
Первым плещет флаг над горизонтом
И под вспышки пушек бодро вьется.
И последним тонет средь обломков
И еще крылом о воду бьется.

В «Снежном часе» он постоянно возвращается к теме скованности, инертности, несвободы, к тому тяжелому свинцовому сну, который вдруг накатывает, когда всей душой жаждешь погрузиться в молитвенное состояние.

«Спать, лежать закрывшись одеялом,
Точно в тёплый гроб уйти в кровать,
Слушать звон трамваев запоздалых,
Не обедать, свет не зажигать».

Над обреченным городом беспрерывно падает мокрый снег. Тусклое европейское Рождество расцветает в разливе рек. «Тихо в черном саду, лик луны отражается в лейке. Есть ли елка в аду? Как встречают в тюрьме Рождество?»..

Так запутанность снов проясняется, загадка индивидуального существования становится все более ясной. Поэт подходит к тому пределу, где эстетика заменяется этикой, служение красоте — жалостью к людям, и где надо прекратить писать стихи. Пора совсем отказаться от поэзии, да, и этот дар надо преодолеть. За месяц до смерти, облокотившись о книжный шкаф и держа в руках книгу: «Знаешь, все эти наши книги — ни к чему, я от своих хочу освободиться, ишу кому отдать. Не нужно, ничего не нужно. И читать не хочется».

Запись из дневника: «Я попрежнему киплю под страшным давлением, без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей. И снова жизнь моя собирается куда-то в дорогу, возвращается в себя, отходит от реализации».

Музыка преодолена. Последние стихи сжаты, обнажены, голы, без декораций, словесных и иных. Все, что было им столько раз мучительно обдуманно, взвешено на внутренних весах, тысячу раз на разные лады повторено, все самое личное, тайное, скрытое, вдруг стало общим: родился новый, вполне индивидуальный звук. Углубляясь в полученные даром, но еле уловимые детали, он дошел до конца и в мучениях родил свою поэтическую личность. Теперь каждое слово его становится отражающим экраном. Лучи, которые от него отбрасываются, окрашены в новый, не существовавший до него цвет. Из тысячи импровизированных набросков составила законченная картина. В отличие от сюрреалистов, он не давал в печать свои автоматические записи, он перерабатывал и исправлял себя годами. Не столько исправлял, сколько за-ново переписывал, так что каждая написанная им фраза не только имеет вид импровизации, как у классиков, но и на самом деле есть импро-

визация, но содержание этой фразы не случайно, и не безразлично для автора, а связано со всем его существом. Он никогда не снижался до иронии или до эпиграммы. Все это исправление, отбор, взвешивание, отталкивание шли не так, как это понимают обычно, не в направлении координации с некими законами пластики, а в направлении того внутреннего единства и особого вида гармонии, когда хотя бы только из расположения нескольких слов, выхваченных из фразы, безошибочно определяешь, что это исходило не из разума, а из сердца*).

В предсмертных стихах его исчезает тревога, но не боль. Т. е. с прояснением поэтического сознания он освобождался, в отношении к миру, от иллюзии отверженности, в отношении к человеку — от состояния сомнения. Нет и не может быть объективных доказательств, но мы сами знаем, когда мы барахтаемся в сетях словесных изощрений, прикрывающих душевную опустошенность, и когда пребываем в полноте и насыщенности, причем второе состояние связано со смирением, с глубокой внутренней скромностью. «Единственное законное отношение к искусству это средневековое, — записывает он — мужицкое, в душе туповатое, верующее, крепящееся, мирящееся с долгим духовным голодом, верующее во внутренний рок. Ибо искусство — это благодать, которая неизвестно на какой час приходится, а если пришлась, неизвестно снизойдет ли еще раз, как Христова одежда из одного куска, которая не по заслугам, а по внешнему произволу неожиданно выпадает одному из играющих воинов».

Вот, наудачу, одно из стихотворений последнего периода, из сборника «Снежный час». Здесь изображено утро после народного праздника в Париже, может быть после 14-го июля. Улица, дождь. Восковые бюсты манекенов в магазине мод. Сворачивают трехцветные флаги, сыгравшие свою роль, поэт сравнивает себя с одним из них. Он исполнил свое назначение и благословляет своего неизвестного заместителя на подвиг жертвы.

*) У Поплавского было духовное родство с ранними немецкими романтиками до-гетевского периода, особенно, мне кажется, с Гольдерлином, о котором он, не знаю, слышал ли. Самого Гете он не любил, считал, что он подозрительно благополучен и засушивал цветы поэзии, поддавшись соблазну немедленного успеха.

Флаги спускаются.

Над рядами серых саркофагов,
Где уже горел огонь слепой,
Под дождем промокший ангел флагов
Продолжал склоняться над толпой.
Улица блестит, огни горят, а выше
Ранний мрак смешался с дымом труб.
Человек под тонкой черной крышей
Медленно идет во тьме к утру.
Дождь летит у фонарей трамвая
Тонкою прозрачною стеной.
Из витрины дева восковая
Дико смотрит в холод неземной.
Все темно, спокойно и жестоко.
Высоко на небе в яркой ризе
Ты сиял, теперь сойди с флагштока,
Возвратись к обыкновенной жизни.
Спи. Забудь. Все было так прекрасно.
Скоро, скоро над Твоим ночлегом
Новый ангел сине-бело-красный
Радостно взлетит к лазури неба.
Потому что вечный праздник длится,
Тают птицы, трубы отлетают,
Гаснет время. Снова утро снится
И про адский пламень воск мечтает.
Солнце всходит золотым штандартом,
Гибнут мыски. Небо розовеет.
Гаснет вечер. Солнце рвется в завтра
И таить рассвета ночь не смеет.
Что ж, пади. Ты озарял темницу,
Ты сиял, приняв лазурный ужас.
Спи. Усни. Любовь нам только снится,
Ты, как счастье, никому не нужен.

И вот из последних записей: «Было время, когда я видел себя на солнце. А потом — совсем перестал видеть, и во всем был один Ты».

Н. Татишев.

Париж. 1946.

ПУТИ ЖИВОПИСИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

«Современный русский художник живет и вдохновляется гуманитарными идеалами» — писал в августе прошлого года один советский критик искусства, — «духовная красота, храбрость, самоотверженный труд, все то, за что боролся и воевал советский народ, являются основными темами его произведений». Одна из выдающихся русских скульпторш, Вера Мухина, известная и за границей своими монументальными скульптурами для русских павильонов на интернациональных выставках, побывавши во Франции в июле 1945 года, писала: «Смотрю (на французское искусство) и глазам не верю. Пейзаж, мертвая натура, беспредметность, анализ формы. Ни одного отклика на события последних грозных лет. Отсутствие ощущения жизни. Французская живопись выродилась в эстетствующие переживания по поводу цвета, пятен, яркой и тонкой палитры... и все». Как далеки мы от Татлина с его конструктивизмом, от Малевича с его супрематизмом и других ультра-модернистических теорий, навеянных западной современностью, которые так превозносились художниками в России двадцатых годов!

И с идеологической и с психологической точек зрения, «искусство для искусства», неприемлемое для официальных теоретиков сегодняшнего дня, направляющих русское искусство на пути служения целям государства, в значительной мере не соответствует и тенденциям большинства русских художников, традиции которых влекут их к свободному отображению текущей действительности. Идейный реализм передвижников отвечает исконным стремлениям русской художественной мысли. Хотя «Мир искусства», в своих первоначальных предпосылках, и отвергал бытовые и натуралистические тенденции передвижников и восхвалял «искусство для искусства», направление это вылилось опять же в форму реализма, реализма романтического, допускающего и даже поощряющего такие отступления, как пейзаж, история, натюр-морт. Одни из последних представителей «Мира Искусства», Лансере и Грабарь,

которые продолжают играть и теперь значительную роль в художественной жизни России, явились звеном между искусством, уходящим крепкими корнями в прошлое, и тенденциями ныне господствующими в советском искусстве*). Это «возвращение ветра на круги своя», от Татлиных, Родченко и Малевичей первых годов революции к организуемым теперь «передвижным выставкам для клубов и воинских частей», было символически подчеркнуто на одной из недавних выставок полотном идейно-реалистического содержания: «Где здесь сдают кровь?», принадлежащим кисти... бывшего «русского Сезанна», П. Кончаловского.

Шумные группировки — «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Треугольник» — были в России явлением хотя и привлекавшим многих, но временным, и представляли собой наносное подражание западу. Однако, «западничество», повидимому, и сейчас продолжает кое-кого привлекать, несмотря на все более и более частые упреки в увлечении иностранщиной, которая-де не может ничего дать «настоящему» советскому художнику, ибо в «капиталистических странах слишком сильно разложение, а разложение приводит к преобладанию отдельной личности над коллективом»... и т. д. Советские репродукции попадают за границу в очень небольшом количестве, но и в том немногом, что доходит до нас, «западные» влияния совершенно очевидны — если не в содержании, то в технике: таковы, например, картины Сарбарьяна и некоторых других художников, принятые для выставки «Народного искусства» в Москве. Следует, впрочем, сказать, что это нисколько не мешает «русскости» их содержания.

В Советском Союзе давно уже процветает «культ героя»: до войны это были Шмидт, Чкалов, Ваня-стахановец или Таня-пряильщица, работающая одновременно на десятке станков. За время войны и теперь, по ее окончании, их заменил культ героя-бойца, солдата, летчика, моряка, авиатора, партизана. Советские художественные журналы и газеты на репродукции вообще скупы. Но если принять во внимание, что репродукции, помещенные на страницах «Советского Искусства», «Огонька» и др. за последние полтора-два года, были почти исключительно посвящены портретам героев войны, то можно представить себе каких размеров достиг этот культ. Если прибавить к этому, что и прикладное искусство, как, например, фарфор (на вновь открытых Ломоносовских заводах), или вышивки, лаки и т. п.,

*) Е. Е. Лансере скончался в ноябре 1946 года.

тоже служат этому культу, то можно сказать, что весь идейный реализм большей части советских художников сосредоточился сейчас на изображении героев советского союза. Бюст «Трижды героя полка Покрышкина», работы скульптора Павлова, портрет «Защитника Сталинграда» кисти И. Лукомского, или эскизы для «Памятного зала моряков Балтики, павших за Ленинград», работы ученика Грабаря, Мельникова — все это характерные образцы того же культа. На всех выставках значительное место занимают сейчас картины, изображающие различные эпизоды войны. Война затронула всех без исключения и потому является для художников, по выражению Грабаря, «великолепной тематикой». Эти картины написаны, в большинстве случаев, более прочувственно, чем произведения предыдущей категории. Характерно, что имя Верещагина, одного из типичных идейных реалистов XIX века, стало встречаться очень часто в статьях о «молодых баталистах». Еще один пример связи настоящего с прошлым.

Но, увы, Верещагин опять уже не в фаворе. Теперь отзываются с похвалой лишь о художниках, в чьих рисунках... «нет того пацифизма, который определял искусство Верещагина». Ему противопоставляется недавно скончавшийся баталист М. Греков.

Рассказать обо всех «художниках-фронтовиках», как их теперь называют, в краткой заметке невозможно. Упомянем Финогенова, рисунки которого были посланы на «Выставку русской иллюстрации» в Лондоне, в мае 1945 года. Это еще молодой художник, выросший в Сталинграде и принимавший участие в освобождении своего города. На шести больших листах он запечатлел Сталинград 1944 года; по окончании войны эти наброски послужили этюдами для ряда картин. Есть у него также серия набросков Берлина, куда Финогенов вошел вместе с советской армией; и по ним он пишет сейчас несколько больших картин.

Станковой живописи трудно пришлось во время войны: не хватало материалов, времени, спокойного угла. Неудивительно, что необычайно возросло число графиков и иллюстраторов. Этому способствовало и издание бесчисленных солдатских, флотских и др. журналов, для которых требовалось много иллюстрированного материала. Об их количестве можно судить по тому, что один из популярных иллюстрированных журналов, «Боевой карандаш», для которого работало множество художников, в январе 1945 года отпраздновал выход сотого номера. Благодаря этим журналам и патриотическому подъему, рус-

ское графическое искусство последних лет снова поднялось на большую высоту, пожалуй равносильную той, на которую его поднял «Мир Искусства» сорок лет тому назад. В этих иллюстрациях прекрасный рисунок сочетается с реалистической проникновенностью, глубоким лиризмом, задушевностью и теплотой. Финогенов, Илья Соколов, Пахомов, Фаворский, Власов, Евгений Кибрик, Кукрыникисы — новые звезды графического небосклона — дали сильную и меткую хронику последней войны. Таковы «Ленинградская сюита» (Пахомов), «Разрушенный Павловск» (Соколов), «Севастополь» (Герасимов), «Рождение ненависти» (украинца Берковича), «Дорога отступления фашистских войск» (Н. И. Шестопалова) и др.

Примером увлечения военной тематикой является выставка, устроенная в начале прошлого года в Ленинграде: «Встреча художников ленинградского фронта». На ней было представлено 840 картин, посвященных исключительно эпизодам войны. Сто семнадцать художников, участвовавших на этой выставке, создали кроме того, несколько тысяч картин, портретов, акварелей и рисунков, из которых впоследствии составились серии альбомов, запечатлевших оборону Ленинграда и его героических защитников. На темы о войне пишут и до сих пор, прибавляя к ним новые мотивы; в этих по-военных картинах значительное место отведено реконструкции городов, колхозам, труду женщины, несущей на своих плечах тягчайшую ношу: «Женщины отстраивают Ленинград» (Пименов), «Сеятельница» (Ф. Шурпина), женщина-мать, вдова, женщина-колхозница и т. д.

«От края и до края» прошла народная армия русскую землю, и вместе с нею, по полям, по трактам, по пригоркам, мимо деревень с погостами, мимо русских околлиц, шли и признанные художники и самоучки, пришедшие с заводов, от конвейеров. Открывши снова русский пейзаж, художники включили его в круг батальной живописи, обострив тем чувство любви к родине. В этот родной пейзаж вошла и «Девушка у плетня» (В. Гаврилова) и «Корсунь Шевченковский» (П. Кривоногова, — овраг с телами убитых немцев), и «Пригороды Москвы» (Дейнеки)... С окончанием войны отношение к пейзажу стало, однако, меняться. Критик К. Андреев, анализируя несколько московских выставок конца 1945 года, пишет: «Бросается в глаза бедность выставок. Доминирует пейзаж. Бытовой жанр отсутствует. Героическая работа тыла осталась вне поля зрения». Можно было предвидеть, что «пейзажи и цветы» в

России снова уйдут на задний план, к вящему торжеству настроений, выраженных в цитированных нами словах Мухиной.

Походы и завоевания возбудили интерес к искусству стран, присоединенных к Советскому Союзу или вошедших в его орбиту. Так, например, в начале 1945 года в Москве была устроена выставка «Художников самоучек Львовщины». В сентябре прошлого года в Таллине была выставка эстонской одежды и рукоделия, а в Москве выставка латвийских художников. В октябре в Москве открылась обширная выставка польской графики, не совсем угодившая советским критикам. По мнению одного из них, Наталии Соколовой, польские художники «слишком созерцательны и недостаточно увлекаются современностью».

Надо отметить также большое увлечение русским народным искусством, интерес к которому еще в начале этого века был возрожден «Миром Искусства». Это относится и к искусству окраин. В июле 1945 года в Москве была большая выставка «Художественных лаков». Представлены были палешане, художники Мстеры, копировщики села Феодоскина, переводящие в лаки картины Репина, Васнецова и Федотова, на работы которых, как отмечало «Советское искусство», «наложило чудесный отпечаток то, что волновало страну в годы великой Отечественной войны». Несколькими месяцами позже в Москве было отмечено 150-летие артели села Лукутина, и была устроена отдельная выставка лаков ее работы. В прошлом году на Всесоюзной выставке народно-декоративного и прикладного искусства в Москве были представлены, кроме лаков, образцы «хохломыской росписи», мраморные безделушки артели «Борнуковская пещера», вятские глиняные игрушки, кружева и вышивки Вологды, керамика Украины. Там же были работы из Туркмении, Азербайджана, Грузии и Прибалтийских стран.

Таким образом, за последние годы, после довольно длительного периода, во время которого русское искусство колебалось в выборе направления между идеологическим искусством и «искусством для искусства», — художественное творчество страны как будто вернулось на свой старый испытанный путь, применившись в некоторой мере к давлению извне. Что же будет дальше? Удастся ли ему отстоять хоть некоторую свободу в своих исканиях, или же его окончательно победят сторонние требования, чуждые искусству? Это покажет будущее.

Вера Коварская.

ПАНИХИДА*)

«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства».

Послание к Галатам, 5, 1.

Весной 1944 года наша Шестая воздушная армия перебрасывалась с Северо-Западного фронта на Первый Белорусский: из-под Новгорода — на Волынь, в район Луцка и Ковеля. В войсках тогда царил необычайный подъем: была уже очищена от немцев Украина, окончательно освобожден от блокады Ленинград, — все понимали, что еще один удар, и мы перешагнем границы, вступим в Румынию, Польшу, районы Прибалтики. И в личной моей жизни это была полоса подъема: как военный авиационный корреспондент, я много летал по полкам и дивизиям, бывал на различных участках фронта, многое видел и, если не мог обо всем писать, то старался хотя бы все запомнить. Тетради мои распухали от записей: хотелось понять и победу, одержанную в воздушном бою, где наши летчики применили новую тактическую комбинацию, и поражение, явившееся результатом того, что противник использовал еще более хитрый, еще более неожиданный тактический

*) Глава из неизданной книги: «Почему я не возвращаюсь в СССР». По словам автора, «он воевал в рядах Красной армии с весны 1941 года до весны 1945 года; вместе с Красной армией прошел весь путь — от стен Москвы до развалин Дрездена; начал войну рядовым солдатом и кончил ее капитаном; после войны почти целый год — с мая 1945 года до апреля 1946 года — работал в Советском посольстве в Париже». Про книгу свою автор говорит, что она «имеет характер документа: ни один факт не выдуман, только некоторые фамилии изменены». Ред.

прием. Тактику воздушного боя я изучил неплохо, привык разбираться в ее тонких и сложных зависимостях от авиационной техники. Летчики в полках привыкли ко мне, считали вполне своим. Командующий Шестой воздушной армией генерал-лейтенант авиации Ф. П. Полынин наградил меня военным орденом — орденом Красной Звезды и разрешил при передислокации армии на Волынь ехать не в эшелоне, а пассажирским поездом, причем — задержаться в Москве на неделю.

Москва — наше всё . . . Там, в узком, косом переулке меж Трубной и Сретенкой, оставались мои родные, там в маленькой комнатке пылились на полках книги, которых я не касался с начала войны — с весны сорок первого года, а за Москвареккой, на тихой улице Зацепе, в деревянном двухэтажном доме, жила моя радость . . . Надежды, мечтания, планы на будущее, литературные замыслы, — все это связывалось с Москвою. В походной сумке у меня лежала толстая — в 250 страниц — рукопись: первая книга, которую я собирался издать в Москве.

Это была невыдуманная, документальная книга. Называлась она — «День на колокольне». В ней описывались события, происшедшие за один день на маленьком участке Северо-Западного фронта. Как известно, фронт этот долго, два года, стоял: война велась позиционная. Километров на двадцать по ту и другую сторону от позиций простиралась снежная безлюдная пустыня: деревни исчезли бесследно — или сгорели под двухлетними артиллерийскими обстрелами и бомбежками, или были растащены на блиндажи, землянки, а, главным образом, на многоверстные деревянные мостовые, которыми устилалась незамерзающие болота. Но неподалеку от передовых позиций чудом уцелела колокольня — единственный знак, что была здесь когда-то деревня Большая Ивановщина*). На протяжении двух лет немецкие артиллеристы безуспешно палили по этой мишени: прямым попаданием был разрушен алтарь, обвалились церковные стены, а колокольня — такая своей высотой нам нужная! — стояла как стояла: исцарапанная осколками, задымленная, крепко охваченная железными обручами. Наши армейские оперативники оборудовали на колокольне авиационный наблюдательный пункт. Оттуда отлично просматривалась немецкая линия обороны, даже подступы к полю боя. Находясь на колокольне, офицеры штаба Воздушной армии держали непрерывную связь по радио как с пехотой и артиллерией, так и с летчиками, находившимися в воздухе, — они

*) Район Старой Руссы, к югу от озера Ильмень.

указывали штурмовым самолетам цели, руководили воздушными боями, разыгрывавшимися по десяти раз на день над передовыми позициями, и, главное — координировали совместные действия всех родов войск. И вот, описание того, что можно было увидеть в течение одного дня с колокольни Большой Ивановщины, составило целую книгу. Один день на маленьком — узком и тихом — участке фронта... Но какая длинная вереница до чрезвычайности разнообразных — пестрых, порою, крикливо-контрастных — событий! Конечно, для того, чтобы разглядеть события одного дня, потребовалось провести на колокольне в общей сложности добрых два месяца. Надо было положить этот крохотный и недвижный, позиционный участок фронта под микроскоп, — война открывалась как неразъединимое, иногда трудно различимое сплетение трагического, смешного и обыденного. «День на колокольне» — это была, пользуясь старинным термином, физиология войны.

Книгу — в рукописи — читали на фронте летчики: им нравилась фактическая сторона дела — тактическая грамотность, спокойный тон и трезвость в описании событий. В Москве ее прочитали друзья-литераторы: они оценили сюжетный прием (день на колокольне) и новизну темы (физиология войны). Однако, в Госиздате мне сделали возражение неожиданное:

— «День на колокольне»... Почему, собственно, на колокольне?»

Минна Марковна Юнович, профессор, редактор журнала «Октябрь», издаваемого Гослитиздатом, поставила меня этим вопросом втупик. Ни мне, ни кому другому из читавших прежде рукопись и в голову не приходило — подвергать сомнению название, в котором заключалась самая сущность книги.

— Ну... — смущенно ответил я, — на колокольне, то есть на наблюдательном пункте. Только это нехорошо звучит: «На наблюдательном пункте». Очень уж неуклюже — «на на»...

— Но и колокольня, согласитесь, тоже нехорошо. Вообще, колокольня здесь ни к чему. Не надо колокольни!

— Как ни к чему? Ведь во всей книге...

— Изю всей книги — убрать колокольню. Пусть она будет тоже разрушена, как и церковь. А наблюдательный пункт устройте на сосне. Не на сосне, так на вышке. Не мне вас учить — вы эти дела лучше знаете. За всем тем — книга хорошая, поздравляю. Вашу рукопись передаю Александру Ивановичу, он ее почистит, отредактирует, и все в порядке! Поздравляю!

Поздравления Минны Марковны меня не обнадеживали: я знал, что в кругу московских писателей ее зовут «Минна

замедленного действия». И она, действительно, подложила мне мину — взрывчатого, импульсивного и уж совершенно непримиримого к «колокольням» редактора Александра Ивановича Гутмана.

— Помилуйте, что вы тут написали! — воскликнул Гутман, когда я дня через два зашел к нему. — Я только начал читать вашу рукопись и сразу вижу — не то!

— А что именно?

— Да вот — читайте! — протянул он страницу, отчеркнув красным карандашом.

«... На полуобвалившейся, точно срезанной наискось стене церкви еще виднелись остатки старинной живописи. Над снежной пустыней, не сохранившей и знака человеческого жилья, потому что люди, одни ушли отсюда, а другие закопались в землю, — в неприметные, замаскированные траншеи и блиндажи, — над землею, изрытой снарядами, бомбами, стояли в вышине святители, угодники. Голубые одежды их были изодраны осколками, замазаны пороховой копотью. Два христианских воина стояли, опустив мечи. Они протягивали по своду свиток: «На земле мир и в человецех благоволение»...

— И что же? — спросил я Гутмана уже вызывающим тоном, приготовившись отстаивать эту страницу, в которой как-то отразилось мое личное восприятие виденного.

— Требуется, чтобы я вам разъяснял ваши-же писания? — ответил Гутман. — Вы не думаете, надеюсь, что ежели в Гослитиздате будет теперь печататься «Журнал Московской Патриархии», то и журнал «Октябрь» может помещать вот такие страницы, полные любования святителями, угодниками и еще чорт знает чем! Вот что, я еще не прочел вашу рукопись, только начал, но эту страницу — сразу вам говорю — мы выбросим.

— Нет, мы не выбросим!...

Гутман посмотрел на меня озадаченно. Помолчав от непривычного удивления, он сгреб разлетавшиеся страницы:

— Тогда забирайте рукопись!

— И заберу!

Из Госиздата я пошел в Союз Писателей. Там существовала Военная комиссия. В ее ведении находились писатели-фронтовики. Совместно с Главным политическим управлением Красной армии она распределяла писателей по фронтовым

газетам и следила за их работой — «литературной продукцией». Председательствовал в комиссии А. Лейтес — не писатель, а так называемый «руководящий товарищ», т. е. один из тех, кто призван «осуществлять руководство» в писательской организации*).

Не знаю, читал ли руководящий товарищ «День на колокольне». Кажется, он ознакомился с рукописью со слов рецензента. Тем не менее, он не постеснялся написать следующее — окончательное — суждение о моей злополучной книге:

«По языку и сюжетному построению книга заслуживает внимания. Необходима некоторая переработка: 1) Описываемый день показать как день наступления — конец позиционности, стабильности. Тема книги — «День прорыва» (порекомендовать автору использовать это в качестве заглавия). 2) Тема требует динамизма, на что обратить особенное внимание при переработке книги. У автора чувствуется пацифистская — или религиозная? — настроенность, которая должна быть удалена из книги и внутренне изжита автором, в интересах его же дальнейшей литературной деятельности».

Надо правду сказать: записка «руководящего товарища», припиленная к титульному листу возвращенной мне рукописи, заставила меня призадуматься. Дело в том, что я — за всю мою тридцатилетнюю жизнь — никогда до войны не был склонен к каким-либо религиозным проявлениям. Правда, во время войны, осенью 1941 года, мне довелось испытать душевный обвал, потрясение, но я понимал, что писать об этом еще не время, и не вносил, конечно, в книгу никакой религиозной настроенности. Не выражалась ли она незаметно для меня, помимо моей воли?

В мемуарной литературе, в различных воспоминаниях детства и юности, встречаются неизбежные главы о поездках с родителями на богомолье, о том, какое огромное впечатление производят церковное благолепие, благостность песнопений на

*) Известно, что при жизни Горького, который был председателем Союза писателей, фактическим руководителем являлся партийный работник Щербаков, — к нему Горький испытывал нескрываемую враждебность. Теперь председателем избран поэт Н. Тихонов, а при нем — Д. Поликарпов, в жизни не написавший ни одной строки, но приставленный от ЦК партии к литературе.

нежную, восприимчивую душу ребенка. Ничего такого мне не случалось видеть в детстве. В деревеньке, где я родился, — затерянной в темной сибирской тайге, у саянских предгорий, — церкви вовсе не было. Вспоминая ранние свои годы, я мог бы рассказать, пожалуй, о несколько дикой, очень близкой к природе, естественной жизни. Бурлила, вся в лесных заламах, река Кан, полная удивительной рыбы — харьюзов, стояла над деревней гора с татарским названием «Янда», а дальше высились Белогорье — снеговой хребет, за которым (рассказывали охотники) открывалась пустыня, другая страна — Монголия. Народ, окружавший меня, отец и мать, родня, конечно, знали Бога, но, живя суровой таежной жизнью, они не привыкли к внешним проявлениям своих чувств — религиозных, родительских даже, — и, наверное, только в душе считали (без особенных размышлений, впрочем), что лучшее, чем они могут послужить Богу — это работа, воспитание потомства, сама их жизнь, трудовая и неразбойная. Мать моя была совсем неграмотна и я не припомню, чтобы она когда-нибудь учила меня молитвам, — она их не знала, думаю. Но вся ее жизнь была, тем не менее, как молитва: она действительно отдавала ее «за други своя» и в особенности, конечно, за нас, детей. В воспитание наше отец и мать, как ни странно, вкладывали какие-то идеальные устремления. Выросшие в той же самой деревеньке, они непременно хотели поднять нас над этой темной, лесной жизнью. Ссылный поляк научил отца грамоте, и долгие годы отец читал книжку «Божий мир». В книжке рассказывалось про разных зверей, про другие народы, далекие страны. И вот, когда я вырос, мать обрядила меня во все новое, хоть и посконное, а отец — повез из тайги, за 60 верст, в город, чтобы я учился, чтобы мне открылся Божий мир.

Шел 1923 год. Не затих еще — с опозданием докатившийся до Сибири — гром произведенной где-то революции. В городе происходили собрания, манифестации. Начинались они и кончались одним: пением «Интернационала» — о разрушении старого мира и построении нового.

Божий мир упразднился. По воскресеньям нас, школьников, собирали в пионерский клуб, и, подымая, как хоругви, полотнища с надписями: «Долой попов и империалистов!», мы шли на Базарную площадь, к церкви, где тогда еще отправлялись воскресные службы. Детская душа моя заполнялась другими радостями, нежели те, которые вспоминаются мемуаристами. Весело было — склеить из картона большую церковь, размазывать голубые купола и золотые маковки с крестами, а потом

понести все это — шумной ватагой — на площадь, поставить перед настоящей церковью и — поджечь! И долго, с факелами, скакать и плясать вокруг горящей бумажной церкви и кричать песню:

Сергий-поп, Сергий-поп,
Сергий-дьякон и дьячек...

Таково было наше «воспитание чувств». И что же, выросли мы безбожниками? Нимало. Воспитатели наши — пионерожатые, комсомольские «отсекры»*) — прилагали к этому все усилия. Нам давали как учебник «Библию для верующих и неверующих» — книгу Емельяна Ярославского, содержавшую подбор невероятностей христианской легенды. На меня и товарищей моих сочинение Ярославского не производило впечатления: не зная Библии подлинной, мы не интересовались и опровержениями ее. Точно так же: не зная Бога, мы не могли его ниспровергать. Богоборчество как идея (а не как система репрессий) потерпело неудачу. Не стали мы религиозными, не стали и атеистами, а — так себе, «никакими». Никакого отношения к Богу — индифферентизм, равнодушие...

В состоянии религиозного индифферентизма пребывал я долгие годы — до самой войны. Учась в ИФЛИ (Институт филологии, литературы, истории), я начинал понимать, что Церковь — существенный элемент нашей национальной жизни. В сознании вырастали образы Александра Невского, Сергия Радонежского, позднее — Иосифа Волоцкого, которые рисовались мне, как государственные мужи, оставившие глубокий след в нашей истории. Но это был чисто внешний и совершенно безрелигиозный подход: открывалась лишь историческая сторона церкви, мистическая же оставалась по-прежнему закрытой. Церковь воспринималась, как часть русской культуры, государственности, — и только. Церковь же как религиозная вера, духовный опыт, была еще затемнена для меня, непонятна.

Понадобилась гроза, разразившаяся летом 1941 года, чтобы, как молнией, озарилась тьма. Не летом даже, а осенью, именно осенью, когда один офицер с русской фамилией Ключков, оседлавший с горсточкой солдат Волоколамское шоссе и приготовившийся стоять на-смерть перед надвигавшимися немецкими танками, крикнул солдатам: «Отступать больше некуда: позади Москва!». Москва — наше всё, и все мы — Москва,

*) «Отсекр» — ответственный секретарь ячейки.

Россия — приготовились стоять на-смерть. Перед лицом смерти всяческие материальные ценности, то-есть все то, что питало и обуславливало наш религиозный индифферентизм, — перестали быть ценностями. Единственно нужным, животворящим чувством оказалось «чувство Неба», чувство великой безмерной ответственности не перед собой и не перед страной, — нет, перед тем, что стало вдруг гораздо ближе и конкретнее — перед Богом!

Не стану рассказывать здесь, как лично для меня тьма 1941 года осветилась религиозным светом, скажу только, что в последующие военные годы, командуя ротой и испытывая превратности фронтовой жизни, я имел возможность наблюдать в моих солдатах такие своеобразные духовные особенности — особенности нашего национально-русского духа, которые свидетельствовали о их (солдат) несомненной, пусть даже невольной, стихийной религиозности. Патриотизм, чувство Родины проявлялись как извечные, неизменные в своей древности духовные черты, заложенные в солдатскую душу Святыми Отцами — Церковью. Все мы — и я, и мои солдаты — внешне были оторваны от Церкви, по внутреннему же естеству своему мы Ей принадлежали, мы были Ее сыновья.

Весной 1944 года я много размышлял об этом. Война окончательно повернула на победу: актуальным стало изучение военного опыта, чем я и занимался, как корреспондент при Воздушной армии. Было, однако, ясно, что опыт войны надо изучать не только с точки зрения тактики, но также — духа. Как внутренне переменялся народ на войне? Что заострилось и что окрепло за эти годы в душе солдата? В силу известных условий невозможно было обсуждать эти вопросы открыто. никоим образом не вносил я своих раздумий в рассказы и очерки, в книгу «День на колокольне». Впрочем, с книгой произошло — помимо моей воли — нечто странное. Книга имела темой физиологию войны и представляла подлинный — как кусок живой ткани для микроскопического анализа — срез с небольшого и определенного, невыдуманного участка фронта, и естественно, что вместе с фронтовой жизнью, стихией военного быта, в книгу влилась могучая, несомненная в своей реальности, религиозная жизнь.

«Руководящий товарищ» из Союза писателей ее учуял в книге. Он не был ни писателем, ни критиком, но по своей должности обладал великолепным, я бы сказал «дубельтовским» нюхом. Хотя в книге не высказывалось прямо ничего такого, что противоречило бы общепринятому и государственно-уста-

новленному марксистско-ленинскому мировоззрению, «руководящий товарищ» почувствовал разность мироощущения, иную душевную установку. Конечно же книга нуждалась в переработке! Мне ее не пришлось забрать, что являлось хотя бы пассивным, все же проявлением независимости, — мне ее попросту вернули. И вот, идя по Москве с непринятой рукописью подмышкой, я думал так:

— Когда изучается опыт войны, — военно-тактический опыт, — мы не устаем повторять: «необходимо извлечь уроки». Будет ли изучен и понят другой опыт войны — духовный? И будут ли в области свободы духа какие-нибудь изменения после войны? Поймут-ли там, на-верхах, что из духовного опыта, приобретенного за годы войны всем народом, в том числе, вероятно, и партией, необходимо извлечь уроки. Или останется все по-старому?

Так случилось, что ответ я получил незамедлительно. На пути из Союза писателей зашел в бывший Румянцевский музей, нынешнюю «Ленинку», т. е. Библиотеку имени В. И. Ленина. В годы войны, на фронте, как только с грустью подумаешь о Москве, и теперь, на чужбине, когда затоскуешь об оставленной — Бог весть, насколько — родине, вспоминалась и вспоминается неизменно «Ленинка». Да, была жизнь: в девять утра пробежаться в голубом морозе по московским улицам, взбежать по отлогой мраморной лестнице мимо барельефа графа Румянцева-Задунайского, войти в теплый зал с еще зажженными люстрами, окинуть взглядом антресоли, улыбнуться девушке, что тащит тебе груду книг, заказанных с вечера, и — засесть в углу, у теплой батарейки, пока опять не стемнеет, и снова не зажгутся огни на улицах... Приезжая с фронта в Москву, я каждый день, хоть на минуту, заходил в «Ленинку»: повидаться с друзьями, узнать литературные новости, взглянуть на книжные новинки.

На хорах, в маленькой, так называемой «Специальной читальной зале», постоянно работал старенький профессор, завсегдатай библиотеки. Он был библиограф, книжный червь, и меня любил — как книголюба. В мирное время не проходило дня, чтобы мы не встречались, соседи столиками, и у нас вошло в привычку — обмениваться находками. Пуще всего нравилось: отыскать забытое, совершенно затерянное в истории русской литературы имя и обновить его, так раскрыть жизнь и творчество найденного писателя, что он окажется ничем не меньше признанных столпов. Мало-по-малу мы сблизились, уверились друг в друге и о многом говорили с откровенностью.

В военные годы мы не встречались: мне сказали, что профессор — в эвакуации, кажется, в Кзыл-Орде. Но сегодня, войдя в полупустую залу тихими шагами, я увидел его на обычном месте. Он был все тот же: черный, с узенькими старомодными лацканами пиджак, на плечах густо усыпанный перхотью, желтые прокуренные усы и бугристая голова, опушенная легкими, редкими волосами. Меня всегда забавляла его манера читать: он пришепetyвал, подмигивал весело и лукаво автору: «знаю, мол, тебя, пройдоху!», — порой сердито отодвигал книгу в сторону и тотчас же принимался за нее снова. Он жил с книгами, как с живыми людьми: сердился на них или одарял нежным вниманием, заботами. Приблизившись к его столику, я без труда заметил, что та книга, которую он читал, его рассердила: шишки на голове побагровели, усы растопырились и он не пришепetyвал — фыркал!

— Алексей Михайлыч... — сказал я.

— А-а, вы кстати, — отозвался он так, как будто видел меня вчера, хотя между последней и этой встречами лежала осень 1941 года и еще три года войны. — Показать вам это? Показать?

Профессор тяжело захлопнул книгу и, взяв обеими руками, протянул ее мне. То было роскошное издание: золотое тиснение по голубому переплету, веленевая бумага, иллюстрации, отпечатанные по способу меццо-тинто. Древне-славянской золотой вязью было выведено название книги: «Правда о религии в России».

В книге были собраны патриотические проповеди Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Сергия, произнесенные им в годы войны, описание Пасхальной ночи в Москве, рассказы о том, как православные по всей России собирали деньги на постройку танковой колонны «Дмитрий Донской».

Открывалась книга портретом Сергия. Давно, еще до войны, меня интересовала эта личность, исполненная величавости, благородства. Правда, не церковные, не религиозные причины вызвали интерес к Митрополиту. Художник Арсеньев показывал мне в мае 1941 года многочисленные этюды к картине «Реквием». Этой громадной — шесть метров на девять — картиной художник задумал воздать вечную память мученикам Русской Церкви. Среди этюдов были портреты — монахини Нины (Оболенской), которая, будучи еще юной девушкой, прошла Соловецкую, Тобольскую и Нарымскую ссылки и где-то в конце концов сгинула; архиепископа Трифона (Трубецкого), умершего в тюрьме; безымянных схимников, скрывавшихся в

катакомбах; юродивых, староверов, старцев-черноризцев... Тогда же в мастерской я увидел впервые и портрет Сергия, написанный с натуры. Арсеньев — философ кисти, мастер психологического портрета. Как живописца, его, разумеется, интересовали колористические задачи — соседство белого клобука с фиолетовой мантией, распределение света по широко разметавшейся на груди бороде, но он старался представить не только яркий по точности внешний облик, — нет, также и внутренний портрет Первосвятителя. Из-под очков и нависших густых бровей серые глаза смотрели правдиво и ясно, а чуть откиннутая рука крепко держала патриарший посох. Неподкупный в своем смирении, твердый в своем служении — в сочетании таких качеств предстоял Митрополит на портрете Арсеньева, и я попросил художника рассказать о нем подробнее.

— А вы о нем ничего не знаете? — удивился художник.

— Признаюсь, ничего.

— Ну да, в вашем институте философии имя Сергия не звучит. Между тем, не кто иной, как Сергей, был председателем знаменитого Религиозно-философского общества. Это — целая глава в истории русской общественной мысли, ее нельзя не знать.

— Припоминаю, что там председательствовал ректор Петербургской духовной академии, но никогда не думал, что это и есть нынешний Патриарший Местоблюститель Сергей.

— Он самый! Когда случилась революция, Сергей не эмигрировал — остался в России. Помните, есть у Волошина про Россию: «Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба». Не один раз Сергия бросали в тюрьму, и что ему только не угрожало, но он знал, что народ, его паства, тоже придавлена всем случившимся, и понимал, что не след ему, пастырю, желать лучшей доли. В нем — что-то от Сергия Радонежского. Тот в тяжелые времена, при татарском иге, занимался внутренним строением русского народа, чтобы народ нравственно не упал, не впал в отчаяние. Так и наш Сергей. Подумайте, что значит — в такой обстановке, какая нас окружает, охранять Церковь от разделения, от покушений всех этих обновленцев, живоцерковников, григорьевцев. Много нравственной силы надо иметь самому, чтобы так, как Сергей, оберегать и укреплять живую душу народа. Про такого действительно можно сказать, что он несет службу «ради Иисуса, а не ради хлеба куса»...

После разговора с Арсеньевым я больше не вспоминал и не думал о Митрополите, но в июне 1941 года, в самом начале войны пришла однажды сестра и сказала:

— Знаешь, говорят, Сергей служит сегодня молебен о победе. Я пойду...

Имя Сергея зазвучало в народе громко. Передавали, как он в обращении к Пастырям сказал: «Положим души свои вместе с паствой». Переписывали от руки и передавали по цепочке молитву Сергея, которая мне, порой, вспоминалась на фронте: «...а им же судил еси положить на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления». Заветы древних строителей Русской Земли оживали в молитвах и проповедях, в самой личности Первосвятителя. Думалось: нет худа без добра, и, может быть, война послужит тому, что возродятся наши древние, национально-русские заветы, укрепится дело Православия, и страна пойдет по пути органического развития, не искаженного в угоду надуманным, черепным теориям.

И вот, приняв из рук профессора книгу — «Правда о религии в России», едва открыв ее, я наткнулся на поразительную страницу, выражавшую такие же чаяния и ожидания. На молебне о победе русского воинства, 26 июня 1941 года, Митрополит Сергей сказал:

«...Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит и наступившая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной».

В словах Сергея открывался смысл войны. Не для того матери послали в огонь сыновей, не для того жены пошли к доменным печам, прокатным станкам, тракторам, сеялкам, и я не для того, оставив дом, натянул шершавую шинель и опоясался крест-на-крест ремнями, — нет, не для того, чтобы после войны все осталось по-старому! Очистить русскую землю от чужеземцев и очистить духовную атмосферу внутри страны, — так осознавалась конечная цель войны.

— Как раз на это я и хотел обратить ваше внимание, — сказал профессор, заметив, что я уткнулся в страницу, где говорилось о необходимости оздоровления нашей духовной атмосферы. — Что вы на это скажете, товарищ... — сколько там у вас звездочек? четыре?... — товарищ капитан.

— Надо верить в разумный ход вещей — ответил я. Война, охватившая мир и изменившая судьбы многих народов, не

может закончиться неразумно. Она не может иметь конец, какого-бы не желали сражающиеся.

Профессор откинулся в кресле и посмотрел в окно. За окном голубел весенний московский денек. По Каменному мосту бежали трамваи, ломовые везли лед от Москва-реки, над Боровицкими воротами взлетали черные галки.

— Они там, — показал он через окно на Кремль, — понимают ли это?

— Люди там сидят неглупые, — возразил я. — Должны понимать.

— Как же, как же! Видите у меня на столе — «Журнал Московской Патриархии», свеженький, только что из типографии. А «Безбожника», голубенок мой, того... прихлопнули! Ах, жалко, что вы не приехали чуть пораньше. Пасху-то нынче как мы отпраздновали!

Профессор распустил на желтом, сморщенном лице морщины, заулыбался, повеселел:

— На Елохове — крестный ход, хор Большого театра в Богоявленском соборе. Привел Господь еще раз на старости лет услышать такое...

И тоненьким голоском, с загоревшимися внутренним светом глазами, он затынул:

— Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси...

Однако, свет в глазах тотчас потух, и, подняв заострившееся, в резких морщинах, лицо к Кремлю, высившемуся за окном в тумане, профессор крикнул шопотом:

— Не верю «им», не верю!

— Полюбуйтесь на эту книгу, — продолжал он, оглянувшись, нет ли кого чужого по близости. — Прекрасная книга, не правда ли? Не вся там правда о религии в Росси: гонения на церковь были и отрицать их, по крайней мере, с таким пылом-жаром, не следует, ибо нельзя отрекаться от мучеников, погибших в нарымской тайге, на Колыме, в снегах Якутии; нельзя преувеличивать также и нынешней свободы — на всю Москву, как никак, по-прежнему остается четыре церкви. Но не будем преувеличивать и требований к книге: уже одно то хорошо, что появилась книга, где — вот — и портреты иерархов, и неискаженные, неизуродованные фотографии церквей, богослужений. Только... знаете, что меня взбесило? Книга-то выпущена на экспорт! Ни в один книжный магазин Москвы, не говоря уже о провинции, ее не дали. Посмотрите, на ней и цена не обозначена. В том-то и штука: только союзникам —

на показ! Красивое издание — богатый фасад! И крестный ход в Москве — тоже фасад: пусть полюбуются дипломаты, пусть напишут реляции о свободе религии в России, и более того — об эволюции большевизма. На деле-то, голубенок мой, никакой эволюции. Для заграницы — фасад, красивый с внешней стороны, а для нас, пребывающих за фасадом, на внутренней стороне, все, решительно все — и после трех лет войны! — остается без малейшей перемены. И останется так, попомните мое слово! Кончится война — и снова затрезвонят об усилении бдительности на идеологическом фронте, о торжестве марксистско-ленинской науки, о выдающихся трудах товарища Сталина в области диалектического материализма, и еще и еще раз издадут десятиmillionным тиражом работу Сталина «Вопросы ленинизма» и двадцатимillionным — работу Сталина «Краткий курс истории ВКП(б)».

— Нет, так война не кончится! — глухо, с упрямством сказал я. — Или она вообще не кончится!

— Помогай вам Бог в таком случае! Только уж если решились итти до конца — идите. Будет трудно, иногда невыносимо трудно, а все же — вынесите, найдите в себе силу не сходить с пути. Наклонитесь ко мне, я поцелую вас, — может статься, что и не свидимся более на земле...

Поцеловав, он легкой, сухой рукой ударил меня по плечу: — С Богом! Идите!...

«Будет трудно...». Не прошло много времени, как я попомнил слова старика-профессора. Жизнь не замедлила дать мне серию фактов, которые подтверждали, что «им» верить никак нельзя, что «они» и не думают сдавать позиций. По сравнению с тем, что вдруг случилось, расправа с моей книгой показалась сущим пустяком, — неудачу «Дня на колокольне» еще можно было отнести за счет «инерции», застарелой духовной болезни советского общества. Новые факты, которые вскоре дала мне жизнь, свидетельствовали о худшем, гораздо худшем — о прямых и со всей откровенностью поощряемых религиозных гонениях; подчеркиваю — **религиозных**, касающихся внутренних верований и душевных устремлений. Факты эти были для меня тем разительнее, что касались непосредственно меня самого, моей жизни — неожиданно затруднившейся! — и личной моей судьбы.

Быстро пролетела неделя отпуска, и я отправился на Волынь — догонять свою Шестую воздушную армию. За окном вагона мелькали весенние поля, и в деревеньке близ Калуги я увидел, как возле церкви стояли подводы, которые нагружа-

лись мешками. Мешки стояли на паперти, — в церкви была устроена «магазея», колхозный амбар. Кресты были сшиблены, жесть с куполов ободрана, торчали ребрастые, просвечивавшие насквозь, луковицы. Таких церквей навидался я немало, путешествуя в довоенные годы по России в качестве газетного корреспондента. Ободранные, загаженные, с красными тряпичками вместо крестов, стояли они по Руси два десятка лет, и пока что не было заметно, чтобы их начали приводить в порядок. Только за Коростенем, когда поезд пересек Стирь и мы въехали на Волинь, увидел я церкви, сверкавшие под весенним солнцем крестами и куполами.

Штаб нашей Армии расположился в местечке Вережница, близ гор. Сарны. Местность эта до осени 1939 года принадлежала Польше, и лишь полтора года — СССР. В июне 1941 года войска Красной армии отступили отсюда под натиском немцев. Вместе с ними отступили и советские колонизаторы, не успевшие утвердить на Волини свою «передовую» колхозно-совхозную цивилизацию. Немцы же, заигрывая с украинскими сепаратистами, не разбойничали здесь, как повсюду. Волинь оставалась такою, какою была до войны. Крестьяне жили в достатке, не считались с куском хлеба, были рады напоить солдата молоком и всунуть в ранец «кавалок» свинины. Праздники соблюдались свято: одна девушка, Параська, которую я попросил в воскресенье пришить мне к гимнастерке пуговицу, посмотрела на меня со страхом:

— Грех!

Каждое воскресенье над Бережницей, утопавшей в сирени, над широкой в весеннем разливе рекою Горынь плыл колокольный звон. Он отзывался в моей душе, как милая и трогательная, еще неслышанная мною сказка.

... Воскресенье 21 мая 1944 года. День этот навеки запомнился мне, как переломный момент в моей жизни. При штабе Армии мы издавали походную газету «Сокол родины». Ночами радистка принимала из Москвы информацию: утром свежие новости были уже в газете. 21 мая, придя утром в хату, где стучала печатная машина, я прочитал: умер Сергей, Патриарх Московский и Всея Руси. Никогда не был я лично знаком с Патриархом, но он незримо прошел через мою жизнь. Все происходило как-бы по предначертанию: в мае 1941 года, за месяц перед войной, художник Арсеньев представляет мне психологически насыщенный, точно живой, образ Сергия; в июне, когда началась война, сестра, неверующая, идет в церковь, слушает проповедь Сергия и передает мне ее содержание;

потом, на фронте, в Валдае, хозяйка, у которой я был на постое, дала мне исписанный нетвердой, малограмотной рукой клочек бумаги — молитву Сергия; далее, накануне отъезда из Москвы на далекий фронт, за границу, — такой значительный разговор о Сергии и напутствие Первосвятителя — сражаться за оздоровление духовной атмосферы в России; наконец, почти сразу же по приезде из Москвы вот это, сообщаемое в двух строчках, известие... Что же — ОНО? Почему я узнаю об ЭТОМ здесь — в Действующей армии, на Волыни? Что ЭТО велит мне здесь делать? К чему влечет? Безмолвно стоял я возле печатной машины с развернутым газетным листом, остро пахнувшим типографской краской. Мысль об огромном значении Сергия в моей жизни озаряла сознание и выражалась острой болью в сердце. Боль не заглушалась, а, сочетаясь, входила в другое, несравненно большее и радостное, светлое чувство переворота, свершения.

С чувством неизъяснимым шел я по деревенской улице. Щедро светило майское солнце. Аисты вили гнезда на старых дубах. Вешний ветерок шевелил белые и голубые вышитые полотенца на высоких крестах при дороге. Колокольный звон сзывал прихожан. Из калиток выбегали женщины, девушки в ярких праздничных хустках и торопились к обедне. Щемило у меня на сердце, наворачивались слезы на глаза. Сам не знаю как, пришел и я к маленькой деревянной церкви, стоявшей на зеленом солнечном взгорье у берега реки.

— Будет ли панихида по Патриархе? — наивно спросил я на паперти у крестьянки, не соображая, что она вряд ли когда-нибудь слышала, кто такой «Патриарх». Однако, она со старинной селянской, еще сохранившейся на Волыни, учтивостью ответила, что надо спросить у церковного старосты.

Староста как раз выходил из алтаря, — старик с дремучей, подступавшей к глазам бородой, в поддевке. Он сказал, что о смерти Патриарха ему ничего не известно, и только тут я сообразил, что откуда же ему знать об этом? Радиограмма была принята минувшей ночью. Газета еще не кончена печатаньем. Да она и не попадала к гражданскому населению.

Вернувшись в типографию, я взял газету, отнес старосте, дождался, пока он сходил в алтарь к батюшке и пришел с ответом, что панихида будет отслужена после обедни. Как в полусне, слушал я древние, полные таинственных значений слова церковной службы и песнопения, полные строгой торжественности. Кончилась панихида, староста нагнал меня в дверях

и дал просфорку. По правде сказать, я не знал, что с ней делают.

— Благословясь, откушайте, — сказал староста.

Разломив пополам просфорку, я неторопливо, стоя на паперти, съел ее. Вышел из церкви на зеленую, в цветах, лужайку. И почувствовал, что жизнь моя переломилась так, как ломается палка через колено.

Не более, как через час, ко мне на квартиру явился солдат и сказал, что меня немедленно требует к себе редактор армейской газеты, майор Рутман. Тотчас же я догадался, какой разговор предстоит мне с этим человеком, отличительные черты которого — очень острый и цепкий, но страшно узкий ум, злопамятность и лживость. Один известный московский поэт, работавший в нашей армейской газете, называл Рутмана не иначе, как «Врутман».

— Вы были сегодня в церкви? — спросил майор, положив длинные худые руки на бумажку, лежавшую перед ним на столе; позднее выяснилось, что то был донос, составленный сотрудником нашей редакции лейтенантом Горшковым, который видел меня на лужайке перед церковью.

— Был... — ответил я с простодушной улыбкой. Не привыкший к откровенным разговорам с майором, тут я почему-то с радостной готовностью добавил: — Даже газету церковному старосте дал — с извещением о смерти Патриарха Сергия.

— Так, значит, вы и заказали панихиду?

— Нет, я ее не заказывал.

— Не отпирайтесь!

Как ни старался я объяснить, что в самом деле не заказывал панихиду, — тщетно: объяснения лишь раздражали майора. Он начал кричать, что напрасно оказывали мне столько доверия, прикомандировав меня в качестве военного корреспондента к штабу Армии, повысив в звании до капитана, наградив орденом Красной Звезды.

— Офицерское звание мною заслужено в боях, — спокойно ответил я. — Не вы, а я воевал рядовым под Москвой и я же командовал ротой у Старой Руссы. Военным корреспондентом работаю тоже не вашей милостью, — я журналист по профессии, без малого двадцать лет.

Майор, ожесточаясь, крикнул:

— Идите домой и ждите вызова.

Жил я на частной квартире, у местной крестьянки, муж которой при отступлении Красной армии в 1941 году был угнан на восток и теперь, по слухам, работал на военном заводе в

Сибири. Хозяйка устроила мне на чердаке, на соломе, постель, поставила столик, — я мог там работать, в соседстве с аистами. Только теперь уже было не до работы. Взобравшись на чердак, я начал придумывать план действий.

У меня была — от юношеских лет — привычка: гадать по книге. Задумать что-нибудь, развернуть наугад страницы и прочитать, что откроется. Так в Москве мы гадали под Новый год по Евангелию. В 1942 году, в Валдае, в монастыре Иверской Божьей Матери, старушка-богаделка подарила мне Евангелие — карманное, в кожаном переплете. Оно находилось при мне всегда, во всех походах. К сожалению, теперь его под рукою не было: в суматохе отъезда из Москвы я забыл его дома на подоконнике.

На память мне пришли известные евангельские слова: «Будьте мудры как змеи и просты как голуби». Каков был их смысл? Означали ли они, что «с волками жить — по волчьи выть»? Что надо извиваться, ползать, пресмыкаться, как змея? Притти, например, к майору и покаяться:

— Да, я был в церкви, совершил проступок, — сознаю свою вину.

Нет, очевидно, евангельские слова следовало понимать по-другому. «Будет трудно...» — что-ж! Не сказано ли про христианина: «Когда наступит для него стеснительное и трудное время, когда он будет гоним и уязвляем, тогда пускай отдаст все свое золото, серебро, тело свое попускает быть израненным, веру же Христову блюдет с великим опасением?» Покаяние перед майором было бы не блюдением, а предательством веры. Не выставлять на показ свою веру, но — блюсти ее и быть твердым, во что бы то ни стало твердым, даже «тело свое попуская быть израненным».

Вызвали меня вечером того же дня. В кабинете майора толпились работники редакции, политического отдела и трибунала Шестой воздушной армии. К удивлению своему, на столе у майора я увидел принадлежавшее мне Евангелие, и майор, заметив мой взгляд, усмехнулся. Оказалось, что мои домашние послали Евангелие из Москвы бандеролью. Майор распечатал пакет и с нескрываемым цинизмом приготовил крамольную книгу, как вещественный документ,отягчающий преступление.

Начался допрос. От начала до конца — издевательский.

— Когда мы стояли в Валдае, — задавал вопрос Пронин, заместитель майора, — я видел у вас на столе, в вашей ком-

нате, «Историю русской церкви», такую толстую книгу, — припоминаете?

— Отлично помню. Это труд известного историка Голубинского, — кстати, из институтской библиотеки. Нам в институте не возбранялось им пользоваться.

Тотчас же кто-то захохотал:

— А «Кратким курсом истории ВКП(б)» вы когда-нибудь пользовались? Читали?

— Представьте, читал. Даже получил пятерку на экзамене по ленинизму.

— Но на столе у вас ни «Краткого курса истории ВКП(б)», ни «Вопросов ленинизма» я не замечал ни разу, — возразил Пронин.

Нет нужды подробно рассказывать о собрании, — оно длилось до полуночи. На одном вопросе все же следует остановиться.

— Как вы понимаете известные послабления, сделанные нами церковникам во время войны? — спросил майор.

Что мог я сказать? Только то, что «послабления» вызваны и некоторыми внутренними причинами, поскольку верующие еще имеются и церковь способствует патриотическому подъему целого народа, но главным образом — внешними обстоятельствами.

Майор все с той же дьявольской усмешкой повернулся на стуле и в сторону — не ко мне, а к собранию — произнес:

— Нельзя сказать, чтобы он был политически недоразвитым человеком. Когда он хочет, то рассуждает и пишет правильно.

И снова ко мне:

— Но понятно ли вам, что если мы сейчас даже с такой сволочью, как Черчилль, находимся в коалиции, то могли войти на время в соглашение и с попами? Вы, кажется, себе неясно представляете, что после войны мы сведем свои счета и с поповской сволочью.

Мне оставалось одно — молчать, не отвечать на такие выходки.

После вопросов потребовали дать объяснение по поводу предъявленных обвинений. И все же говорить не пришлось — не дали. Каждое слово, сказанное о Церкви всерьез и без карикатуры, встречалось смехом, издевательскими репликами. Едва я сказал: интересуюсь историей Церкви потому, что Церковь — хранительница национальных традиций народа, — раздался хохот и свист. Едва обмолвился: долг литератора —

наблюдать жизнь во всех проявлениях, и в церковь я мог зайти из профессионального любопытства, как услышал окрик майора:

— Вы не просто зашли, — вы заказали панихиду!

Возглас майора был перекрыт другими:

— Советский офицер — в поповской компании!

— Да еще где — в районах Западной Украины!

— Опозорил мундир офицера Красной армии!

В конце собрания мне объявили, что обо всем будет доложено начальнику политического отдела Армии, полковнику Драйчуку, который «примет соответствующее решение». На следующий день меня вызвал полковник, и здесь повторилась та же сцена: брань по адресу «сволочей-попов», с которыми я «вступил в соприкосновение». Драйчук отстранил меня от работы в армейской газете: до разбирательства в штабе фронта.

В политический отдел штаба фронта меня вызвали нескоро: должно быть, запрашивали обо мне Москву, собирали сведения. Два месяца — июнь и июль 1944 года — я находился между небом и землей в буквальном и переносном смысле слова. К работе меня не допускали, но с должности не увольняли: я по-прежнему числился военным корреспондентом при штабе армии. Офицеры штаба, когда-то считавшиеся моими друзьями, теперь боялись меня, избегали при встречах точно зачумленного. Тогда я перестал ходить в штабную столовую: обедал на квартире. Целыми днями — сидел на чердаке и читал книги русских писателей-эмигрантов, найденные мною в Луцке. Как только хлопала в сенцах дверь, я прятал книжку в солому и углублялся в грамматику польского языка, который решил изучить перед вступлением в Польшу.

Однажды вечером майор прислал солдата: сказать, что на рассвете самолет связи отвезет меня в штаб фронта. Там я отвечал перед тремя полковниками. И там была брань и ругань, ругань и брань! Полковничья комиссия отправила меня обратно в Воздушную армию при пакете. Что содержалось в пакете, я не знал. Крест-на-крест прошитая суровой ниткой и опечатанная толстым красным сургучем лежала там моя судьба. Скоро ее объявили. В типографии армейской газеты были собраны, построены в шеренгу литературные работники, инструкторы политического отдела. Майор, скомандовав — «Смирно! Слушай приказ!», прочитал:

«Приказ войскам 6-й Воздушной армии»...

Приказ был подписан командующим, генерал-лейтенантом авиации Ф. П. Пылиным. Говорилось там коротко, ясно:

«Капитана Корякова, М. М., заказавшего и отстоявшего панихиду в церкви и упорно отстаивающего свои проступки, как идеологически чуждого человека с литературной работы снять и направить в пехоту, в распоряжение общевойскового отдела кадров штаба фронта». Предписывалось — довести приказ до офицерского состава в полках и эскадрильях армии, и майор, остановившись на этом пункте, сказал:

— Помните, что приказ совершенно секретный. Рядовые бойцы не должны знать о причинах, повлекших увольнение капитана Корякова с должности военного корреспондента и отправку его в пехоту. Тем более не должно знать об этом гражданское население, потому что нет ничего хуже, как если бы народная молва окружила случившийся факт ореолом мученичества.

Михаил Коряков.

ВСТРЕЧА С ЕВРОПОЙ

Когда 22-го июня 1941 года Молотов в своей речи по радио сообщил, что германские войска перешли советскую границу, и выразил уверенность, что «зазнавшийся Гитлер» так же будет изгнан из пределов страны и потерпит «крах», как Наполеон и его полчища, мало кто из современников задумывался над возможностью появления советских армий в Западной Европе. Как и война с Наполеоном, советско-германская война в первой своей фазе была пронизана одним стремлением — отстоять независимость и целостность государства. И хотя война 1812 г. завершилась взятием русскими войсками Парижа, в сознание широких кругов общества и всего народа она вошла, как война оборонительная. Интересной иллюстрацией к этому могут служить «Письма из Парижа» К. Ф. Рылеева, проделавшего заграничный поход 1814-1815 г.г.

В письме, датированном 19-ым сентябрем 1815 года, Рылеев описывает инцидент, которому он был свидетелем. Прусское командование (Пруссия была тогда нашей союзницей) поставило у Пале-Рояль караул. Солдаты стали обижать прохожих, один из обиженных закричал и около него быстро сбежалось до 200 французов. Рылеев разговорился с французским офицером, стоявшим тут же. Тот возмущался поведением союзников. Рылеев заметил офицеру, что он напрасно говорит об этом с ним, так как он русский. На это француз возразил: «Затем-то я и говорю, что вы — Русский. Я говорю другу, ибо ваши офицеры, ваши солдаты так обходятся с нами, ваш Александр покровитель наш, он наш благодетель, но союзники его — кровопийцы! Чего они хотят от нас?! Разве еще они не довольны бедствиями Франции, что ругаются над священнейшим сокровищем нашим — честью? Кто мы? Рабы что ли? По жребию оружия мы побежденные, но были некогда и мы победителями, и раздражали ли народ подобными обидами?» Рылеев пытался успокоить взволнованного офицера, заверяя его, что «Русские — друзья ваши». Офицер хотел что-то ответить,

но слова его «замирали от сердечной боли». Присмотревшись к нему, Рылеев увидел «воина лет тридцати, украшенного легионом чести и орденом св. Людовика и... на деревяшке». Рылеев бросился к нему в объятия.

Из заграничных писем Рылеева к матери и из мемуаров других участников этих заграничных походов отчетливо проступает самая существенная черта: русские войска не преследовали в Европе никаких завоевательных целей и присутствие их в Европе воспринималось населением, как присутствие не завоевателей, а освободителей. Для себя они желали только одного: прочного мира и возвращения домой.

В этой связи трудно не вспомнить описание этого возвращения, как оно увековечено Пушкиным в «Метели»:

«...Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: «Vive Henri Quatre», тирольские марши и арии из Жоконды. Офицеры, ушедшие в поход отроками, возвращались возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государству!»

Однако, эта первая массовая встреча России с Европой посеяла не одни чувства любви к отечеству, но пробудила и политическую активность в передовой части русского общества. Усилением полицейского режима правительству удалось на время сковать эту активность, но она прорвалась в восстании декабристов. От войны 1812 года и первой встречи с Европой ведет свою родословную русское освободительное движение.

Вторая массовая встреча с Европой произошла в обстановке, существенно отличной от первой. Несравним прежде всего размах событий, потрясших Россию, Европу и весь мир, несравнимо количество участников и жертв, втянутых в эту мировую драму. Самые впечатления от встречи с Европой сейчас еще очень свежи, противоречивы и не отстоялись. И все-таки, в нас, современниках этого нового свидания, живо ощущение, что и ему суждено сыграть значительную роль в будущем развитии России, и возникает потребность по свежим следам разобраться в этих первых впечатлениях. Но, чтобы не растеряться в их обилии, надо прежде всего уяснить себе, с какими представлениями о Европе пришли в нее миллионы советских людей.

Основным в чувствах к Европе советских публицистов, поэтов и писателей очень рано стали настороженность, холодок отчужденности, часто переходивший в открытую неприязнь. Наиболее яркое отражение эти настроения нашли в творчестве Маяковского. В стихотворении поэта «Моя речь на Генуэзской конференции» поэт заявлял, что советские делегаты в Европе

Не нищие, жмущиеся от господского света,
Мы ехали, осматривая хозяйскими глазами
Грядущую
Мировую Федерацию Советов.

Обращаясь к буржуазным правительствам Запада, Маяковский не без вызова писал:

Не вы на испытание даете срок —
А мы на время даем передышку.

Было бы очень просто агрессивные чувства к Европе, вспыхнувшие в писательской молодежи первых лет революции, отнести целиком за счет коммунистической пропаганды. Она, конечно, имела, но не в ней одной было дело. Достаточно вспомнить Блока: генеалогия Блоковских «Скифов», этого риторического, но искреннего и местами страстного разговора русского поэта с Европой, — восходит к Пушкинским «Клеветникам России». Сходны даже угрозы, которые оба поэта посылают по адресу «старой Европы»: напоминая о том, что «нам с Европой» не нове спорить, Пушкин грозит — «озлобленным сынам» ее, что

Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов. —

А Блок угрожает, что если старый мир Европы не примет приглашения молодой России «на братский пир труда и мира», — Россия в будущем перестанет играть роль «щита» меж Европой и монгольским миром; в грядущей схватке между ними она сохранит зловеющий нейтралитет и будет издали смотреть «своими узкими глазами», «как смертный бой кипит».

Конечно, между высказываниями Блока и Маяковского, не говоря уже о массе второстепенных советских поэтов и писателей, была большая разница: с мукой вперял Блок свой взор в грядущее России и Европы, чувствуя, что тяжесть жизни в близком будущем удесатерится, а Маяковский смотрел на-

встречу грядущему, озорно поигрывая кистенем, дразня отечественных и европейских обывателей. В стихах из Парижа поэт признавал, что собор Парижской Богоматери «лучше Блаженного Васьки», но сожалел, что он

● Под клуб не подойдет —

Темноват,

Об этом не думали классики...

Едва-ли кто-нибудь станет заблуждаться относительно истинной природы этого озорства: в нем мало было подлинного революционного темперамента, под лаком революционной фразеологии скрывалось томившее чувство нашей неполноценности.

Гораздо больший интерес представляют чувства, нашедшие свое отражение в художественной литературе после того, как стала очевидна иллюзорность надежд на близость мировой социальной революции и в жизни Западной Европы началась полоса послевоенной стабилизации. Роман Б. Пильняка «Третья столица» (1923 г.) был написан вскоре после возвращения писателя из поездки в Европу. Он даже задуман был — как пишет сам Пильняк — «около Себежа, на границе двух миров» — старого, обреченного и нового, в муках рождавшегося. В одном из лирико-философских отступлений, которые так любил этот писатель, он сравнивает русскую революцию с эпохой Петра. Несмотря на все ужасы Петровского времени, «дни Петровской эпохи останутся в истории русской поэмой». Такой же «поэмой» останется в ней и октябрьская революция. При всем том, Пильняка-современника этой драматической «поэмы» смущает огромность цены, которую платит страна за «поэму»: «Я ведь видел того дворника, который съел свою жену, он не мог не сойти с ума...» Но тут же, словно спохватившись, Пильняк добавляет: «Но мне не страшно это, я видел иное, я мерил иным масштабом. Новая горит свеча Яблочкова, от которой рябит в глазах, — шестой уж год. Знаю: все живое, как земля веснами, умирая, обновляется вновь и вновь». Несмотря на эти заверения, колебания продолжают мучить писателя и он воплощает их в образе скромного русского учителя Емельяна Разина, «кандидата филологических наук». С начала октябрьской революции Разин служил секретарем уездного отдела народного образования, самоотверженно перенося голод и холод. Но вот каким-то образом довелось Разину попасть за-границу, увидеть Европу. Вскоре же после возвращения домой Разин почувствовал, что он стал смотреть на Россию

другими, не прежними глазами. Он вдруг увидел и осознал, «как убога, как безмерно нища Россия, он услышал дубасы российские и увидел одеяло в окне (стекло разбилось и дыру эту несколько лет назад законопатили старым одеялом)... он не мог простить миру стоптанные башмаки своей жены». От себя писатель и тут добавляет: «Не всякому дано видеть, и иначе: кто видит — безумеет». С этой первой поездки за границу завсегдатаем повестей Пильняка становится незаметный скромный русский человек, безропотно переносящий лишения, выпадающие на его личную долю, но с каким-то угрюмым фанатизмом собирающий факты, иллюстрирующие непосильность «цены», которую платит страна за «поэму» (вспомним статистика Непомнящего в «Машинах и волках»).

Как ни ограничено было число советских людей, которым удавалось побывать в Европе, ее более высокий материальный и культурный уровень дразнил воображение советского общества настолько, что чуткий к веяниям своего времени Маяковский не раз вынужден был откликаться на них. Особенно интересен лирический отчет о заграничных впечатлениях в стихотворении «Они и мы». Поездив по Европе, подъезжает поэт к знакомому Белорусско-Балтийскому вокзалу в Москве. Его встречают грязь, толчея, «знакомые картины»:

Как будто у проклятых
 Лозунг один:
 Толкайся,
 Плюйся,
 Да тискай...
 Загрустил, братцы, я:
 Дыры дразнятся:
 Мы и Франция...
 Какая разница!

Но поэт не дает воли своей грусти: вспоминая, что вся русская бедность — результат великого усилия рвануться в лучший мир, «пересташь европейски фыркать», и он переходит в наступление:

С пути
 Джентльмены лаковые!
 Товарищ,
 Сюда становись,
 Из грязи
 Рабочую жизнь выволакивая.

Очень сложен стал переплет чувств, возникший в советском обществе в связи с тяжелым экономическим кризисом, разразившимся в Европе и в Америке в конце 20-х годов. В России эти годы совпали со строительством 1-ой пятилетки. Индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства происходили в обстановке новой волны террора. Это были страшные годы для миллионов людей. Сведения о том, что Европа и мир переживают затяжной экономический кризис, пришлось как нельзя кстати официальным публицистам. Теперь на все лады они стали варьировать одну и ту же тему: дни старого капиталистического мира сочтены, он деградирует на глазах, его интеллигенция нищенствует, почитая за счастье для себя получить возможность уехать в советскую Россию, где культурные силы нарасхват. Во множестве индустриальных повестей замелькали фигуры представителей европейской технической интеллигенции, работающих рука об руку с советскими ударниками первой пятилетки. О деградирующей Европе тех лет много писал тогда Эренбург («Москва слезам не верит»). Насколько мировой экономический кризис влиял на антиевропейские настроения советского общества, можно судить по тому, что даже Б. Пастернак, внутренне всегда чувствовавший свою связь с западно-европейской культурой, в своем «Втором рождении» (1934 г.) писал:

Прощальных слез не осуша,
И плавав вечер целый,
Уходит с Запада душа,
Ей нечего там делать.

Экономический кризис, безработица, рост фашизма — все это для немногих советских поэтов и писателей, имевших возможность побывать в Европе, было только новым доказательством неизбежного скорого конца Европы:

О, Европа! Покажется, будто
В этот час на тебя клевету, —
Не Давидом в сандалии обутым,
Ты стоишь, зажимая прашу,
Голиафом, готовым для казни... —

подытожил свои впечатления о Европе Н. Тихонов в 1936 году. И он был отнюдь не одинок в таком восприятии Европы. Чем больше сгущались тучи на европейском горизонте, тем больше возрастала потребность в руководящих кругах советского

общества уйти из Европы в «могущество величественной страны»:

В Европу поехать сейчас?

Спасибо!

Меня не заманишь в нее калачом! —

писал в 1939 году друг Маяковского поэт Н. Асеев.

Когда разразилась 2-ая мировая война, в которой Россия, связанная соглашением с Гитлером от 23-го августа, сперва не приняла участия, некоторые советские публицисты восприняли ее как сбывшееся пророчество «Скифов» Блока. Воспользовавшись приближением 20-летия со дня смерти поэта, они в 1940 году сочувственно цитировали строки «Скифов»:

Но сами мы — отныне — вам не щит.

Отныне в бой не вступим сами!

Мы поглядим, как смертный бой кипит

Своими узкими глазами!

К чести советского общества надо, однако, сказать, что эти нотки не были господствующими в его настроениях, всплывая лишь поверх растерянности и подавленного недоумения. Это обнаружилось на докладах Эренбурга, вернувшегося в 1940 году в Россию после падения Парижа. Хотя Эренбург всю свою жизнь фрондировал против Европы, в глубине души он любит Европу любовью Ивана Карамазова. Доклады его о жизни Европы в пламени новой войны и под пятой торжествующего фашизма собирали огромную аудиторию. И неслучайна роль литературного Литвинова, которую он сыграл в публицистике периода советско-германской войны, когда в срочном порядке надо было восстанавливать оборванные идейные связи с Западной Европой. «Никогда мы не отделяли нашей культуры от европейской» — заверял Эренбург в одном из своих военных очерков 1943 года «Мы и Европа» — мы связаны с ней не проводами, не рельсами, но кровеносными сосудами, извилинами мозга... Передовые умы России в прошлом столетии разделяли страсти Европы, ее надежды, ее горе. Они внесли в европейское сознание русскую страстность, правдивость, человечность. В неистовстве Белинского, в подвижничестве Чернышевского, в героизме русских революционеров, видны не только дары Запада, наследие гуманизма и Французской революции, в них чувствуется и то искание правды, которое было историческим путем русской культуры... На трагедию Европы мы смотрим не со стороны».

В первый тяжелый для России период войны, литературное начальство поощряло немногих в современной литературе «европейцев». Именно в это время оно стало благоволить и к Пастернаку, не только не требуя от него политических стихов, но позволив ему опубликовать небольшую, но очень интересную статью — комментарий к его переводам Шекспира. В этой статье Пастернак писал, между прочим: «Шекспир всегда будет любимцем поколений, исторически зрелых и много переживших». Когда в произведениях Шекспира «заходит речь о добре и зле, о лжи и правде, перед нами возникает образ непредставимый в обстановке раболепия и низкопоклонства. Мы слышим голос гения, короля среди королей и судьи над богами, голос позднейших западных демократий, основанием которым служит гордое достоинство труженика и борца. Его народ с нами...»

За эту уступку, сделанную во время войны в отношении «гнилого Запада», и заплатились советские писатели в августе прошлого года. Острые чистки, начатой после постановлений ЦК компартии и доклада Жданова, направлено непосредственно против тех писателей, которые даже не столько в своих произведениях, сколько во всем строе души сохранили чувство привязанности к западно-европейской культуре. Но задачи ее шире: это орудие борьбы с теми настроениями, которые широко разлиты в обществе и так резко расходятся с намерениями правящей верхушки, с теми ожиданиями перемен, которые лелеяла страна в годы войны.

Агрессивность, проявляемая официальными публицистами в комментариях к постановлениям ЦК компартии, прямо подводит и к другой «занозе», которая сидит в душе миллионов советских людей в результате встречи с Европой, происшедшей на излете 2-ой мировой войны.

Как ни нища и ни разорена была Европа в результате страшной войны, она оказалась мало похожей на тот плакат о «загнивающем Западе», который усердно малевали советские публицисты. Тысячи и тысячи советских бойцов, писал В. Гроссман в своем очерке «На рубеже войны и мира» («Знамя», 1945 г.), увидели бытовой уклад немецкого города: «Культ личного удобства, посыпанных песком дорожек, уюта, добротных предметов, мебели, посуды, культ 'муниципальной' цивилизации». Гроссман пытается этой бытовой цивилизацией объяснить чувства превосходства и «заносчивости», которые были у фашистов: «Солдаты фашизма полагали: ежели деревенская дорога не асфальтирована и ежели в деревенском доме нет больших стенных часов и умопомрачительного набора кастрю-

лек и вышитых подушек, то обитатели этого дома принадлежат к низшей расе». Надо думать, что бойцов Красной Армии эти наблюдения наводили на другие мысли и они не без горечи задумывались над вопросом: отчего в других странах нет той нищеты, которая окружает их дома?

Еще за полтора года до доклада Жданова, напавшего на писателей за их «низкопоклонство» перед «иностранщиной», придворный поэт Сергей Михалков в басне «Свинья» отразил растущее недовольство власти заграничными впечатлениями советских граждан:

Был поросенок послан за границу —
За тридевять земель, в далекие края.
Он вырос, возмужал. Объездил все столицы.
И вот, домой вернулся как... свинья!
И что-же?
Все дома не по ней. Все дома ей не гоже.
Знай хрюкает о том, что есть в чужой стране...
И на свиней заморских так похожа,
Что басню сочинять — и то противно мне!

Это была нарочитая грубость. В ней сказалась наметившаяся к концу войны новая линия «литературной политики». Опасная тема о европейских впечатлениях советских людей, о сомнениях, которые поселила в их душах непредвиденная «встреча», одним движением цензурской губки была стерта со страниц советской печати. Вместо нее советская литература «европейского» периода войны — особенно поэзия — начала усиленно разрабатывать тему тоски по родине:

Вдали от родины иду по улице ночной.
Развалины домов полны зловещей тишиной.
Костел, как каменный костер,
Где я? То Прага, Бухарест, София иль Белград?
Не всель равно? Иду один средь сумрачных громад. —

говорит в стихотворении «Пароль» популярный поэт Евг. Долматовский. Прогулка его в ночном чужом городе прерывается «гортанным окликом, строгим криком» военного патруля. Поэт не знает пароля и взамен его произносит только два слова «я — русский». Этого достаточно, чтобы патруль почтительно взял под козырек и удалился. Хотя это и льстит поэту, он попрежнему во власти своей тоски по любимой, оставшейся в

далеком доме родины. В другом стихотворении, попав в завоеванный Берлин, поэт восклицает:

Как скучно, друзья, в воскресенье
На тусклой немецкой заре.
Сегодня дает представление
Открытое вновь кабаре.

Но и кабаре не рассеивает скуки, «кирпичные дыры и раны, голодная кинозвезда» оставляют поэта равнодушным. Правда, он пытается подыскать объяснение в том, что он сердцем еще продолжает воевать. Но и тут стих остается вялым:

Пойдемте, товарищи, что ли,
Сюда заглянули мы зря.
Чужой мы не чувствуем боли.
На улице дождь и заря.

Стихотворение кончается приглашением товарищей зайти в номер поэта, где в полночь можно поймать московскую радиопередачу.

Строчку из Долматовского «Не все ль равно? Иду один среди сумрачных громад» — можно было бы поставить в качестве эпиграфа к целому циклу стихов, посвященных заграничным впечатлениям:

Мы в немецком городе проснулись.
Странная была повсюду тишь.
Тошно мне от этих узких улиц,
От чужих пирамидальных крыш —

вторит Долматовскому Мих. Матусовский в стихотворении «Дальние дороги». И так же тоскует Конст. Симонов:

Пять дней живу в пустом немецком доме,
Дни так ползут, как будто воз везу,
И нету никого со мною, кроме
Моей тоски да двух солдат внизу.

Тоскующей тенью бродит за поэтом его шофер, все спрашивая — не нужна ль ему машина? И оба прислушиваются к тому, как этажом ниже солдат на разбитом рояле пытается подобрать знакомый мотив песни о разлуке. Оживляется Симонов только узнав, что где-то поблизости остановились приехавшие русские

из Москвы. Он бежит туда, «на огонек» заглядывают другие скучающие советские люди. В несколько минут организуется дружеская пирушка:

И мы сидим у сдвинутых столов,
И тесно нам, и водка в чашках чайных.
И я ищу каких-то добрых слов,
Каких-то слов совсем необычайных.

Поэт верит, что воспоминание об этой ночной пирушке с почти незнакомыми, но родными сердцу людьми, не угаснет в памяти. И, может быть, через много лет, встретя на улице Москвы одного из участников этой пирушки, вновь оживут в душе

Гитара, ночь и русская артель
Средь ледяного холода чужбины.

Это звучит искренно и несомненно отвечало какой-то душевной потребности. Но чем больше вчитываешься в эту заграничную лирику, тем отчетливее выступает типичная ее особенность: отсутствие внутреннего интереса к Европе, который так характерен был для всей русской литературы в прошлом и который догорающим фитильком живет в послевоенных стихах Эренбурга. Отсутствие этого подлинного интереса — логический результат той антиевропейской идеологии, в которой в течении двух десятилетий жило и воспитывалось советское общество. Замечательно, что настроения эти сказались даже у Бориса Пастернака в его единственном стихотворении этого периода, посвященном Европе. Пастернак был в Европе в 1944 году, заглянул «в черные от слез обводины», «заплаканные очи славянства», но

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвести столетье.

Выделение из всего сложного комплекса впечатлений, вынесенных от встречи с Европой, только этой одной темы — тоски по родине — в советских условиях было своеобразной формой бегства от действительности (или, употребляя принятый в американской литературе термин — эскапизма). Это была линия наименьшего сопротивления для писателей и поэтов и на определенном этапе это отвечало планам руководителей литературной политики.

Когда Матусовский вдали от родины в 1945 году, выражая эти настроения, только и мечтал о том, чтобы вновь увидеть

Легкую, пронизанную светом,
Жизнь мою, судьбу мою — Москву

это сочувственно цитировалось в статьях официальных публицистов. Но с начала 1946 г. курс литературной политики резко начал меняться. Первой ласточкой этого поворота была новогодняя статья председателя Союза советских писателей — теперь отстраненного за недостаточную «бдительность» — Тихонова в «Литературной Газете», в которой он упрекал поэтов и публицистов за то, что по Европе они проехали в машинах, с маленькими записными книжками, в которых отмечали случайные штришки. Вслед за Тихоновым выступили критики и публицисты. Наиболее интересна среди них статья Евг. Рысса «Невидящие глаза»:

«Рязанские колхозники, уральские инженеры, скотоводы из Казахстана, трактористы Тамбовщины, рабочие новых заводов-гигантов и члены колхозов-миллионеров, сельские врачи и агрономы, бухгалтеры и комбайнеры, советские люди разных национальностей, разных квалификаций, разных культурных уровней, но одной советской души, перевалили через Карпаты, пересекли Дунай, Вислу, Одер... Они увидели десять стран, жизнь многих народов, удивительные для нас взаимоотношения людей капиталистического мира... И, самое главное, они увидели, что везде, от Средиземного моря до Ледовитого океана, люди борются за свободу». С нетерпением ждал Рысс откликов этой встречи с Европой в художественной литературе. Но то, что появилось пока, его разочаровало: «В исторические для Европы дни проехал советский поэт по нескольким странам, ничего не почувствовал и с гордостью рассказал во многих стихах, что он и не хотел ничего видеть и чувствовать, кроме тоски по родине и по любимой».

На первый взгляд могло показаться, что в этой статье намечается какой-то принципиальный поворот, отказ от традиции советской национальной исключительности, что, может быть, теперь советским писателям можно будет перестать смотреть на Европу «невидящими глазами» и рассказать о тех настоящих впечатлениях, которые миллионы советских людей вынесли от встречи с Европой. Очень скоро, однако, выяснилось, что «новые задачи», поставленные перед литературой, гораздо уже и, пожалуй, не так уж новы: они сводятся к тому, чтобы без конца вдалбливать в головы советских читателей, что

в послевоенной Европе только и свету, что в советском окошке; о борьбе за свободу народных масс Европы в советской литературе дозволено писать только по одному железному трафарету: все партизаны французского, югославского, чешского, норвежского, немецкого подполья непременно были связаны с представителями советской армии и компартии, присланными в помощь из Советского Союза. По этому рецепту и написана бездарная пьеса К. Симонова «Под каштанами Праги», которая могла бы быть написана «под каштанами» парткомовского садика в советской провинции. Хотя слабость пьесы была единодушно отмечена всеми критиками, один из них — М. Гельфанд в «Знамени», ном. 7, 1946 года — откровенно заметил, что было бы «близорукостью» видеть в пьесе «только ее крупнейшие художественные недостатки» и не заметить как «она помогает политическому просвещению народа». Это «политическое просвещение народа» «при всех обстоятельствах составляет одну из важнейших функций нашего театра и нашей драматургии».

В согласии с этими новейшими задачами «политического просвещения» советского народа написано немало очерков, вроде «Последние дни фашистской империи» Льва Славина, «Падение Берлина» М. Гуса, роман Вс. Иванова «При взятии Берлина», «Люди и встречи» А. Караваевой и т. д. В них много всех родов оружия, масса военных всех рангов, изредка мелькает измученный силуэт освобожденного из концлагеря пленного, спешащего вернуться домой, много заискивающих, угодливых улыбок почему-то непременно «жирных немцев» и в сущности очень мало живых людей. Некоторым исключением среди них является роман Вс. Иванова: автор не смог скрыть в нем своей растерянности художника от обилия впечатлений, вызванных встречами с Европой, в его произведении попадают меткие выражения, схваченные на лету или подобранные в уличной пыли — вроде замечания одного военного, заболевшего ревматизмом: «что тебе Матвей от тех трофеев, когда ноги ноют» — но все это только крупницы, тонущие в море трескучей публицистики. Почти во всех этих произведениях ландшафт Берлинской победы украшен присутствием безымянного молодого казака: он стоит молодецки у Бранденбургских ворот или вблизи рейхстага, вытирает счастливый пот со лба и непременно глядит при этом на восток.

Читая иные из этих описаний, немножко подозреваешь советских авторов в том, что до написания своих вещей они заглянули в старые брошюры 1815-1820 г.г. — «Русские в

Германии», «Торжество России, или Русские в Париже», «Казак в Лондоне» — в которых в свое время нашел свое выражение выпрешенный и ходульный «растопчинский» патриотизм. Впрочем, иные произведения в своем сюсюкании опускаются ниже литературно-принятого уровня. Характерны в этом отношении очерки А. Караваевой* «Люди и встречи» («Новый мир», 1946 г.), посвященные послевоенному Парижу. Писательница спешит в лицах представить те чувства горячей любви к Советской России, которые были так живы к концу войны (менее живы они сейчас). Но пишет она об этих чувствах во вкусе былых дам-патронесс, которым случилось побывать в сиротском приюте. В мэрии округа Сены и Уазы к Караваевой подошла незнакомая женщина, держа за руку хрупкого мальчика в чистеньком костюмчике и даже с ярким пестреньким платочком, выглядывавшим из нагрудного кармашка. Она попросила Караваеву поцеловать «сиротку». В пояснение женщина умильно шепчет: «Пожалуйста, не удивляйтесь. Жизнь наших детей будет нелегкой. Знаете, так хочется прибавить им силы! Я сказала этому сиротке: 'Запомни этот день! Я попрошу, чтобы тебя, как мать, поцеловала женщина из самой сильной и справедливой страны в мире!' И он запомнит этот день».

Иван Карамазов мечтал поехать в Европу, хотя был почему-то уверен, что найдет там только кладбище. Но он знал, что на этом кладбище каждый камень «гласит о такой горячей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку», что он хотел пасть ниц и целовать землю этого старого кладбища европейской культуры... Первое поколение писателей революции мечтало поехать в Европу сейчас-же после мировой социальной революции, помочь европейцам устраивать клубы безбожников из древних соборов. Ни те, ни другие мечты не осуществились. Но миллионы русских людей пришли в Европу в результате мировой войны. Одни из них пришли пленниками или — того хуже — рабами, другие — освободителями и завоевателями. Огромное большинство их уже вернулось. Но молчаливы те, кто из нищеты неволи вернулись к нищете родной страны. Молчливо-сосредоточены и рядовые бойцы великой войны. Это о таком бойце рассказал фронтовой поэт С. Гудзенко «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем». Этот рядовой солдат

...видел столько городов,
Старинных городов,
Он рассказать о них готов,
И даже спеть готов.

Так почему же он молчит?
Четвертый час молчит.
То пальцем по столу стучит,
То сапогом стучит.

А у него желанье есть.
Оно понятно вам?
Он хочет знать, что было здесь
Когда мы были там.

Это редкие ноты, тонушие в море официальщины. Вся авансцена печати, когда в ней пишут о встрече советских людей с Европой, занята одобренными и проверенными писателями и публицистами, которые чувствовали себя в Европе не посланцами народа молодой, пережившей огромную революцию страны, а представителями новой, растущей могущественной державы. Но даже и в их писаниях пробивается одна черта, характерная для настроений миллионов участников войны: как и русская армия заграничных походов времен Наполеона, миллионы советских участников заграничного похода мечтают не о военной мощи, не о великодержавной экспансии страны, а о мире, о мирном труде и о какой-то иной, более свободной и более достойной жизни, чем та, которая была их уделом до сих пор.

В. Александрова

НОВГОРОД

(Из воспоминаний детства).

Каждый год в конце мая, когда проходил ладожский лед и становилось тепло, мы с моей няней отправлялись из Петербурга в Новгород на все лето к моим дедушке и бабушке — это повторялось все мое детство до девятилетнего возраста.

Как я любил само путешествие и как ждал его! Наконец наступал счастливый день и в необычно ранний час меня будил ласковый папин голос: «вставай, мой дружок, пора в Новгород!» И всегда это было в солнечное утро и солнце уже заливало мою детскую, точно радовалось вместе со мной.

Мы ехали в третьем классе. Вагоны Николаевской железной дороги были темноваты, с низенькими редкими окошками. Выбирали вагон почище и поновей, там приятно пахло лаком от свежее выкрашенных клейких скамеек. Сейчас же как усаживались и пока поезд еще стоял, я уже просил есть — у меня появлялся необыкновенный аппетит и все было как-то особенно вкусно — и пирожки и холодный цыпленок или рябчик. Брали, конечно, в дорогу и чайник — иначе вообще не путешествовали — и на станциях няня бегала за кипятком, или это делал добрый кондуктор.

Сидя в вагоне, я любил слушать все эти железнодорожные звуки: уютные позвякивания и поскрипывания и ритмические стуки и перебои колес, навевающие удивительные мелодии. Меня занимал еще и один загадочный колокол — такие стояли возле станций — в виде гриба, который вдруг сам собой начинал глухо и мелодично звонить.

До Новгорода в то время надо было ехать почти целый день. В Чудове была долгая томительная остановка и мы пересаживались в другой маленький поезд, узкоколейный, где были старинные вагоны с боковыми дверцами. Поезд тащился медленно, как-то неохотно отъезжая от каждой станции. Тогда не торопились — пока еще паровоз наберет воды и дров, пока

еще сторож окончит выбивать дробь на станционном колоколе перед тем как ударить с толком и с расстановкой, сначала раз, потом два, потом три! Но и после этого паровоз еще долго пыхтел и вагоны толкались буферами, пока, наконец, учащенно дыша и дымя толстой трубой, машина не трогалась дальше.

На полустанках я успевал выбегать на травку, усеянную уже желтыми одуванчиками, подышать свежим воздухом, березовым духом. «Подберезье», «Спасская Полисть», «Померанье» — милые с детства древние имена этих мест. Новгород возник вдали внезапно, совсем сказочно, сразу показываясь за лесами и перелесками всеми своими церквями, широко раскиданными на ровном просторе. Солнце горело на куполах и крестах и у самого Ильменя, на краю горизонта, ослепительно сверкали, переливаясь и искрясь, золотые главы Юрьева Монастыря.

Со станции нас вез извозчик, сначала гремя по булыжной мостовой, а потом мы бесшумно катили по мягкой дороге, расплескивая лужи, мимо длинных заборов, садов и огородов, вдоль зеленого Вала — к нашей древней Прусской улице. Тут стоял дедушкин дом, где я родился, — низ кирпичный, верх деревянный с мезонином на крыше. Дом осеняли старые березы с толстенными белыми стволами. А позади дома лежал тенистый сад, казавшийся мне огромным.

Как радовались все в доме моему приезду! Услышав дрожки, на улицу высыпало все его население и я попадал в объятия всех по очереди. Каждый год повторялось: «Ах, как ты вырос — ну вылитая мама» или «вылитый папа» (в этом никогда не сходились). К моему приезду приплеталась и прабабушка, совсем крошечная старушка, жившая на другой стороне Волхова. Удивлялись, если она приходила пешком по грязи. «А так мягче» говорила она. Старушка все гладила меня, шамкая «Ах ты, Славушка славенький» и подчивала меня мармаладом.

Сразу же меня начинали угощать и вообще закармливали. В доме весь день еда сменялась едой. После утреннего чая со сливками, часов в одиннадцать, был «фриштык», когда пили кофий (именно кофий по петербургскому или голландскому, а не «кофе») и подавались «сканцы», ржаные пышные блины с поджаренной коркой, политые топленым маслом и со сметаной (таких нигде больше не ел). Часа в два был обед и всегда за столом (раздвижным с массой ножек) бывало человек

десять-двенадцать. И семья была большая и всегда появлялись еще какие-то приживалки и нахлебники. Много ели рыбы — любили леща с кашей, пироги с визигой, уху из ершей, особенно же карасей в сметане. Мне поджаривали особо крохотных карасиков, которых я сам ловил в болоте за валом. Потом в скором времени подавали чай с вареньем и печеньем, а кончался день сытным ужином. За лето я круглел от всей этой снеди.

Все хозяйство лежало на «Бабе Дуне», старшей сестре дедушки, которая весь день хлопотала и была грозой дома. Она была высокая, ростом с дедушку, смуглая, костлявая с орлиным носом и орлиным взглядом, курила и говорила басом. Для других была ворчунья и «ведьма», со мной же была необыкновенно ласкова и нежна. Иногда, когда я уже шел в «объятия Морфея», как любил говорить мой папа, Баба Дуня приносила еще в кроватку на сон грядущий чего-нибудь сладенького, благославляла меня на ночь и укрывала.

Кроткая же бабушка Наталья Федоровна, мать моей мамы, была «белоручка», до хозяйства не касалась, что-то все шила или вышивала (до старости очков не носила) или читала французскую книжку. Воспитана она была одной опальной фрейлиной Павла, которая научила ее и «изящным искусствам». В зале над диваном висела картина бабушкиной работы — большая акварель в нарядной старинной раме — копия французской гравюры 18-го века «Семья моряка в бурю», с длинной французской надписью, тоже ею каллиграфически скобированною.

По вечерам, перед ужином, мы часто усаживались в саду с няней и тихой моей бабушкой и напевали разные песенки: «Слети к нам тихий вечер, на мирные поля, тебе поем мы песню, вечерняя заря» (не помню чьи слова) или более старинную: «Пчелка золотая, что ты жужжишь, все вокруг летаешь, прочь не летишь? Или ты любишь Лизу мою?» («Лиза — это твоя мама», говорила бабушка). И таким миром веет и теперь на меня, когда я вспоминаю эти милые слова и мелодии. Во всей огромной семье я был единственным внуком и на меня изливалась вся нежность моей бабушки.

Дедушку моего Тимофея Егоровича я очень любил — он был добрый и ласковый со мной, но на вид был строгий, был очень большого роста, с длинной седой бородой, ходил в широкополой фетровой шляпе и с высокой тростью с серебряным набалдашником, как это приличествовало духовной особе его ранга. На груди носил в торжественных случаях золотой

наперстный крест с аметистами — предмет моего восхищения. Служил он необыкновенно просто и проникновенно, как никто, и голос его был удивительной красоты!*)

Дед мой был человек общительный, можно сказать, «светский», любил хорошо угостить и в доме его беспрестанно бывали гости. Любил он и поиграть в «картишки по маленькой». Помню у нас многолюдный вечер с танцами, когда мои дяди устроили и настоящий спектакль. В саду был сооружен театрик с красным кумачевым занавесом и разыгран был старинный водевиль «Петербургский немец» с куплетами (некоторые, очень смешные, я до сих пор помню), а сад был иллюминирован гирляндами разноцветных бумажных фонариков и плошками.

В доме бывало много офицерства — церковь деда была причислена к артиллерийскому ведомству. У дедушки были долголетние и, повидимому, очень хорошие и простые отношения с Великим Князем Михаилом Николаевичем (шефом артиллерии); последний был даже крестным отцом младшего сына дедушки, моего друга детства, и дед, в свои редкие приезды в Петербург (он всегда останавливался у нас), каждый раз неизменно навещал Великого Князя, запросто, хотя и надевал все свои регалии, среди которых был Владимирский крест и медаль за турецкий поход 1877 года.

*
**

В Новгороде я жил почти как в деревне и целый день был на воздухе, чего так не доставало в Петербурге. На дворе разгуливали и кудахтали куры, в коровнике жила питавшая меня своим молоком корова Машка. Я заглядывал и к ней в коровник и в конюшню, где навещал двух маленьких болгарских лошадок, привезенных с турецкой войны, и угощал их сахаром. У одной, Османа, было разрублено на войне ухо и я был горд, что у нас живет такой геройский конь. Рядом же в сарае был сеновал, где я любил залезать с головой в ароматное сено.

Я спал в той самой комнате, где родился, оттуда был прямо выход в сад, а наверху в доме жили «большие», куда я посто-

*) Выросши, я узнал, что деда в городе высоко уважали за независимость взглядов. Между прочим, он имел смелость освятить в Новгороде новое здание театра, вопреки тому, что это дом неугодных церкви «лицедеев» и «скоморохов», за что мог по тем временам рисковать очень серьезной опалой. Тоже лишь позже, я мог понять каким исключительным человеком был вообще мой дед, особенно для своей среды.

янно бегал, взбираясь по страшно крутой и скользкой «черной» лестнице. По воскресеньям и праздникам утром меня всегда будил чудный бархатный бас колокола стоявшей по близости нашей колокольни (он звучал надо мной в самые первые дни моего существования!) И я просыпался в целом море звуков — пели на все лады колокола бесчисленных новгородских церквей и среди них я всегда различал четыре особенных голоса — перезвоны звонницы далекого Софийского Собора. Утром, после чая у бабушек, я сбегал в сад, там меня ждала доска-качалка, качели на веревках и «гигантские шаги». Через сад шла березовая аллея и росли корявые яблони. На одной, совсем старой, зрели наливные яблоки, такие белые и сахарные, каких нигде больше не приходилось встречать. Наш сад выходил на пустырь и сквозь щели забора был виден глубокий овраг, довольно страшный, поросший бурьяном, окруженный разными легендами. За оврагом же шли чужие вишневые сады, оттуда часто слышалась трешетка; это сторожика, тетушка Анисья, отгоняла воробьев и воришек. Я любил забираться в наш огород, где приятно было полакомиться, прямо с грядки, маленькими колючими огурчиками или морковкой, которая пахла землей.

Неизменным товарищем всех моих игр и предприятий был мой младший дядя Миня, который был лишь немногим старше меня. Нас очень соблазняли яблоки в соседнем саду и мы с замираньем сердца лазили через высокий забор, вовсе не считая это каким-то грехом, а наоборот доблестной отвагой. Только панически боялись хозяина, курчавого седого старика Дербушова, у которого лицо и борода были совсем, как у Николая Угодника. Он, заметив похитителей, кричал истошным сиплым голосом и кидался в погоню, а мы в ужасе карабкались обратно через забор и возвращались с царапинами и ссадинами на руках и коленках. Но мы не только проказничали и играли в наши детские игры. Мой дядя Миня много рисовал и я восхищался и завидовал, как у него ловко и уверенно текла из под карандаша линия, особенно когда он изображал скачущих лошадей или профили голов.

Усердно рисовал и другой старший дядя, Николай, но он примером своим не заражал. Был он вообще «горе семьи» и неудачник и из рисования его ничего не выходило: то он измышлял какие-то византийские храмы, то чертил бесконечных святых, которые были все на одно лицо и в семье лишь посмеивались над неудачным «богомазом». Был он также и «стихоплет», как непочтительно выражались об его поэзии, причем

был чрезвычайно плодовит (говорил, что у него стихи сами собой льются) и норовил каждому читать свои бесконечные оды, большею частью высоко-патриотические, от которых, как говорили, «вяли уши», а то мог уморить своими невозможными рифмами. Но был он необыкновенный добряк, благодушно выносил все насмешки, и сам шутил над собой, даже терпел усы и пенсне, которые мы пририсовывали его святым. Недоросль, недотепа, дикарь, чудака, — как только его не честили! (А от Бабы Дуни ему доставалось, конечно, больше всего!). На людях он был отчаянно застенчив, неуклюж, рассеян, но был при этом в моих глазах «страшный силач», с каменными бицепсами, которыми перед всеми хвастался. Мы были приятелями.

Приятелем моим был и третий из моих новгородских дядей — Тима (в семье было пятеро братьев, двое старших жили в Петербурге). Помню его студентом-технологом, страшно высокого, худого, длинноногого, и как, маленьким, мне бывало восхитительно, усевшись верхом у него на шее, мчаться как вихрь по березовой аллее через весь сад к кустам крыжовника — прямо на забор! Он очень хорошо играл на виолончели.

На нашей Прусской улице было тихо и сонно, распевали петухи, лениво лаяли собаки, изредка кричал мороженщик «сахарно морожено!» или громыхал водовоз и, если проезжала пролетка с седоком — это было событием, и в окнах домов и домишек, с неизбежными геранями, сейчас же показывались любопытные головы старушек и девиц. Домики почти все были деревянные и чередовались с заборами с широкими щелями, вдоль которых тянулись «тротуары» — изгнившие доски, проросшие травой и крапивой, в дождь хлюпающие под ногами. Всюду были сады. Улица была замощена только до половины ее длины, и недалеко от дедушкиного дома уже кончалась булыжная мостовая и шли колеи, мирно заросшие травой, как в деревне.

Это деревенское место улицы было ареной наших детских игр; больше всего играли в «рюхи» («городки»), и собирались мальчишки, со всей улицы, иногда и взрослые. Когда я подрос, я тоже стал играть с моими дядями. Любил поиграть с нами и мой отец, в свои редкие приезды, и под его ударом — он играл левой рукой — к моему восторгу рюхи разлетались по всей улице. Играли и в лапту, а когда я был поменьше, в бабки, в палочку-постукалочку и другие детские игры.

Забредали на нашу Прусскую улицу дурачки и юродивые, которых было много в Новгороде — еще остаток былой стари-

ны. Этих безобидных «Божьих людей» берегли и жалели, только уличные мальчишки их донимали и бросали в них камушками. Захаживал сюда один злой старикашка в фуражке с кокардой, который грозил крючковой палкой, когда мальчишки бессмысленно распевали вокруг него: «Старый хрен — безмен».

Когда шел дождик и приходилось сидеть дома, сквозь заплаканные стекла из дедушкиной залы я видел зеленые крыши и главы Десятинного монастыря, выглядывающие из-за садов, длинный серый забор, покосившуюся калитку и деревянный домик в три окошка, где за кисейной занавеской таилась «Сафониха», сплетница и язва всей Прусской улицы. Этот знакомый вид, когда мне было уже около девяти лет, я нарисовал очень тщательно (помню и номер на калитке: 17). Это был мой первый пейзаж с натуры и он имел большой успех у домашних (он же вместе с другими моими рисунками был показан в школе Общества Поощрения Художеств в Петербурге и тогда я был принят в классы, еще до поступления в гимназию).

Мне было дорого и мило все то, что из года в год, приезжая в Новгород, я находил на тех же самых местах, в комнатах дедушкиного дома. В зале, где висела моя любимая бабушкина картина, стоял большой старинный диван красного дерева с ампирными закрутасами и длинный палисандровый роаль с красивыми бронзовыми украшениями, на котором поигрывали мои дяди, а в углу — футляр с виолончелью дяди Тимы. На ней иногда играл и сам дедушка. Вся семья была очень музыкальна. Мать моя окончила Консерваторию и обладала замечательным голосом. Двое из ее петербургских братьев, мой дядя Федя, юрист и филолог, который был исключительно образованным музыкантом, и другой — Гога, артиллерист, — оба отлично играли на фортепиано и наполняли музыкой все мое детство.

В этой зале, возле окон, стояли на полу и на жардиньерках кадки и горшки с разными комнатными растениями — камелиями, лапчатыми фикусами, олеандрами с кожаными листьями, а на окнах цвели лиловые фуксии и вытянулся высокий коленчатый кактус, на котором однажды неожиданно раскрылся удивительный оранжевый цветок.

Рядом, в маленькой комнате, где «фриштыкали», медленно и солидно тикали огромные английские часы с медными гирями и длинным маятником и у них был необыкновенно уютный бабистый бой. Тут же красовался киот-угольник, переполненный и образами в серебряных и золоченых окладах, и резными

иконами из кипарисового дерева, и маленькими образками на финифти, и всегда теплилась красная лампадка. На стене в старинной раме, усыпанной черным блестящим песком, висел литографированный портрет знаменитого архимандрита Фотия, духовника Александра I. Эта комнатка была особенно уютной; там была большая голландская печь с белыми кафелями и медными отдушинами, к которой примыкала низкая лежанка, покрытая ковром, куда меня тянуло притулиться. Любил я рассматривать и разные картинки на стенах — и в зале и тут — овалы виды Италии с Везувием и развалинами под голубым небом и фотографии в ореховых рамках; особенно мне нравились те, где фигурировал мой дядя Гога — офицер, снятый в Болгарии во время Турецкой войны, героем, верхом на коне, со своими пушками.



Наш сад примыкал к беленькой церкви Михаила Архангела с пятью зелеными куполами, одной из самых древних в Новгороде, где дед был настоятелем. В ней сохранился старый высокий иконостас с пятью ярусами темных икон, маленькие оконца были забраны решеткой, а на внешней стороне алтарной абсиды были вставлены в толщу стены древнейшие каменные кресты необыкновенной формы с таинственными письменами «вязью». На церковном дворе росли два вековых тенистых дуба и трава под ними была усеяна желудями, а на улице, около входа в церковную усадьбу, стояли на зеленых подставках-лафетах шесть старинных чугунных пушек — подарок Великого Князя Михаила Николаевича. Под этими лафетами расплодилось множество шампиньонов, которые мы, мальчишки, усердно собирали.

Я очень любил, когда меня водили в соседний девичий Десятинный монастырь. Там среди зелени стояли длинные белые монастырские здания с кельями монашек. В этих мирных комнатах была необыкновенная чистота, на окнах висели кисейные занавески, на подоконниках стояли горшочки с цветами, блестел наводненный пол и пахло яблоками. Монашки были очень приветливы. Среди них были и старые с бледными и увядшими лицами, и молоденькие краснощекие (послушницы), у которых из под черного платка на спине забавно висела косичка, а ряса была стянута широким кожаным ремнем. Они нас с няней угощали вареньем и сотовым медом и было приятно поскушать в этом тихом монастыре. Посещая монастырь, мы всегда заходили и на монастырское кладбище, где

лежали все родные и где похоронили моего дядю Федю. Он умер приехав из Петербурга. Это была первая смерть, которую я видел в моей жизни.

В одну сторону от нашего дома улица вела к Сенной площади, замощенной гигантскими круглыми, отшлифованными временем, скользкими булыжниками, между которыми росла трава. Там пахло сеном и дегтем — древним «русским духом», и низенькие дома жались к красной стене Детинца. Там же на площади стоял зеленый обелиск с орлом — памятник Отечественной войны. В другой сторону Прусская улица доходила до Земляного Вала, который опоясывал весь город. В Валу, на пересечении с улицей, был пролом и дальше за город шла дорога среди огородов с тыквами и огурцами. На месте пролома некогда стояла башня, от которой осталась лишь кирпичная кладка по обеим сторонам пролома — старинные слоистые кирпичи, которые мы любили ковырять. Там зияли какие-то дыры; говорили, что это входы в подземные корридоры, ведущие неизвестно куда.

В Новгороде я жил среди преданий и назван я был при крещении Мстиславом в честь Мстислава Храброго, святого князя новгородского, жившего в двенадцатом веке. Меня водили в Софийский собор прикладываться к исполинской кожаной руке моего патрона, и было удивительно подумать, что эти мощи и есть тот самый удалой князь и богатырь, который жил столько веков назад. От моих родных я слышал про клад, который был найден, когда строили дедушкин дом — это были глиняные кувшины до краев наполненные серебряными деньгами времен Грозного (весь этот клад дед передал в музей), и мне чудилось, что вся земля в Новгороде полна таких кладов. Когда приезжал мой отец, он всегда вооружался лопатой и делал в саду маленькие раскопки и действительно что-нибудь находил — то человеческие кости, то череп, то каменные круглые ядра, даже монетки.

Мы с моей няней бывали часто и в древнем белокаменном Софийском соборе. Над главным куполом, на кресте, на его перекладине, сбоку, сидел серебряный голубок. Я допытывался у старших, почему он там сидит? Мне сказали, что когда Иван Грозный избивал новгородцев, прилетел этот голубь, «святая птица», и видя казни, от ужаса окаменел — так и остался с тех пор сидеть на кресте. Внутри собора всегда был холодок, полумрак и тишина, было таинственно и немного жутко. На ужасной высоте в центре купола был изображен огромный черный лик Вседержителя и виднелась рука Его, сжатая в кулак — было

страшно узнать, что Спаситель держит в этой руке весь Новгород и что когда будет конец света, то рука раскроется и голубок с креста улетит. В притворе, где лежали мощи князя Мстислава в серебряной «раке», покрытой толстыми украшениями и фигурами, были совсем маленькие царские врата с мелкой золотой резьбой, и эта драгоценность и все, что я видел в Соборе — и «халдейская пещь огненная» со странными фигурами, и царское место с резным шатром — все меня занимало, особенно медные корсунские ворота во дворе, где я с любопытством рассматривал выпуклых человечков, ангелов, львиные пасти со змеями и кентавров.

Было интересно ходить и вокруг памятника тысячелетия России напротив собора и узнавать на нем разных царей и героев в кольчугах и латах. Гуляя с няней по городу, мы заходили в Летний сад — говорили, что его липы были насажены пленными французами: в Отечественную войну. Сад тянулся вдоль глубокого крепостного рва, за которым высились и казались мне необыкновенно величественными кремлевские стены.

Когда я попадал на Волховский мост и глядел в желтую воду, я всегда вспоминал то, что мне читал папа и о Садко и о варягах, плывших на своих ладьях по Волхову по пути «в Греки», и о новгородских «долбежниках», которых топил тут у моста Иван Грозный, и зимой, говорили мне, вода в этом месте никогда не замерзает, что особенно пугало меня тогда. За Волховым, на торговой стороне все было иным и не совсем «своим» — я был патриотом нашей Софийской стороны, — но и там на площади, откуда видна была вечевая башня Ярослава с зеленым верхом, так же, как и на нашей Сенной, крепко пахло сеном и дегтем и еще кожами: там были низенькие желтые «ряды» с москательным, скобяным и кожевенным товаром, а на берегу Волхова продавали на лотках рыбу и стоял рыбный дух, столь же вероятно древний, как сам Новгород.

У меня еще совсем маленького ко всей этой старине, которая была перед моими глазами и которой я касался своими руками, росло особенное чувство — как к святыне. И как все, что я слышал о древнем Новгороде, действовало на мое воображение!...

Вал, весь заросший густой травой, был любимым местом наших прогулок. Он мне казался огромной высоты. В сторону города он был отлогий, к полям же спускался почти обрывом и тут, где тянулся в древности крепостной ров, было длинное и узкое болото. В нем я ловил сеткой для своей коллекции и для папиного аквариума водяных насекомых, толстых жуков

«плавунцов», быстрых гладышей, тритонов и плоских болотных скорпионов. Там водилось и одно забавное насекомое, бегающее по воде на тоненьких лапках, которое мы неизвестно почему называли «ранатра», плавала зеленая скользкая лягушечья икра и вертелись резвые смешные головастики. На валу, в августе, лавочники с Сенной площади варили брусничное варенье. Для котлов рыли в глиняной толще вала небольшие ямы и нам разрешалось добывать длинными лучинками, соструганными в виде лопаток, превкусные, обжигающие язык, пенки. Это было, среди едкого дыма, на вольном воздухе, особенно лакомо.

За валом шли огороды и полосатые пашни и в одном месте тянулась наискось серая линия домишек пригородной слободы. У нее была дурная слава: в ней, говорили, живут какие-то живоде́ры и коновалы и цыгане, ворующие детей. Среди полей лежала оазисом темная густая роща Петровского кладбища (там жил рыжий священник о. Азиатский, его поповны были невероятно веснушчатые девицы), а на горизонте синели «дремучие леса», куда мне так хотелось попасть и так и не удалось никогда — истинно «манящие дали»! Впереди же торчала унылая труба кирпичного завода, она мне как-то досадно мешала и придавала всему пейзажу непонятную печаль.

В другую сторону с вала виден был весь Новгород с густыми садами, с серыми, красными и зелеными крышами и с главами и главками бесчисленных церквей и соборов. Вдали белела Ефимьевская колокольня с зеленым шпилем, над кирпичными стенами Детинца высилась почерневшая от времени уступчатая островерхая башня — зловещий «Кукуй», вокруг которого постоянно вились голуби, в центре же всей панорамы блеснул червонно-золотой шлем Святой Софии. Сбоку виднелась пожарная каланча, с черными шарами, сигналами пожара, а ближе всего раскинулся среди зелени тихий Десятинный монастырь. Над городом вечно крутились тучи галок и воронья, под вечер стремительно носились стрижи, и порой на сером небе по ветру маячил белый бумажный воздушный змей с мочальным хвостом, — и вся эта мирная, родная мне картина навеки врезалась в мою память.

*
**

В начале сентября мы с няней уезжали в Петербург и все домашние на перерыв целовали и благославляли меня, а добрая моя бабушка утирала слезинку. В Петербург приезжали поздно

вечером (однажды, в сентябре, падал снег!) и всегда с вокзала домой мы ехали в карете — что было особенным удовольствием. Я привозил новых бабочек и жуков для своей коллекции и новых жителей в наш аквариум, возвращался опять в мою милую детскую, к моим книжкам, к учению, к папиному чтению, к моему рисованию, и Новгород отрывался на всю зиму. Начинаясь снова моя петербургская жизнь с моим отцом, который был солнцем моего истинно золотого детства.

М. Добужинский

СОВЕТСКАЯ КАТОРГА НА КОЛЫМЕ*)

В Советской России нет концлагерей, жизнь в которых была бы хоть относительно терпима. Заключенные в них повсюду поставлены в невыносимые условия, обречены на хроническое голодание, вынуждены выполнять непосильные работы; среди них повсюду свирепствуют болезни, стоит высокая смертность... Старая, «царская» каторга, при всех ее ужасах, была настоящей санаторией по сравнению с каторгой советской, с концлагерями. Но из всех этих лагерей самыми страшными являются лагеря на крайнем северо-востоке Сибири, в районе реки Колымы. О них по России ползут жуткие рассказы, один мрачнее другого.

Колыма, это — гиблая страна, заброшенная поистине на край света, к самому полюсу холода. Там реки бывают скованы льдом по 8-9 месяцев в году и по 6-10 недель в году над землей висит безысходная полярная ночь. Если разыграется пурга (там она метет по много дней без передышки), то даже привычные ко всему колымчане не отходят от изб иначе, как привязав себя на веревку: ветер может закрутить и унести человека, и тогда он рискует погибнуть в нескольких шагах от своего дома, не в силах найти дорогу обратно. Температура там падает до 70 градусов ниже нуля по Цельсию, и тогда, как писал еще Миддендорф, ртуть становится ковкой, как свинец, а железо — хрупким, почти как стекло. Сама земля там превратилась в сплошную глыбу льда, и за короткое лето успевает оттаять только тонким слоем поверху. Дальше на много сотен, даже

*) Настоящий очерк представляет из себя несколько сокращенный текст соответствующей главы из книги Д. Ю. Далина и Б. И. Николаевского: "Nothing but Their Chains (Forced Labor in Russia)", которая в ближайшее время выходит в издательстве Yale University Press.

тысяч футов идет сплошной «геологический лед», — вечная мерзлота, которая возбуждает живейший интерес у ученых, как хранительница многих тайн давней истории земли, но на которую население смотрит, как на одно из худших своих проклятий: природа его подмораживает не только сверху, как во всех других местах, но и снизу, из недр земли...

В этих условиях понятно, почему край, несмотря на его богатство пушниной, рыбой, перелетной птицей и т. д., до последнего времени был почти необитаемым: перепись 1927 г. показала там плотность населения в 1-2 человека на 100 кв. миль! Только за последние годы власть энергично взялась за колонизацию края, но проводит ее весьма своеобразными методами: край покрыт сетью больших и малых «исправительно-трудовых лагерей», для пополнения которых Россия должна непрерывно посылать туда все новые и новые сотни тысяч подневольных колонистов из числа людей, недовольных существующим строем. Они почти все гибнут там, — в этой страшной «стране белой смерти», как ее называют заключенные. Лишь очень немногим удастся вернуться назад, но и они должны молчать о виденном и пережитом: иначе им грозит расстрел за «разглашение государственной тайны».

Эта тайна — одна из самых больших, наиболее заботливо хранимых тайн советского государства: тайна советского золота. В американской печати не раз мелькали случайные сообщения об огромных запасах советского золота, которые теперь собраны в подвалах кремлевского казначейства. Год тому назад «Н. И. Таймс» писал, что, по оценке специалистов, там собрано золота на сумму от 2 до 10 миллиардов долларов (номер от 9 января 1946 года). Откуда они взялись? Точно известно, что их там не было лет 15—20 тому назад, когда Сталин был вынужден по дешевке распродавать сокровища русских музеев, чтобы как-нибудь оплатить закупленные за границей машины. Они пришли туда за последние 12—15 лет, причем поток их не прекратился и в годы войны, когда вся страна напрягалась в страшных усилиях. Этим фондом ведает лично Сталин, по планам которого к систематическому собиранию фонда и было приступлено в свое время. По его же инициативе по всей необъятной России уже давно ведутся систематические поиски золота. Эти поиски в ряде мест дали положительные результаты, но наиболее богатой была находка на Колыме. Колымский край теперь главный поставщик советского золота. Без Колымских золотых россыпей не было бы у Сталина его огромного фонда.

2.

Еще сравнительно недавно, лет 20 тому назад, Колымский край считался, — как стоит в старых русских энциклопедиях, — «бедным продуктами минерального царства». Знали, что там имеется много слюды, большие листы которой кочевые эвенки привозили в гор. Средне-Колымск для менового торга; знали, что где-то имеется много самородного железа, из которого туземные кузнецы с изстари выковывали немудреные ножи и копья... Но все это не представляло большой ценности и мало кого интересовало. Правда, уже давно ходила глухая молва, что где-то в далеких закоулках края имеется и золото, но такими толками полна вся Сибирь: каждый сибиряк уверен, что где-то в соседней тайге прячется богатое золото, тайну которого знал или его родной дед, или дед его соседа, — но только умер не во время, не успев эту тайну никому поведать...

О золоте на Колыме впервые конкретно заговорили в 1910 году, когда один «старатель» из беглых каторжан (для истории сохранилось только его уменьшительное имя: «Бориска», перешедшее позднее на первый колымский золотой прииск: «Борискин») вынес из нагорной тайги в верховьях Колымы маленький мешочек золота и продал его по дешевке случайному торговцу. Весть об этом облетела не только Якутию, но и всю Сибирь, но места, в которых скитался «Бориска», представляли из себя такую непролазную глушь, они были так далеки от всяких дорог; с другой стороны, и «Бориска» был так скуп на рассказы, так цепко держался за тайну своего золота, что богатство найденной россыпи стали преуменьшать (в действительности, «Борискин» и поныне является одним из богатейших приисков верхней Колымы). К тому же скоро пришла первая мировая война, за ней — буря революции, когда было не до добычи золота; да и сам неудачливый бродяга-золотоискатель вскоре погиб: от голода во время скитаний...

«Большая история» колымского золота начинается с 1925 года, когда «белый офицер» Николаев, активный участник вооруженной борьбы против большевиков в 1920-1922 г.г., решил воспользоваться объявленной тогда советским правительством амнистией и вышел из тайги, где скрывался свыше 3 лет. Легализуясь, он сдал в Якутское отделение Государственного Банка 14 золотников платины, пояснив, что намыл ее в тайге, между Колымой и Индигиркой. На этот рассказ обратили внимание: всего за два года перед тем были найдены богатейшие россыпи

золота на Алдане, и Якутск переживал пору «золотой лихорадки». Правда, платиной в Сибири интересуются меньше, чем золотом: ценится она дороже, но месторождения ее всегда беднее. Но платина редко идет одна. Там, где нашли ее, — можно быть почти уверенным, — скоро найдут и золото. Поэтому уже в том же 1925 году в указанные Николаевым места была отправлена разведывательная партия, снаряженная местными якутскими властями. А со следующего года за поиски взялась и Академия Наук.

Во главе первой экспедиции последней стоял молодой геолог Сергей Обручев. Результатом первого же года его работ было открытие, которое в наше время возможно только на севере Сибири: он «нашел» целый горный хребет, с высотами, доходившими до тысяч метров, — хребет, который широкой полосой в 300—400 км. протянулся почти на полторы тысячи километров, — от верховьев Колымы через долину Индигирки к среднему течению Яны... Эта «находка» дала толчок к дальнейшим поискам в крае. В последующие годы другими экспедициями новые горные массивы были найдены и в других закоулках страны, — к востоку и к северо-востоку от Колымы. Позднее проведена была съемка всего необозримого края с воздуха... В итоге за последние два десятилетия произошла подлинная революция в наших представлениях о геологическом строении всего крайнего северо-востока Сибири.

На карты хребет, открытый Обручевым, занесен под именем «хребта Черского», — по имени геолога-самоучки Черского, который был пионером изучения геологии Сибири. Студент-участник польского восстания 1863 г., 18-летним юношей он был послан царским правительством в Сибирь, в солдаты. Там его заинтересовали неизведанные просторы этой страны, и он целиком отдался работе по их изучению. Окончив службу, он совершил ряд путешествий, опубликовал в России и за границей ряд работ и выдвинулся в первые ряды специалистов-знатоков Сибири. Им был написан том о Восточной Сибири для знаменитого труда «Землеведение Азии» Риттера. До конца жизни, Черский не порвал своих связей с Сибирью, не перестал интересоваться ею. В последние годы он разработал план экспедиции на Колыму для геологического ее обследования, получил деньги на это от Академии Наук и в 1892 году выехал туда вместе со своей женой, которая была его верным спутником и в прежних путешествиях. Трудности путешествия сломили его, и он умер 26 июня 1892 года в Средне-Колымске, так и не добравшись до тех гор, которые ныне носят его имя...

Чужеземец и враг, пришедший в Сибирь под конвоем солдата со штыком, он стал здесь горячим патриотом этой «страны изгнания» и отдал свою жизнь работе по ее изучению, — этот причудливый жизненный путь был не личным путем одного только Черского. В огромную работу по изучению Сибири политические изгнанники, — в том числе и изгнанники-поляки, — внесли свой очень большой вклад. И имя Черского, присвоенное одному из наиболее северных горных хребтов Сибири, это лишь справедливое признание значения огромной работы, проделанной им и его соотечественниками...

По злой иронии судьбы, в ущельях и на склонах именно этих гор, носящих имя польского патриота, в наши дни нашли свои могилы многие и многие десятки тысяч его соплеменников, присланных туда правительством Сталина. Они ничем не провинились ни против России, — ни даже против правительства Сталина. Их единственным преступлением была борьба против Гитлера, напавшего на Польшу, — и за это Сталин отправил их на хребет Черского, чтобы рыть там золото... Сибирь Сталина новых изгнанников приняла несравненно более жестоко, чем за десятилетия перед тем царская Сибирь принимала их соплеменников, поднимавших оружие против России...

Следом за революцией в наших представлениях о геологическом строении края шла и революция в наших представлениях об его минеральных богатствах. Бедным его теперь уже никто не называет. Правда, вот уже лет 15, как даже в специальных географических и геологических журналах прекращено печатание отчетов о работах по изучению Колымского края: все эти материалы теперь строжайше «засекречены», — рассматриваются, как величайшая государственная тайна. Но и отрывочных данных, которые все же проникли в печать, достаточно, чтобы признать этот край одним из наиболее богатых в мире по количеству имеющихся в нем минеральных сокровищ. Там уже найдены каменный уголь, графит, слюда, фосфориты, мрамор, железо, медь, цинк, олово, свинец, вольфрам, молибден, серебро, платина, ряд драгоценных камней и многое другое, — а самое главное: золото, очень много золота...

Суровые выюги со злыми морозами и «геологический лед», тяжелым покровом придавивший землю, — все они, оказываясь, выполняли функцию неподкупных стражей, которые на всем протяжении истории земли охраняли доверенные им сокровища, не подпуская к ним опасного хищника — человека. Только теперь он проник в тайну их существования. Со времени первой экспедиции Обручева, не проходит года, чтобы по

краю не бродило несколько экспедиций. Сотни молодых и предприимчивых геологов-разведчиков производят настоящий повальный обыск по всей огромной стране: обследуют все ее закоулки, куда раньше не один человек не проникал, — каждое горное ущелье, берега каждой реки, ложбину каждого ручейка. Все измеряют, регистрируют, заносят на карты, — и передают, что еще не было случая, чтобы какая-либо из этих разведывательных партий вернулась после скитаний в течении короткого полярного лета без интересных находок. Так безмерно богат край!

3.

Но это богатство человек превратил в свое проклятие...

К промышленной добыче золота приступлено уже с 1927 года. Вначале ее вели «вольные старатели», — золотоискатели-одиночки, которые своими силами и на собственный риск проникали в золотоносные верховья Колымы. В 1929 году, по официальным советским данным, промывка золота велась на трех приисках (одним из них был «Борискин», где впервые было найдено колымское золото), причем работало на них 65 «старателей» (общее число всех обитателей приисковых поселков тогда составляло 108 чел.).

Закон обязывал все добытое золото сдавать правительственному тресту «Союззолото», — но ближайшее отделение последнего находилось в гор. Охотске (было открыто с осени 1928 года), т. е. свыше, чем за тысячу верст от приисков. Понятно, что в этих условиях трест не имел возможности осуществлять свои права на монопольную покупку золота, хотя он и старался поддерживать покупные цены в соответствии с ростом цен на припасы. Его забивали частные скупщики: как ни сильны были тогда гонения на них, они все же сохраняли возможность полу-легального существования и проявляли большую гибкость и инициативу. Это они первыми пробили зимнюю дорогу напрямик через тайгу («горою», как говорят в Сибири) от устья реки Ола на берегу Охотского моря к золотым приискам и подвозили по ней промысловое снаряжение и припасы. Конечно, цены за все они брали очень высокие, но и за золото готовы были платить тоже очень много, не обращая никакого внимания на казенные, нормированные цены. «Черный рынок» господствовал на приисках и поглощал огромные доли добытого золота. Представители советской власти уверяли, что оно в конце концов уходит к японцам, рыболовные суда которых тогда свободно бороздили Охотское

море и имели возможность без всякого контроля заходить в пустынные бухты. Весьма вероятно, что в этом утверждении было не мало правды: товар на промыслах часто был с японской маркой...

«Союззолоту» не помогали ни различные льготы, которые оно сулило лояльным «старателям», ни отвод ему государством на правах концессии огромной территории земли с наиболее богатыми месторождениями (в 1930 году в его распоряжении было 16 тысяч кв. километров земли, — водораздел между реками Колыма, Боханга и Буюндуй). Ничего не выходило и из попыток поставить добычу своими силами. С каждым днем становилось все несомненное, что богатство и мощность Колымских месторождений превосходили самые смелые ожидания оптимистов. Золота было много, — но взять его было трудно.

Существовало два способа добраться до него: или открыть возможность для свободного проявления инициативы «старателей»-пионеров, которые сами доберутся до золота так, как они добирались до золота в Калифорнии и на Аляске; или вложить в дело большие капиталы, необходимые не столько для организации самой добычи, сколько для устройства путей сообщения в крае. Но итти первым из этих путей не позволяла вся политика советского правительства, которое как раз в эти годы проводило полное уничтожение всех остатков частного хозяйства. Что же касается до капиталов, то таковых у советского правительства тогда вообще не было. В те годы оно переживало полосу особенно острого финансового кризиса: для проведения программы строительства, намеченного по первой «пятилетке», оно сделало за границей огромные заказы на машины и не имело валюты для расплаты по своим обязательствам. Кредита никто не давал, — и за учет своих краткосрочных векселей советская власть платила ростовщические проценты по 36—42 и даже больше годовых.

Выход был найден в совсем ином направлении: капиталов в старом, «буржуазном» значении этого слова советское правительство не имело, — но за то оно имело в изобилии капитал совсем другого рода: человеческие жизни.

Как раз в это время Сталин проводил «сплошную коллективизацию» деревни, — и всех крестьян, которые отказывались итти в колхозы, отправлял в ссылку, в Сибирь и на север. Таких были миллионы. Почти сплошь хорошие работники, — крепкие, выносливые, привычные к тяжелому крестьянскому труду. Вместе с ними туда же шли многие тысячи интеллигентов-специалистов, которые еще недавно вели часто весьма

ответственную работу в области научного или хозяйственного строительства, но почему-либо были заподозрены в критическом отношении к власти... Здесь были, таким образом, и рабочие руки, и руководители для больших работ. По существу, их всех власть обрекала на уничтожение, — как «социально-враждебные элементы», которые никогда не примирятся с советским строем. И весь вопрос был только о том, как, при помощи каких приемов, можно полнее выжать из них остатки их рабочей силы и как целесообразнее с точки зрения советской власти эти остатки употребить.

Первые опыты в этом направлении уже были сделаны раньше: значительные массы таких «социально-враждебных элементов» были применены на работах по сооружению Балтийско-Беломорского канала. Считалось, что опыт дал положительные результаты: людей на этих работах погибло очень много, но канал был проведен в рекордные сроки... Теперь этим путем решено было вести работы во многих других районах, в том числе и на Дальнем Востоке. Всеми ими руководило, конечно, ГПУ, в рамках которого зимой 1931-1932 г.г. было создано особое управление под названием «Дальстрой» (Государственное Управление строительства дальнего севера) с задачей проведения огромных работ по освоению крайнего севера-востока Сибири. В центре стояла задача организации возможно более интенсивной добычи колымского золота. Эта задача считалась имеющей первоклассное государственное значение, — и правительство, т. е. то же ГПУ, брало на себя обязательство предоставлять в распоряжение «Дальстроя» огромные количества подневольной рабочей силы, — фактически рабов. Это и был тот «основной капитал», с которым советские аргонавты пускались в поход за колымским золотом...

4.

Во главе «Дальстроя» был поставлен латыш-коммунист Рейнгольд Берзин, сын крестьянина Лифляндской губернии, начавший свою жизненную карьеру мальчиком-подпаском в родной деревне. Мобилизованный в годы первой мировой войны, он окончил школу прапорщиков и вышел офицером в созданную тогда латышскую стрелковую дивизию. Это случилось как раз накануне революции, во время которой Берзин выдвинулся на роль большевистского вождя этой дивизии. Он был командующим теми большевистскими отрядами, которые были брошены в Могилев для ликвидации ставки старого глав-

нокомандующего, стоял во главе первых отрядов, отправленных на покорение мятежного Дона, сражался на Урале против чехов, был инспектором латышской Красной Армии, боролся против партизан-«басмачей» в Туркестане... В 1925-26 г.г. он оказался каким-то краем замешанным в оппозиционную «зава-руху», которая тогда всколыхнула Компартию, а потому был вынужден покинуть армию и перейти на хозяйственную работу. Заниматься строительством на крайнем северо-востоке Сибири его теперь посылали и как человека, который военно-чекистский опыт соединял с опытом «хозяйственника», — и, в известной мере, как оппозиционера, который должен своим особым усердием на этом трудном посту искупить свои бывшие вины перед партией... Опыт показывал, что такие коммунисты выделялись особенной беспощадностью.

Вокруг него был сформирован целый штаб опытных чекистов и испытанных, — «проверенных», — специалистов инженеров, геологов, строителей, и пр. Дело с самого начала ставилось на очень широкую ногу. ГПУ дало «Дальстрою» право первого выбора нужных ему специалистов из всех арестованных, — и в то же время широко применялась вербовка добровольцев, которых приманивали хорошими условиями труда: объявление «Дальстрою», которое было опубликовано в провинциальной печати, приглашало на службу по вольному найму специалистов 57 профессий, — от «горных техников всех профилей» до шоферов-газогенераторщиков, и от грунтоведов до заведующих продтоварными базами... Конечно, имелись и достаточно значительные отряды специальных войск ГПУ.

Поход был начат летом 1932 года.

После предварительной разведки, наступление на Колымское золото решено было вести со стороны Охотского моря, — в общем следуя тому пути, который был пробит вольными скупщиками золота от устья реки Олы. Основной оперативной базой была избрана бухта Нагаева, — невдалеке от этого устья, милях в 300 к северо-востоку от гор. Охотска. Большая (приблизительно 10 на 3 мили), глубоководная, с удобным грунтом — она тем не менее с давних пор была известна полным отсутствием в ней какого-либо человеческого жилья. В официальной «Лощи побережий РСФСР», изданной в 1923 году, про нее сказано:

«В самой бухте Нагаева нет ни домов, ни селений, ни отдельных юрт».

На это, конечно, имелись свои серьезные причины. Побережья Охотского моря вообще известны своей неприветливо-

стью, но бухта Нагаева и среди них выделяется угрюмой суровостью. Она очень удобна для стоянки судов, но не для проживания людей. Со всех сторон ее опоясали каменные гребни. Высокие берега (местами до 300-400 метров) защищают ее от ветров, но на их открытых ребрах для ветров полное раздолье. Внизу, у моря под обрывами, человеку негде приютиться: камень почти повсюду крутыми обрывами вбегает прямо в воду. А наверху — ветер сбивает с ног: холодный, сырой, пронизывающий до мозга костей, — самый скверный из всех ветров, какие только гуляют по свету!

Каменное ребро, что охватывает бухту с севера, поросло лиственницами, — редкими, слабосильными... Они сами еле-еле держатся на камне и ни от чего не защищают, ни от чего не прикрывают. Сразу же за гребнем начинается якутское болото на подстилке из вечной мерзлоты. Еще дальше — чахлая полярная тайга с проплешинами сухостоя: обычная тайга тех мест, где «геологический лед» ведет неустанную борьбу против деревьев, стараясь поймать в свои клещи и заморозить их коренья...

Трудно было найти место, менее удобное для человека, но не о человеке думали строители: им было важно, что в этой бухте, прежде всего, легко могли развернуться по несколько больших океанских пароходов, а затем, — и это было самым главным, — что от нее, по воздушной трассе, поверх болот, тайги и гор, было всего ближе до колымского золота, из-за которого и были начаты все вообще работы по «освоению» этого дикого края. Именно по этим причинам и было решено создать здесь столицу для всего крайнего северо-востока Сибири, — любой ценой, какую только ни запросит природа. Этой новой столице еще до ее рождения дали имя: Магадан.

Летом 1932 года в бухте Нагаева впервые за ее существование зачастили гудки пароходов. Они прибывали из Владивостока, до отказа набитые грузами Дальстроя: машинами, снаряжением, припасами и «рабочей силой»...

Последней было больше всего. Трюмы пароходов, полученных Дальстроем в подарок от правительства, были специально приспособлены для перевозок именно этого живого груза. По 5-6 этажей камер для арестантов. В каждой камере в 3-4 яруса один над другим висели нары. Людей набивали так много, что ни ходить, ни даже сидеть не было возможности. Нужно было все время лежать на нарах, и притом в такой тесноте, что трудно было повернуться на другой бок, не потревожив соседей. О прогулках по палубе, конечно, не могло

быть и речи. За все время перехода никого из трюма не выпускали. Даже «параши» выносить не всегда разрешали...

Так уплотненно набитый пароход поднимал от 8 до 12 тысяч подневольных пассажиров... Мимо Японии он проходил с люками, задраенными брезентом, без души на палубе, без огней, — кроме необходимых сигнальных... Как мрачный корабль-призрак из старой легенды.

Особые меры были приняты на случай неповиновения или бунтов. Прочными стальными решетками трюм был разбит на ряд несообщающихся друг с другом отсеков. За решетками, по узким корридорам, ходили вооруженные надзиратели от НКВД. На тщательно выбранных пунктах были устроены особые «гнезда», — с пулеметами, которые могли простреливать весь трюм, — каждый его закоулок. Специальные брандсбойты были так приспособлены, что сильная струя ледяной океанской воды могла быть в любой момент обрушена на непокорных... Был «научно» учтен опыт всех известных в истории массовых перевозок арестованных, — и ни одно судно, лет сто тому назад отходившее с «живым грузом» черных рабов из Африки, от какого-нибудь Берега Слоновой Кости, в Чарльстон или в Новый Орлеан, или в какой-либо другой из портовых центров рабовладельческих Южных Штатов, не было так предусмотрительно подготовлено ко всем неприятным неожиданностям, как эти пароходы Дальстроля, отличительным признаком которых была ярко голубая полоса вокруг трубы...

В тесноте и духоте этих трюмов люди проводили по 8-10 дней, в зависимости от трудностей перехода: Охотское море известно своими суровыми ветрами и бурями. А затем их, усталых и измученных, выбрасывали на берег, — в буквальном смысле этих слов: на голую землю и под открытое небо. Жилищ в начале никаких и ни для кого заготовлено не было. Но для начальства и для охраны сразу же разбивали привезенные палатки, — на лучших участках: относительно сухих и по возможности защищенных от ветров. А подневольной рабочей силе предоставляли «свободу» устраиваться, кто как умеет, — на территории особых лагерей, единственным признаком обитаемости которых были густые ряды колючей проволоки вокруг...

«Жилища будут построены позднее, — был дан официальный лозунг, — пока надо терпеть: в первую очередь будем строить порт и город».

И терпели, и строили... Вручную ставили причалы для океанских судов, укрепляя многотонные ряжи под крутым

обрывом, при глубине в 15—20 футов у самого берега. Пробивали в камне широкие к ним спуски. Строили «первоочередные» заводы: лесопильный, кирпичный, рыбозасолочный, судоремонтные мастерские, электростанцию. Приступили к осушению болота и расчистке ближайших участков тайги под будущий город: вырубали деревья и выкорчевывали пни, руками сдирали мох и по несколько раз перепаживали и переборонивали почву, стараясь создать подобие верхнего культурного слоя, как некоторой защиты против агрессии со стороны «геологического льда». Строили дома: для управления и его отделов, — причем под эту рубрику подводили и дома лично для начальства с вольнонаемными служащими, и «утепленные» (с двойными стенами, промежутки между которыми заполнены опилками, мхом и пр.) бараки для войск охраны, и даже особый домик для собачьей команды, которая состояла при охране и которой в будущем предстояло играть большую роль в жизни колымской каторги... На все было время и рабочие руки, — только не на постройку бараков для самих подневольных работников.

Эта «рабсила» до поздней осени была вынуждена ютиться в шалашах, которые ей милостиво разрешили соорудить на территории лагерей, — в порядке частной инициативы, во вне рабочее время, из ветвей, которые было нужно самим собирать и приносить в лагерь. Ветви, накинанные на заболоченную землю — вместо пола; ветви с боков и над головой, — вместо стен и потолка... Почти сплошь это были ветви лиственницы, из которой почти одной состоит приморская тайга. Это очень ценное дерево, прочная древесина которого успешно противостоит разлагающему влиянию гнилого климата. Сибиряки знают, что дома из лиственницы держатся веками, — вдвое дольше домов из ели или сосны. Но ветви ее, с маленькими и редкими пучками мягких игл вместо листьев, меньше всего пригодны для защиты от непогоды: зелень быстро опадает и остаются голые узловатые прутья, сквозь которые свободно проходят и ветер, и влага... А на берегах бухты Нагаева нет земли без подпочвенной влаги, — и нет дней без дождя!

Работа была тяжелая, напряженная, — тем более изнурительная, что вести ее приходилось под постоянной угрозой палки. Правда, система вытягивания сил тогда еще не была так «научно» разработана, как позднее. Но напора в ней и тогда было много. Хуже всего мучила сырость. Много дождей, во время которых работу не приостанавливали. На болоте работали по колено и выше в воде. Тем, кто строил порт, приходи-

лось и хуже: не только прибой то и дело обдавал с ног до головы брызгами, — нередко заставляли и просто влезать в ледяную воду... А сушиться было негде. Установленных рабочих часов в начале вообще не было, и работать заставляли, пока люди могли работать. Требовали, чтобы проявляли «энтузиазм»... Пища же была скудная: хлеб, иногда рыба, иногда горячая похлебка, два раза в день по кружке кипятку...

В лагерь возвращались всегда усталые, голодные, — а главное промокшие до костей и продрогшие. Обсушиться и согреться можно было только у костров, разжигать которые приходилось самим. Первое время такие костры горели всю ночь, но скоро число их стало быстро сокращаться. Усталость брала свое, и люди, придя с работы, валились как убитые, — где попало и в чем были: в мокрой одежде на сырую землю, лишь слегка прикрытую прутьями. Немудрено, что ни одежда, ни люди не выдерживали: одежда загнивала на плечах человека; истощенный человек валился с ног от заболеваний... Начались эпидемии, катастрофически быстро росла смертность. Сама по себе она, быть может, и не смутила бы начальство, но эпидемии перебрались и на войска охраны, и на вольнонаемный технический персонал. Пришлось забить тревогу, — и выяснились дефекты общей организации похода за золотом: ничтожное количество врачей, почти полное отсутствие нужных медикаментов...

Первое же лето унесло много жизней, — и только после этого, уже поздней осенью, начали строить рабочие бараки. Не такие, как для охраны: без утепления, в одну доску, без пола, с нарами в 3 яруса, с железными печами... Успокаивали, что это лишь временно: они были плотно заселены и спустя десять лет, — как, наверное, продолжают быть заселенными и поныне...

5.

А пароходы тем временем каждую неделю подбрасывали новые и новые десятки тысяч обреченных. Когда потребность в рабочих руках самого Магадана была насыщена, остальных стали посылать в тайгу, на работу по сооружению большой автомобильной магистрали к колымскому золоту. По сравнению с их судьбой, судьба оставшихся в Магадане была счастливым подарком неба!

Магистраль должна была идти от Магадана на Средникан, центр золотопромышленности Верхней Колымы, а затем на Сеймчан, небольшое селение на Колыме, откуда река станови-

лась судоходной (это было приблизительно в 200 км. от устья). По воздушной трассе весь этот путь составлял не больше 300 верст, — и московские авторы программы работ Дальстроя открытие автомобильного сообщения по новому тракту планировали уже на 1934-1935 г.г. Только было бы нужное количество подневольных работников... Но версты по дороге на Колыму были не обычными верстами. Они вели по никем не изученным, никем не пройденным местам, — через тайгу, непролазные топи болот и дикие горы. Зимняя дорога, которую проложили частные скупщики золота, мало помогала решению тех вопросов, которые стояли перед строителями дороги постоянной: как и все сибирские зимние дороги, она вела по замерзшим рекам и ручейкам, которые летом не помогали строителю, а громоздили препятствия. Предварительная разведка сначала «Союззолота», затем Дальстроя была совсем поверхностной. Все полагались больше на импровизацию, которая придет в процессе строительства... Расплачиваться пришлось строителям.

С началом осени 1932 года, как только подзамерзли болота и бесчисленные таежные ручьи, Магадан стал «забрасывать» значительные партии подневольных работников вглубь страны, — в заранее намеченные пункты на предположенном пути будущей магистрали. Им предстояло зимовать в тайге и вести там подготовительные работы к строительной кампании будущего лета: рубить лес, заготавливать бревна для настилки гатей по болотам, строить бараки и т. д.

Зима всех пугала, — хотя и по разному: и начальство, и заключенных. Это была первая зима в неведомом, диком краю. Казенной одежды заключенным тогда никакой не выдавали: donaшивали свою, в которой были арестованы. Старая и рваная, она ни в какой мере не была приспособлена к зиме, — особенно к суровой колымской зиме. Итти в ней в тайгу, значило итти на верную гибель. Это создавало почву для всякого рода волнений на почве отчаяния, — тем более, что заключенным, по роду их работы, приходилось давать топоры, которые в их руках могли стать опасным оружием. Начальство приняло все меры для разъяснения бессмысленности попыток восстаний и побегов. Шансов на удачу такие попытки действительно никаких не имели. Беги, не беги, — все равно далеко не уйдешь. Тайга из своих лап никого не выпустит, — и или погибнешь в ней от холода, голода, диких зверей, или вернешься назад с повинной головой. Но таких возвращавшихся ждала беспощадная расправа. Было установлено неизменное правило:

каждый, кто пытается бежать, подлежит обязательному уничтожению, — и не только он сам, но и те, кто хотя бы только знал о готовящемся побеге и не донес. Еще более беспощадной была расправа с участниками всевозможных бунтов: если в партии заключенных нашлась группа, поднявшая бунт, — особенно вооруженный, — то вся эта партия целиком подлежала уничтожению. Чтобы все знали, чем это грозит.

Запугивание было возведено в систему... Тогда же выяснилось и подлинное назначение собачьей команды, широко пользоваться которой ГПУ стало как раз в это время. С каждым отрядом конвоиров в тайгу шло по несколько злых волкодавов. Они были специально дрессированы: никогда не бросались на людей в форме, — особенно на чекистов. Они хорошо знали, что именно от них они получают свой ежедневный рацион, в который входило по фунту свежего мяса в день, молоко и пр., — т. е. продукты, которые не только заключенные, но и сами охранники не часто видели. Очень сдержанны они были в отношении посторонних в цивильном, но хорошем платье. За то при одном виде заключенных они приходили в настоящее бешенство, — причем заключенным для них был каждый, кто одет в тряпье (позднее, когда Дальстрой стал выдавать заключенным специальную одежду, сторожевые псы были дрессированы на травлю людей, оолаченных именно в эту одежду). Уйти от этих собак в тайге не было никакой возможности: если их ставили на след, то они шли по нему, как опытные ищейки, и находили беглеца, в какую бы глушь он ни забирался. Такая собака одним прыжком сбивала человека с ног и грызла его, пока ее хозяин из чекистов не давал приказа остановиться. Порою, этот хозяин разрешал псу загрызть человека до смерти; в других случаях, он «спасал» этого человека от пса, — для того, чтобы доставить его на расправу людям. Труп растерзанного обязательно выставляли на показ в том лагере, откуда был совершен побег. Если же беглеца оставляли в живых, то его, в истерзанном виде, водили по лагерям на показ: чтобы все знали, что ждет и их, если они рискнут бежать. Позднее, кто-то из заключенных сложил жуткую песню, которая началась словами:

«Мы бежали,
Нас поймали
Серые собаки...»

и говорила о том, что заключенному некуда от этих собак уйти, некуда от них спастись. И начальство ввело в обычай

заставлять пойманных беглецов, при обводе их по лагерю, петь именно эту песню...

В этих условиях и единоличные побег, и попытки массовых бунтов были ничем иным, как особой формой самоубийства. Это все знали, — и тем не менее побегов всегда было не мало. А в ту страшную первую зиму Дальстроя их было особенно много; были даже вспышки массового возмущения, жестоко подавляемые. Людей ничто не останавливало: жизнь в тайге все равно была ничем иным, как убийством, — только растянутым на несколько недель...

В какой-то мере это объяснялось неподготовленностью самого начальства Дальстроя, — его незнакомством с той обстановкой, в которой придется вести работу. Но в основе лежало другое: все то же презрение к жизням заключенных, как людей, которые все равно обречены на уничтожение.

Говорят, что та первая зима Дальстроя была особенно ранней, особенно морозной и пуржистой. Неделями мело без передышки. Временами даже в Магадане было трудно ходить из дома в дом. С тайгой сообщение несколько раз прерывалось. Нельзя было подвозить продукты, а так как ушедшие могли брать с собою только очень немного, то в тайге, по становившим, гулял форменный голод. Не было и жилых бараков, — и люди ютились в палатках, часто просто в шалашах. А температура падала до 50 и ниже по Цельсию, причем и в такую погоду заключенных гнали на работу... Даже если не было ничего сверхсметного, люди умирали сотнями, тысячами. А что творилось в тайге, по отдельным зимовьям, в недели, когда гуляла пурга, наверное, никогда и само начальство точно не узнало: были зимовья, где никого в живых не осталось, — ни подневольных работников, ни конвоя, ни даже собак.... Одна долина, — Шайвинская, — с того времени так и зовется «Долиной смерти»: по преданию, в ней сбилась с пути и целиком погибла во время пурги большая партия заключенных в несколько тысяч человек, вместе со всем конвоем... В Магадане позднее рассказывали, что из тех, кто в тот «героический» первый год Дальстроя был брошен в тайгу, назад вернулись не больше, как один на 50—100. Остальные в ней и остались.

6.

Подготовительные работы к летней строительной кампании были почти полностью сорваны, но это не остановило руководителей Дальстроя. С ранней весны 1933 года, как только

открылась навигация, в Магадан начали прибывать новые партии подневольных работников, — и их сразу же, по остаткам зимнего пути (первые пароходы из Владивостока в Магадан прибывают в конце апреля, а таежные реки там стоят подо льдом часто до конца мая и даже до начала июня) бросали в тайгу, на стройку. Делались отчаянные усилия ускорить темп работ, и платили за это отчаянной же ценой: в валюте человеческих жизней...

Прокладка дороги с точки зрения технической представляла, действительно, исключительные трудности. Дело было не только в том, что приходилось вырубать тайгу, сооружать огромное количество мостов и мостиков, обваловывать реки, на десятки миль взрывать горы, долбить туннели... Всего труднее было справиться с вечной мерзлотой, которая в периоды таяния подмывала снизу, из глубины, казалось, самые прочные сооружения. Современная строительная техника выработала ряд приемов, которые позволяют в сильной мере парализовать это губительное влияние мерзлоты. Но эта техника сложна и ее применение связано с затратами значительного количества времени. А именно времени у Дальстроя не имелось, и он стремился сложность качества возместить размерами примитивного количества. Хуже всего было с таежными болотами, которые в долинах между гор лежали на вечной мерзлоте, как на удобной перине. Сначала их пытались по старинке просто перекрывать прочными стелажам («гатыми», как их зовут в Сибири) из толстых бревен. Но такие стелажы своей тяжестью нагревали верхний слой «геологического льда», — и он подавался в глубину, засасывая только что положенный бревенчатый настил. Опыт убедил, что выгоднее обходить дорогу кругом, удлиняя ее порою на много миль, — чем вступать в спор с предательскими болотами. В тех же случаях, когда обойти было никак нельзя, применяли героические средства: с болота сдирали торфяниковый покров, сбивали верхний слой мерзлоты, который был подвержен влиянию менявшихся погод (этот слой звали «мяздрой», — по аналогии с тельной стороной звериной шкуры, которую он действительно напоминал и своей пористостью), — и затем, добравшись до «целины» геологического льда, нетронутым лежавшего со времени последнего ледникового периода, старались завалить его многими десятками тысяч добротных бревен, — один ярус над другим. Холод, шедший снизу от геологического льда, восстанавливал «мязду»; нижние яруса бревен прочно вмерзали в нее... Бревен этот метод строительства требовал невероятные количества.

Передают, что на Колымской трассе существует небольшой перегон, размером не больше версты, который один «съел» свыше **50 тысяч** бревен, т. е. круглым счетом по 15-20 бревен на погонный фут дороги... И все же прочность этого участка весьма относительна: каждый год он требует ремонта.

Но как ни много бревен «съедала» дорога, человеческих жизней она съела все же на много больше.

Лето в тех краях тоже предательское, — и почти тропически жаркое, и морозное одновременно. Почти круглые сутки над горизонтом висит солнце, бросая на землю свои косые лучи. На солнечных местах, — особенно на южных склонах, — земля нагревается до температуры почти тропической. Но вода меж кочками на болоте остается холодной, как лед: чем сильнее ее пригревает солнце сверху, тем упорнее оказывает сопротивление вечная мерзлота, верхний слой которой там подходит к поверхности часто на полтора-два фута. В итоге, человека, который бывает вынужден работать на этом болоте, сверху нещадно припекает, а снизу подмораживает. Долгую работу в таких условиях не выдерживает даже самый крепкий здоровяк. А подневольные работники советского государства должны были работать в таких условиях целыми днями без перерыва, — и, конечно, без специальной обуви, в лаптях или рваных опорках, при недостаточном и скверном питании, без возможности даже хорошо просушить свою одежду...

За плечами все время стоят и подгоняют конвоиры, требуя ускорить темп работы. Но хуже ударов прикладами укусы насекомых, — этого бича сибирской тайги. В тайге, особенно около болот, они висят тучами: комары, более мелкая мошкара («гнус», как ее зовут в Сибири), слепни и оводы разных размеров. В тайге у Охотского побережья, как отмечали еще путешественники старого времени, эта «нечисть» особенно многочисленна. Там водится особая порода крупных оводов, — «строка», как ее зовут сибиряки, — жало которых прокалывает даже крепкую оленью шкуру. Лошадь, в которую впилась «строка», приходит в бешенство от боли... Даже привычные сибиряки там идут в тайгу не иначе, как в плотной одежде, в рукавицах, со специальными «накомарниками» на голове, которые особой сеткой защищают их лица... Ничего этого подневольные работники Дальстроя, конечно, не имели, — и работа для них была подлинной пыткой.

В итоге за лето 1933 год на Дальстрое человеческих жизней было загублено даже больше, чем за предшествующую зиму. И в дальнейшие годы эти «издержки производства»

росли: конечно, возможным это стало потому, что рос и «основной капитал» подневольной «рабсилы», вложенной в Дальстрой. Не довольствуясь привозом морем из Владивостока в Магадан, Дальстрой наладил доставку заключенных морем к устью Колымы, откуда их отправляли на верховья, — чтобы строить автомобильную трассу от Сеймчана или рыть золото на приисках. К устью Колымы их везли, — с одной стороны, из того же Владивостока, а, с другой, из Архангельска. «Великий Северный Морской Путь», над проложением которого столетиями бились ученые и мореплаватели, «коммерчески» использован был впервые именно Дальстроем, — для перевозки «рабсилы». Именно ею был нагружен пароход «Рабочий», который первым пришел из Архангельска в Амбарчик, новую пристань у устья Колымы, которую создал и эксплуатирует Дальстрой.

7.

Постройка дороги стояла в центре забот Дальстроя за первые 5-6 лет его существования, но ею отнюдь не ограничивалась его деятельность. Не говоря уже о золотых приисках, установка сношений с которыми была вообще основной задачей всего предприятия; вся дорога, как целое, строилась в качестве стержня, вокруг которого должны группироваться все работы по хозяйственному освоению края. За последние годы в советской и в зарубежной русской печати появилось несколько писем о Магадане и Колымском крае вообще, — и по этим письмам теперь есть возможность составить довольно полное и точное представление о результатах работы по реорганизации Колымского края, который советская печать, не сообщая никаких конкретных данных, теперь зовет не иначе, как «краем сказочных богатств».

Сам Магадан, — столица края, — стал большим и благоустроенным центром с населением приблизительно в 60-70 тысяч человек. Основную массу этого населения составляют ответственные чины НКВД и специалисты, приехавшие в край для работы по вольному найму. Таковых в районе Дальстроя считается в общем около 50 тысяч человек. Добрая половина из них, со своими семьями, проживает в Магадане. Здесь же живет несколько тысяч ссыльных, — обычно высоко квалифицированных специалистов, которые выполняют ответственные работы для Дальстроя и за это, в качестве особой милости, получили право жить на вольных квартирах, — конечно, под надзором НКВД. На таком же положении живут ссыльные

артисты, попавшие в театральные труппы, ссыльные писатели, работающие в местных изданиях, ссыльные врачи и т. д. В это число не входит население больших лагерей, раскинутых за городской околицей. Их население меняется, — но оно всегда более значительно, чем население привилегированного Магадана: это — центральная резервная база для снабжения рабочей силой всего Колымского края...

На окраинах, правда, еще попадаются недовыкорчеванные таежные пни, — но центральные улицы уже застроены многоэтажными каменными домами, которые могли бы занять место в любом европейском городе. Город освещается электричеством со своей особой станции, которая шлет энергию и в тайгу, — по проводам, которые бегут по окрестным горным хребтам от одной стальной мачты до другой. В городе существует несколько заводов, несколько техникумов (горный, рыбопромышленный и др.), большой «Дом Культуры» с театром и кинематографом, большой и очень интересный краеведческий музей, число посетителей которого доходит по праздникам до 300 человек. «Дом Культуры», — действительно, очень красивый по архитектуре и по внутренней отделке (его строили по планам какого то крупного архитектора, пришедшего сюда в ссылку), — имеет две хорошо подобранных театральных труппы, которые не только ставят регулярно спектакли в самом Магадане, но и выезжают на гастроли в глубь страны.

Много внимания уделяется акклиматизации цветов и полезных растений. В самом Магадане существует большой опытный совхоз с парниковым хозяйством и хорошо поставленные опытные оранжереи. В последних уже вызревают «колымские» яблоки, груши, даже апельсины и персики — не говоря о всевозможных ягодах; в парниках же выводятся всевозможные овощи, — до огурцов, капусты, баклажан, дынь и арбузов включительно. Так как главным врагом земледелия в крае является вечная мерзлота, то основной проблемой, которая стоит перед руководителями опытных совхозов, является проблема загоняния этой мерзлоты вглубь. Многократная и глубокая пропашка земли, обильное ее унавоживание и ряд других мер, идущих в том же направлении, уже позволили добиться интересных с научной точки результатов; там, где раньше верхняя граница мерзлоты проходила на глубине 1.5—2 футов, теперь ее отогнали на 6-8 футов, — что дало возможность местами засеивать хлебными злаками уже десятки гектаров.

Существует в Магадане и несколько научно-исследовательских институтов, — геологический и палеонтологический, спе-

циально золотопромышленный, рыбопромышленный и другие с хорошо оборудованными лабораториями и специальными музеями. Некоторые из них публикуют даже свои научные труды, — которые, правда, никуда во внешний мир не попадают: не только за границей, но даже и в Москве их достать почти нет возможности.

Большая типография Дальстроя выпускает несколько газет, литературный журнал, журнал краеведческий, много книг (до 1944 года выпущено свыше 500 названий, — правда, почти сплошь перепечатка книг, выходящих в Москве). Вся эта литература вне Колымского края остается совершенно неизвестной: даже в официальной «книжной летописи», которая по закону обязана регистрировать все печатные издания, выходящие на территории СССР, об изданиях Магаданских никаких упоминаний не бывает.

Если все научные и культурные учреждения собраны в Магадане, то большое количество предприятий промышленных создано в глубине страны, — в населенных пунктах, само возникновение которых относится уже к периоду работ Дальстроя. Конечно, основное количество таких предприятий связано с использованием минеральных богатств, найденных в соответствующих пунктах. По свидетельству «Известий», общее число новых названий, нанесенных на карту края за период работы Дальстроя, превышает 10 тысяч: сюда входят всевозможные прииски, рудники, копи, рыболовецкие поселки, совхозы и т. д.

При таком размахе деятельности Дальстроя он не мог не превратиться в крайне сложную и своеобразную организацию, которая функции всестороннего руководства хозяйственной жизнью края соединяет с функциями законодательными, судебными, административными и полицейскими. С точки зрения структуры общего аппарата правительственной власти в СССР Дальстрой стоит на совершенно особом положении. Сам он является органом Народного Комиссариата (ныне министерства) Внутренних Дел, числится отделом в аппарате последнего и полностью ему подчинен (его официальное название: «Дальстрой МВД»); по аппарату МВД им ведает один из заместителей министра (в начале 1946 года таковым был Авраамий Павлович Завенягин). Но министерство назначает только главу Дальстроя, предоставляя ему широкие права по подбору своих помощников. В течении последних лет (повидимому, с 1938 года) таковым начальником Дальстроя состоит Иван Федорович Никишев, имеющий чин ген.-лейтенанта, получивший недавно

звание Героя Труда Сов. Союза и избранный членом Совета Национальностей.

Дальстрой, т. е. его начальник, является полновластным (в полном смысле этого слова) представителем тоталитарного государства для всей территории, которая подчинена его ведению. Эта территория очень быстро увеличивается в размерах: в начале в нее входили лишь районы золотых приисков на Верхней Колыме и строящейся к ним дороги, постепенно к ней присоединяли соседние районы и в настоящее время власть Дальстроя распространяется не только на весь Колымский край и ту часть побережья Охотского моря, которая тяготеет к Колымской трассе, но и на районы рек Яны и Индигирки, с одной стороны, и на весь Чукотский край и Камчатку, с другой. Иными словами, юрисдикция Дальстроя в настоящее время распространяется на весь северо-восток Сибири, — к востоку от Лены и к северу от реки Алдана (точные границы не известны). По пространству, эта территория равна, приблизительно, шести территориям Франции.

Вся эта огромная территория изъята из сферы действия общей конституции СССР. Власть краевых советских органов на нее не распространяется; местных советов на ее территории не существует; никаких намеков на выборы (за исключением выборов в Верховный Совет) не имеется. Вся власть принадлежит Дальстрою и все ее представители назначаются начальником Дальстроя или лицами, действующими по его полномочиям. В каждом населенном пункте есть комендант, назначенный Дальстроем, — и в руках этого коменданта сосредоточена вся власть в подведомственном ему районе в пределах инструкций, издаваемых тем же Дальстроем. Он властен над жизнью и смертью всех обитателей района, — в прямом смысле слова: имеет право убить каждого, — не только заключенных в лагере, но и уже отбывших наказание. На несколько особом положении находятся только остатки небольших туземных племен, — чукчей, юкагиров, эвенков и др., — которые образуют так называемые национальные округа: они пользуются различными привилегиями и помощью со стороны советского правительства... Но их всего несколько тысяч, — и никакой реальной власти, даже на территории своих национальных округов, они не имеют.

Количество населения края точно неизвестно. До нахождения золота и создания Дальстроя оно было крайне невелико, едва ли превышая 25-30 тысяч человек (в Колымском районе по переписи 1926-1927 годов числилось всего 7580 человек

жителей). Под властью Дальстроя, несмотря на покровительственную политику администрации, число этих аборигенов едва ли могло значительно вырасти: за первый период революции на Колыме, например, ясно наблюдалась тенденция даже к сокращению количества туземного населения... И если общее население края за период существования Дальстроя все же колоссально выросло, то это объясняется тем, что в него за эти годы ввезены огромные массы подневольных колонистов. Точное количество их неизвестно: никаких официальных данных об этом не публикуется, — никаких официальных цифр о населении края теперь вообще не дается... Опорные пункты для суждения по этому вопросу приходится искать в совершенно других источниках.

В «Социалистическом Вестнике» недавно был опубликован рассказ о Дальстрое, записанный со слов молодого советского моряка, недавнего комсомольца, который в течении ряда лет плавал на одном из пароходов Дальстроя из Владивостока в Магадан и хорошо осведомлен о тамошних делах; этот моряк рассказывает, что весь край превращен

«в сплошной концентрационный лагерь. Туда брошены огромные массы «репрессированных»... Сколько их, точного ответа он не имеет. Он слышал, что около 5-6 миллионов. С большой, — по его мнению, — точностью можно считать, что на пароходах из Владивостока в Магадан в 1937-1940 годах доставлено не меньше полутора миллионов: в течении всей навигации, с апреля по ноябрь, работали 4 парохода Дальстроя («Феликс Дзержинский», «Дальстрой», «Совлатвия» и «Джурма»), совершая по 12-15 рейсов за лето каждый и привозя по 6-9 тысяч за рейс» (№ от 10 декабря 1946 г.).

Эти сведения не преувеличены, а скорее преуменьшены. По сведениям, идущим из других источников, число пароходов, обслуживающих Дальстрой, было большим. Названные четыре парохода были, правда, основными, — наиболее большими и постоянно работающими. Но кроме них на Дальстрой во всяком случае в 1939-1941 годах работало еще пять пароходов («Минск», «Киев», «Игарка», «Комсомол» и «Урицкий») и один ледокол «Сахалин». Все они, вместе с 4 названными раньше, за один рейс могли перевезти не меньше 60-70 тысяч человек. Но так как им приходилось перевозить не только людей, но и грузы, которых на Колыму шло очень много, то в

среднем в год их провозоспособность надо определить около 400-600 тысяч человек. Общее же количество ввезенных в край за первое десятилетие его принудительной колонизации (1931-1941 годов); т. е. до начала мировой войны, можно считать приблизительно равным 4-6 миллионам человек...

За первые годы войны подвоз «рабсилы» на Колыму сократился: аппарату диктатуры было не до того, само существование ее было поставлено под угрозу. Одно время шли даже освобождения заключенных некоторых групп: освободили поляков, — в согласии с договором, который Сталин был вынужден подписать с правительством Сикорского; производили мобилизацию для армии некоторых групп краткосрочных (сосланных на 2-3 года), отбирали военных специалистов... Но с этим вскоре было покончено, — и с 1943 года, по мере освобождения бывших под немцами областей, приток ссыльных на Колыму возобновился с новой силой. Последние сведения, относящиеся к 1945-1946 годам, говорят, что в районе Дальстроя появились огромные партии ссыльных с Северного Кавказа и из Белоруссии, с Украины и из Крыма; очень много военнопленных — немцев и, особенно, японцев...

Из этих миллионов, конечно, очень много людей погибло. Количество последних определить нет возможности. Люди, бывавшие на Колыме, говорят, что из рабочих на приисках и строительстве в год погибает не меньше 50-60%. Если это верно, то общее количество подневольных обитателей Колымского края в настоящее время едва ли превышает полтора-два миллиона человек. Остальных поглотила страшная «страна белой смерти»...

8.

Хозяйственная деятельность Дальстроя очень обширна и разностороння. Он имеет управления снабжения, рыбной промышленности, лесобрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, дорожного строительства и др. Каждое из них ведет большую работу, занимает многие тысячи рабочих. Но все они вместе взятые играют лишь подсобную роль: их задача — помогать обслуживанию той отрасли промышленности дела, которая является осевой промышленностью края, золотопромышленности.

Золота в крае оказалось очень много, — значительно больше, чем думали, когда начинали «освоение» края. Край оказался по-истине чудовищно богатым золотом. В одном лишь

горном районе между Охотским морем и Колымой в 1939-1940 годах работало 66 приисков, — причем некоторые из них раскидывались на площади в десятки квадратных миль и работой на них были заняты многие тысячи (если не десятки тысяч) ссыльных рабов. Но эта нагорная тайга только небольшая часть золотоносных районов. Богатое золото найдено так же и на Индигирке, в низовьях Колымы, по мелким тундряным реченкам, которые впадают прямо в Ледовитый океан к востоку от Нижне-Колымска, в горах на пути к Чукотке... Люди, работавшие геологами в крае, утверждают, что ничего подобного по богатству мир до Колымы не знал, — что золотоносные пески Калифорнии и Аляски, о которых сложились легенды, жалкие нищие по сравнению с запрятанной в «геологический лед» Колымой.

Сколько всего людей занято работой непосредственно по добыче золота, конечно, неизвестно. Некоторые польские источники*) говорят о 300 тысячах человек, — но уверенности в правильности (хотя бы приблизительной) этой цифры нет и у них самих. Но дело и не в этом, — а в тех условиях, при которых приходится вести работу.

Вести промывку золота на Колыме можно только летом, которое там тянется от 70 (в низовьях у океана) до 100 (в верхней тайге) дней. Конечно, дни этого промывочного сезона используются с максимальной полнотой. Рабочий день подневольного работника до войны был равен 10 часам чистой работы; во время войны его повысили до 12 часов, во время которых работа ведется без какого бы то ни было перерыва для еды. Но и этот официальный рабочий день соблюдается лишь на бумаге. Работа ведется «бригадами» по 10-12 человек, за коллективной ответственностью всех. Каждый имеет свой положенный «урок», но за выработку его отвечает вся «бригада». Все следят за интенсивностью труда своих однобригадников: если кто не выработал в срок, то всю бригаду оставляют дорабатывать, — причем нередко оставляют ее всю на целый рабочий день. А если невыработка «урока» становится систематической, то виновных сажают в карцер, который имеется при каждом лагере. Эти карцеры устроены так, что заключение в них является настоящей пыткой: маленькая будка из неплотно пригнанного тонкого теса стоит на открытом месте;

*) Основные сведения о Колымской каторге мы имеем от поляков, которые в 1939-1940 годах были сосланы на Колыму и, затем, по договору Сталина с Сикорским были освобождены.

заключенного в него сажают, предварительно отобрав у него верхнюю одежду; в будке нет места, чтобы лечь; нельзя даже усесться по настоящему; приходится или стоять, или сидеть на корточках; ночи же там даже в разгар лета холодные; в довершение всего — тучи комаров... А на утро — измученный, неспавший заключенный должен идти на работу и вырабатывать «урок», с которым он не мог справиться и после обычной ночи...

9.

Какие же результаты дает эта, по-истине, каторжная работа? Что приносят советскому государству эти сотни тысяч погибающих рабов? Все подсобные отрасли промышленности никакого значения с точки зрения государственной, конечно, не имеют. В своем роде все они ни что иное, как те же персики и апельсины, выращенные в Магадане. Даже действительно интересные с научной точки зрения результаты, вроде опытов акклиматизации овса и капусты, по существу, свидетельствуют прежде всего о безумной расточительности: научным руководителем их в Магадане был ученый с мировым именем, известный ботаник-селекционист, академик Н. И. Вавилов, пошедший на каторгу за то, что его взгляды на изменения видов растений не подходили к официальной советской интерпретации диалектического материализма. В Магадане же он и погиб, не перенеся его злого климата...

Единственное, что оправдывает даже с точки зрения советского правительства весь эксперимент со строительством на Колыме, это — золото.

Никаких официальных сведений о размерах добычи последнего на Колыме, конечно, не публикуется. С того времени, как колымские каторжные рудники стали играть большую роль в обогащении советского казначейства, Москва прекратила всякую публикацию данных об итогах работы ее золотопромышленности. Про то, что на Колыме добывают золото, в советской литературе за последние 10-12 лет не имеется вообще никаких указаний. Даже тогда, когда по соображениям рекламного характера, публикуют сравнительно подробные сведения о строительстве на Колыме, про золото молчат. И только из частных источников, — главным образом, по рассказам советских ученых, которые стали невозвращенцами, — мы имеем относительно точные данные по этому вопросу: добыча золота на Колыме во второй половине 1930-х годов дошла до 300 метри-

ческих тонн в год и с тех пор продолжает непрерывно расти. Рост не приостановился за годы войны, — несмотря на то, что в это время количество рабочих временно сократилось: объясняется это усиленно проводившейся в эти годы механизацией производственного процесса, — для чего из Америки было ввезено большое количество усовершенствованных машин. Самые последние сведения заставляют полагать, что после окончания войны, когда число подневольных работников снова стало неограниченным, добыча поднялась до рекордных размеров, едва ли не в 450-500 метрических тонн.

Чтобы понять все значение этих цифр, необходимо напомнить, что годовая добыча золота во всем Советском Союзе, накануне открытия колымских месторождений, не превышала 100 тонн (данные большой Советской Энциклопедии на 1929-1930 годы), и что общая мировая (без СССР) добыча золота накануне войны была немногим выше 900 тонн (данные Британской Энциклопедии). Иными словами, колымские месторождения подняли добычу золота в СССР в 4-5 раз (добыча в других районах выросла очень слабо, а в последнее время, повидимому, даже упала) и довели ее теперь почти до половинны добычи во всем остальном мире (раньше русская добыча составляла от 12 до 14% мировой).

Именно эти цифры объясняют, откуда могли в подвалах московского казначейства собраться те огромные количества золотого запаса, про которые теперь пишет американская печать. Это золото обходится дорого. По приведенным выше цифрам легко увидеть, что на каждую добытую в Колымском крае тонну золота приходится не меньше 700-1000 погибших там человеческих жизней... По человеку за килограмм, — вот нормальная таксировка человеческой жизни на страшной бирже в Магадане!

В 1921 году, на заре большевистской революции, Ленин бросил горделивую фразу о том, как советское правительство, после окончательной победы, будет извлекать пользу из золота: «Когда мы победим в мировом масштабе, — говорил он, — мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах самых больших городов мира»... До победы советской диктатуры «в мировом масштабе», правда, еще далеко; но про Россию Сталин твердит, что там уже полностью осуществлен социалистический строй и что на очереди стоит постепенный переход к строю коммунистическому. И все же золото там играет совсем не ту роль, которую предвидел Ленин. Коммунисты-утописты первого периода революции мечтали

о времени, когда человек перестанет быть рабом золота, — когда он станет владыкой над ним. Коммунисты-«реалисты» наших дней человеческими костями утрамбовывают таежные болота, — лишь бы добыть побольше этого золота! Как много переменилось, как много утекло, — к сожалению, не воды только!

Б. Николаевский.

Ф. И. ДАН

Скончавшийся в ночь с 21 на 22 января в Нью Йорке, на 76 году жизни, Федор Ильич Дан (Гурвич) был последним представителем той небольшой группы выдающихся людей, которая, выйдя на арену общественной жизни около середины 90-ых годов прошлого века, заложила основы общественного движения, оказавшего огромное влияние на все новейшее развитие России. Петербуржец родом, врач по образованию, Ф. И. в 1895 году вошел в состав только что возникшего Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, от которого ведет свое начало организованное массовое рабочее движение в России, и с тех пор в течение почти полу-века жизнь Дана была неразрывно связана с историей рабочего движения и социал-демократии в России. С января 1896 года — после ареста Ленина и Мартова — фактический руководитель Союза борьбы, Дан принял видное участие в руководстве историческими стачками в Петербурге в мае-июне 1896 года и, арестованный в августе того же года, просидел полтора года в Петропавловской крепости, после чего отбыл трехлетнюю ссылку в Вятской губернии. После ссылки Дан выехал за границу, окупился с головой в работу созданной незадолго до того организации «Искра» и по поручению этой организации весной 1902 года вернулся в Россию для подготовки социал-демократического съезда, но вскоре был арестован, опять просидел более года в тюрьме и был выслан на шесть лет в Восточную Сибирь. Тотчас по прибытии на место ссылки Дан бежал за границу, где незадолго до того состоялся социал-демократический съезд, закончившийся расколом партии на большевиков и меньшевиков. Дан с самого начала примкнул к меньшевикам и вместе с Мартовым вскоре стал на десятилетия политическим руководителем меньшевистского течения российской социалдемократии.

Человек огромной энергии и большой воли, отличный оратор, выдающийся журналист, несравненный мастер по вы-

работке партийных документов, Дан — то за границей, то в России — в течение почти сорока лет был бессменным членом центральных учреждений партии, входил в редакции всех сколько-нибудь значительных меньшевистских периодических изданий, был участником, обычно председателем всех партийных съездов и конференций, в годы 1-ой и 2-ой Государственных Дум был одним из политических руководителей социал-демократической фракции Думы. Вновь высланный в октябре 1914 года в Восточную Сибирь, Дан в начале революции вернулся в Петроград, был избран товарищем председателя Исполнительного Комитета Всероссийского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов (председателем был Н. С. Чхеидзе), стал главным редактором «Известий» Совета и в течение восьми месяцев — вместе с И. Г. Церетелли и А. Р. Гоцом — оказывал огромное влияние на всю политику «революционной демократии». 25-го октября (7-го ноября) 1917 года, открыв в качестве председателя 2-ой Всероссийский съезд советов, Дан — после принятия съездом (голосами большевиков и левых с-р-ов) постановления об одобрении только что проведенного большевиками государственного переворота — вместе с остальными меньшевиками покинул съезд. Начался новый, гораздо более тяжелый период в жизни Дана.

Все попытки социалдемократии удержать большевистскую власть от террористического вырождения, отстоять независимость рабочего движения и вернуть страну и революцию на путь демократического развития оказались тщетными. В течение трех с небольшим лет российская социалдемократия еще сохраняла какие-то следы легального существования в качестве партии решительной оппозиции диктаториальному и террористическому курсу советского правительства (большевики с 1917 года перестали называть себя социалдемократами и термины социалдемократия и меньшевизм стали вскоре в России синонимами). В первой половине 1921 года Чека по всей стране «ликвидировала» последние остатки легальных социалдемократических организаций. В феврале того же года Дан был арестован в Петрограде, заключен в Петропавловскую крепость, где четверть века назад он начинал свою тюремную «карьеру», был обвинен в организации рабочих стачек и в «подготовке Кронштадтского восстания» и едва не был расстрелян. После почти годового тюремного заключения — сначала в Петропавловке, затем в московских Бутырках — Дан получил новый «приговор» о ссылке, но голодовкой добился заме-

ны ссылки высылкой за границу. С февраля 1922 года Дан в Берлине редактирует вместе с Ю. О. Мартовым и Р. А. Абрамовичем «Социалистический Вестник». Приход Гитлера к власти заставил Дана (и «Социалистический Вестник») покинуть Германию и переехать в Париж. И в Берлине, и в Париже Дан принимал очень деятельное участие в жизни Социалистического Интернационала и завоевал себе признание в качестве одного из выдающихся вождей международного социализма. Падение в 1940 году Франции привело Дана в Нью Йорк, где он и провел последние годы жизни, последние два года тяжело больной (раком легких), но до конца сохраняющий и живой интерес к событиям, и бурный политический темперамент.



В биографии Дана есть, однако, страницы, которые омрачают обрисованный выше образ и которые нельзя обойти молчанием, подводя итоги жизни этого большого человека. Признанный лидер меньшевизма, в течение десятилетий идейный организатор меньшевизма, Дан прожил последние годы своей жизни в разрыве со своими бывшими товарищами и в непримиримой борьбе с ними. В начале 1940 года Дан сложил с себя обязанности председателя Заграничной Делегации меньшевиков и редактора «Социалистического Вестника» и вскоре основал свой орган — «Новый Мир», позже, в Нью Йорке, «Новый Путь», который все больше черпал свой пафос в борьбе с «Социалистическим Вестником» и с меньшевизмом и постепенно дошел почти до полной капитуляции перед сталинской диктатурой. Как это могло случиться?

Европейское социалистическое движение переживало во второй половине 30-ых годов состояние тяжелой депрессии. Гитлер одерживал одну политическую победу за другой и открыто готовился к войне. Но европейская демократия и европейский социализм явно оказывались неподготовленными к решительной борьбе. Чувство неудовлетворенности сложившимся положением создавало почву для широкого распространения в социалистических кругах надежд на Советский Союз, как на основной «оплот» в борьбе с гитлеризмом. Эта оценка внешне-политического положения располагала к примирительному отношению и к внутреннему развитию Советского Союза и питала иллюзии об автоматическом нарастании в нем элементов демократизма. Дан разделял концепцию о Советском Союзе, как основном оплоте в борьбе против Гитлера, но пока

он отвергал мысль об автоматическом отмирании террористической диктатуры — а он решительно отвергал эту мысль и до разрыва со своими товарищами, и долго после него, — для этого разрыва не было серьезных оснований. Тем более после 23-го августа 1939 года, нанесшего надеждам на руководящую роль Советского Союза в борьбе против Гитлера тяжелый удар. Кризис в меньшевистском центре в начале 1940 года следует поэтому объяснять для данного момента организационными и в значительной степени случайными причинами, и, казалось, меньше всего готовностью Дана капитулировать перед диктатурой. В программной статье «Два пути» в первом номере «Нового Мира» (от 20 марта 1940 года) Дан писал о сталинском режиме:

«В Сталинском единодержавии, формировавшемся в годы индустриализации и коллективизации и отвердевшем по их завершении, большевистская диктатура окончательно отрывается от трудящихся масс и противопоставляет себя им, как политическая форма господства нового привилегированного слоя ('бюрократии'), вышедшего из революции, но уже заинтересованного не только в ее остановке, но и в извлечении социально-революционного 'жала' из ее завоеваний, в консервативно-реакционной переработке их. Поэтому в эпоху Ленинской диктатуры защищать завоевания революции и ее социалистические возможности можно и должно было, не только 'поддерживая' Ленина в определенных случаях, но ориентируясь и на возможность прямого союза ('соглашения') с ними (т. е. большевиками, — С. Ш.), — 'буде условия этого союза дадут социалистическому пролетариату возможность сохранить свое лицо и воздействовать на революцию в направлении к ее освобождению от утопизма и реакционных черт', прибавлял Мартов в последней написанной им статье. В эпоху же Сталинского единодержавия защищать эти завоевания и эти возможности можно и должно лишь в непримиримой борьбе со Сталиным».

Таких высказываний в первых номерах «Нового Мира» было много. Самая страстность их — в свете позднейшего развития Дана и его группы — невольно наводит на мысль, что автор этих решительных заявлений точно боролся с самим собой, пытаясь подавить в себе еретические мысли. Постепенно таких высказываний становилось все меньше, «Новый Путь» все больше сосредоточивал свой огонь на меньшевизме, и после вступления Советского Союза в войну с поразительной

быстротой завершил свою эволюцию. Уже в «декларации» «о германско-советской войне», написанной Даном в самый день нападения Гитлера на Советский Союз, звучали странные ноты: основными задачами, «которые с особой настойчивостью ставит советско-гитлеровская война перед всей международной социалдемократией» (даже не только перед российской, а перед всей международной социалдемократией!) декларация эта объявляет «всемерное содействие победе Советского Союза в войне против гитлеровской Германии» (победе Советского Союза, а не анти-гитлеровской коалиции!) и «борьбу против всяких попыток компромиссного мира или соглашательства за счет Советского Союза» (но не борьбу против «попыток соглашательства» с Гитлером вообще!). Эта установка предопределила всю политику «Нового Пути» во время войны. «Новый Путь» стал органом, безоговорочно поддерживающим внешнюю политику советского правительства в годы войны во всех ее проявлениях, в частности во всех ее анти-союзнических проявлениях и во всех попытках советского правительства вести войну не как коалиционную, а как особую войну Советского Союза. Но Дан вскоре пошел гораздо дальше и вступил на путь полной солидаризации и с внутренней политикой сталинской диктатуры, подвергая одновременно глубокому пересмотру свои старые оценки советского развития. В своей последней книге «Происхождение большевизма», вышедшей в свет незадолго до смерти автора, Дан попытался привести свои новые взгляды в систему. Здесь все получило новую и теперь положительную оценку: и насильственная коллективизация, и знаменитые процессы, и гитлеро-сталинский пакт 23 августа, и, конечно, раздел Польши, и насилие над Прибалтикой, и многое другое вплоть до разгрома — в более ранний период революции — независимого профессионального движения. Над всем изложением господствует в книге Дана идея, будто «внутренняя 'органическая' демократизация советского строя не прекращалась с самого его возникновения». Правда, эта «непрерывная демократизация советского режима не оформлена политически — в смысле закрепления за гражданами свободы высказывания» и пр. Но сейчас, «с исчезновением внутренних и внешних опасностей» и «политическая демократизация» становится и возможной, и настоятельно необходимой. Это, однако, по Дану, отнюдь не должно означать перехода к режиму «парламентской демократии», в основе которого лежит «система политических партий». «В обществе, где нет антагонистических классов», нет места и политическим партиям. В

то же время эта своеобразная грядущая «политическая демократизация» каким-то чудодейственным способом «гарантирует действительно свободное идейное самоуправление», осуществляя таким образом желанный «синтез свободы и социализма». — Во всей этой маниловской концепции диктатура и задача ее преодоления просто выпадают из поля зрения и политическая демократизация Советского Союза представляется каким-то «органическим» процессом, протекающим вне условий общественной борьбы.

Субъективно Дан до конца дней оставался левым социалстом, отстаивавшим идею «политическо-идеологического 'синтеза', пытающегося органически сочетать коммунистический революционный динамизм с социалистическим свободным самоуправлением масс», и лично он отвергал мысль о капитуляции перед сталинской диктатурой. Но объективно он превратился в ожесточенного борца против всякой демократической и социалистической оппозиции сталинской диктатуре, расчищающего путь для подлинных капитулянтов. Сейчас, когда в памяти еще живы события вчерашнего дня, независимая демократическая и социалистическая общественность склонна расценивать Дана по его деятельности в последние годы. Но на весах истории деятельность Дана будет расцениваться иначе, и ошибки последних лет его жизни окажутся ничтожными рядом с огромным положительным итогом его почти полувекового беззаветного служения делу русского рабочего класса и русской свободы.

С. Шварц

БИБЛИОГРАФИЯ

ИВАН БУНИН: «Темные Аллеи». Париж. 1946 г. 325 страниц.
La Presse Française et Etrangère, O. Zeluck, Editeur. Paris.

«Темные Аллеи» включают 38 рассказов, написанных Буниным между 1937 и 1944 годами. Десять из них четыре года назад вышли отдельной книгой под одноименным заглавием в Нью-Йорке (Изд. «Новая Земля»), большая часть остальных были напечатаны в разных журналах, частью в Париже, частью в Нью-Йорке. Но есть в нынешнем издании «Темных Аллей» и рассказы, появляющиеся в печати впервые. Таковы: «Антигона», «Смарагд», «Волки», «Начало», «Визитные карточки», «Кума», «Камарг», «Сто рупий», «Часовня».

Хотя Парижский сборник включил много вещей, созданных Буниным за последние десять лет, нельзя сказать, что он дает исчерпывающее представление о творчестве писателя за последнее десятилетие. Можно пожалеть о том, что в книгу не вошли некоторые рассказы, появившиеся в «Новоселье», как, например, «Три рубля». Тем не менее хочется приветствовать самую попытку издательства собрать в одной книге разбросанные по журналам драгоценные крупницы Бунинского творчества. Русская читающая публика в отношении к Бунину переживает сейчас новую весну. Некоторые отзывы о Бунинском письме, популярные до революции и в первые ее годы, сейчас просто немыслимы. Расцвет читательских чувств связан отчасти с тем, что при большом количестве писателей, число настоящих художников не увеличилось, а даже сократилось. Поэтому в восприятии читателей подлинные поэты и писатели — члены какой-то немногочисленной, убывающей династии художников: критикуя их, они не перестают мысленно озираться: а где же смена, придет ли?

Но чувства читателей к Бунину тесно связаны и с самым характером его творчества. Бунина-художника всегда интересовало сокровенное в человеке, тайное-тайных его души, полнее всего проявляющееся в его отношении к вечным проблемам бытия. Калейдоскоп трагических событий, свидетелем которых был современный читатель, в нем самом обострил интерес к вечному.

И, наконец, самое главное: при всем своем экстенсивном развитии наша художественная проза переживает трудные времена. Бунинская проза, как проза Пушкина и Лермонтова, выросла из стиха, она продолжает и совершенствует классические традиции русской литературы.

Все рассказы сборника от «Темных Аллей» до «Часовни» посвящены одной теме — любви. Чувство это в восприятии Бунина — бесконечно сложнее заглавия сборника. Неслучайно Глебов, герой рассказа «Генрих», говоря, что в женщине есть «нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское», цитирует одну старинную книгу, в которой сказано: «Сочинитель имеет такое-же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном». Взгляд этот, повидимому, разделяет и Бунин. Как ни кажется убедителен довод старинной книги, неслучайно художник слова — по сравнению с живописцем и скульптором — от века ограничен в своих изобразительных правах какой-то внутренней цензурой. Эта внутренняя цензура связана с самой природой матерьяла писателя. Живописец работает краской, скульптор — глиной, их произведения остаются во внешнем мире зримого. Поэт и прозаик работают словом; их образы западают в душу, оказывая иногда решающее влияние на всю психику человека. Велика власть слова и велика власть художника слова, вот почему так много и спрашивается с них. Знает это, впрочем, и Бунин, в своем реализме не переходя каких-то невидимых границ, за которыми начинается натурализм.

При всем богатстве запечатленных в рассказах оттенков любви от бездумно-животного влечения сына дьякона к дурочке («Дурочка»), до мерцающей зеленой звездочки «Позднего часа» — одна черта преобладает в ней. Есть в чувстве любви что-то от непреодолимой силы стихии и не каждому дано вместить ее. Часто любовь — великолепная гроза, разражающаяся над пыльным уездным городишком и становится «непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет и так величественно грохочет мрачное невидимое небо». Ощущение, что любовь — величественная, но кратковременная стихия, оттеняется писателем всем фоном: чаще всего она сопровождается грозой, снежной бурей, весенним ветром, метелью; рассказы об этой любви обрываются на трагической или глубоко-меланхолической ноте — исчезновения, смерти, резиньации. Жить в атмосфере такой любви длительно — смертным, повидимому, не дано...

В. Александрова

KARL KAUTSKY: *Social Democracy versus Communism*. With an introduction by Sidney Hook. Rand School Press. New York, 1946. \$2.00.

О Каутском, как о Ленине, можно сказать, — он умер, но дело его живо. Каутский скончался в 1938 году, но писания его живы в той мере, в какой подлинной реальностью оказывается и сейчас то или иное понимание Маркса и марксизма, диктатуры пролетариата, демократического социализма и т. д.

Был ли Маркс «религиозным типом», как утверждал бывший марксист С. Н. Булгаков до своего обращения в о. Сергия; или величайшим идеалистом и гуманистом, как доказывает Б. И. Николаевский; или оригинальным экономистом-социологом до того, как социология сложилась в науку, как полагает большинство не-марксистов, — имеет, в конце концов, второстепенное значение. Существенно, что споры о марксизме и сейчас, как пятьдесят лет тому назад, продолжают волновать умы и возбуждать страсти, — оказываются тем самым «движущей силой» истории. То или другое истолкование Маркса и марксизма продолжает служить средством борьбы за людские души — за уловление тех, кто считает себя призванным быть выразителем интересов и «чаяний» пролетариата, и за души самих пролетариев.

Поскольку «партия Ленина-Сталина» не перестает апеллировать к писаниям Ленина, Маркса и Энгельса, вместо аргументов довольствуясь цитированием отцов «ленинизма-сталинизма», — имя Каутского пережило самого Каутского. «Ренегат Каутский», как известно, служил для Ленина своего рода «головной турки», по которой Ленин не переставал бить, — по всякому поводу, а иногда и без повода, — когда формулировал свои собственные схемы марксизма. За Лениным и Сталин стал избочивать «смертные грехи главы второго Интернационала», Каутского.

В рецензируемой книжке Д. Н. Шуб и безвременно скончавшийся И. Ф. Шаплин собрали и перевели на английский язык наиболее существенное из написанного Каутским на закате его долгой жизни, в результате длительного наблюдения над большевистским опытом, в 1932—1937 г.г.

Теоретически рассуждая, водораздел между демократическим социализмом и коммунистической диктатурой проходил и проходит по историческо-софской линии: «вводим» ли социализм волевым напряжением людей и групп или он должен «возникнуть» в итоге определенных условий, на известном — экономическом и социально-политическом — уровне исторического развития? Парадоксом русской истории — и русского марксизма — надо считать то, что насильственным «введением» социализма в России занялись преимущественно

но люди, считающие себя единственно правоверными последователями Маркса, тогда как «субъективисты»-народники, в борьбе против большевистской аракчеевщины и пугачевщины, оказались вынуждены подчеркивать объективные условия развития и апеллировать к подлинному марксизму в истолковании главы школы, к Каутскому.

Последний доказывал, что советский социализм не есть вовсе социализм, ибо и возник-то он не от изобилия и «развития производительных сил», а от скудости и отсталости; военнизированный коммунизм — итог не революционного процесса, а разложения, к которому привела внешняя и внутренняя война. То же случилось и с прославленными пятилетками: они были задуманы и проведены, по свидетельству Каутского, для преодоления отчаянного положения, в котором очутилась советская экономика. Новая форма хозяйства — и тем более общества — не может быть создана путем импорта из капиталистических стран новейших машин и более совершенной техники. Новая форма общества предполагает нового человека, которому необходима свобода, а ее никакая диктатура дать не в состоянии. «Порабощение государством не становится еще социализмом по одному тому, что хозяева называют себя коммунистами. Метод диктатуры вообще и пятилетнего плана в частности служит путем не к социализму, а в сторону от него».

Плановое хозяйство обернулось, по выражению Каутского, беспрерывной сменой различных планов, заменяющих и отменяющих один другой в хаотическом беспорядке. Коммунистам удалось несомненно уничтожить старые классы, но создали они не бесклассовое общество, а новые классы вместо прежних. Централизованное советское хозяйство, конечно, отличается радикально от частного капитализма, но оно «не менее далеко от задачи эмансипации трудящихся от эксплуатации и порабощения».

Каутский отлично понял дух большевизма и существо советского коммунизма. Действительность, однако, превзошла и его понимание и воображение. «Коммунизм для нынешних властителей России сделался тем же, чем для царей был пан-славизм, с той оговоркой, что нынешние коммунисты гораздо более послушны московским диктаторам, чем пан-слависты были послушны царям». Каутский не дожил, к сожалению, до недавней, с позволения сказать, мирной конференции. Не мог он, поэтому, предусмотреть и речь Молотова, в которой советский дипломат пытался «интегрировать» коммунизм и пан-славизм для оправдания советского проникновения в «братские» страны (и в не-славянскую Румынию) и покорного послушания с их стороны.

М. Вишняк

В. А. МАКЛАКОВ. Вторая Государственная Дума (воспоминания современника). Париж. 1946.

В новой своей книге, являющейся непосредственным продолжением «Первой Думы» (см. мою рецензию в 12-ой книге «Нового Журнала») и более ранней «Власти и общественности», В. А. Маклаков продолжает свои размышления над политическим прошлым России. Книга эта неизбежно заключает в себе некоторые повторения, поскольку автор снова и снова возвращается к основным положениям своей исторической концепции, но она вносит в эту последнюю и некоторые существенные дополнения. Если в «Первой Думе» центр тяжести лежал в критике стратегии и тактики либеральной общественности, представленной кадетской партией, то во «Второй Думе» В. А. Маклаков уделяет столько же внимания и ошибкам, совершенным представителями власти. Характерно в этом смысле его отношение к Столыпину. В своем признании положительных качеств Столыпина, как государственного деятеля, В. А. Маклаков далеко расходится с установившейся в русских оппозиционных кругах традицией. Столыпин для него отнюдь не «реакционер» («не может быть ничего поверхностнее этого определения»). Напротив, «он был подлинным продолжателем эпохи великих реформ, идеологии Б. Н. Чичерина; как последний, он был поборником либеральных реформ, но и сильной власти». Свидетельство тому В. А. Маклаков видит во внесенной Столыпиным во Вторую Думу законодательной программе, в искренности которой он не сомневается и которой он дает очень положительную оценку. Основывается он и на личных своих впечатлениях: рассказывая о первой своей беседе со Столыпином, он отмечает, что «чувствовал в нем совсем не врага нашему делу, а союзника, с которым столкнуться возможно». Вместе с тем В. А. Маклаков отдает себе отчет и в крупных недостатках Столыпина. Ему не хватало той гибкости, которой обладал Бисмарк. Столыпин «любил итти напролом» и тем «плодил себе лишних врагов». Делая ставку на национализм, он не понимал, что «национальный инстинкт поднимает, когда национальность защищает себя против сильнейших, а не тогда, когда она притесняет слабейших». Главное же, что, борясь с революцией (задача с точки зрения В. А. Маклакова вполне законная), Столыпин применял средства, которые разрушали основы правового порядка. Поэтому, успех его в борьбе с революцией оказался обманчив: «уничтожая одни революционные кадры, он на их место сам готовил другие».

Впрочем, значительную долю ответственности за политическую неудачу Столыпина В. А. Маклаков возлагает не на него лично, а на Николая II и его ближайшее окружение. По образному выражению

автора, «задача Столыпина спасти Государя была задачей спасти утопающего, который в спасителе видит врага».

Если в своей предыдущей книге В. А. Маклаков развенчивал Первую Думу, то Вторую Думу он до известной степени берет под защиту. Правда, он считает, что «она была неудачной и по составу и по своему исключительно низкому культурному уровню». Ценность ее он видит в том, что в ней начинался «здоровый процесс образования либерального рабочего центра», выразившийся конкретно в «отходе кадет от революционной идеологии и продвижении правых к кадетскому центру». Иными словами, во Второй Думе наметился «прообраз» того прогрессивного блока, который фактически образовался только во время войны. Тогда это уже было поздно, но, если бы такой блок образовался раньше, он мог бы, по мнению автора, укрепить конституционный режим в России. С этой точки зрения, В. А. Маклаков считает, что роспуск Второй Думы был большим политическим несчастьем.

Чрезвычайно интересны страницы книги, посвященные рассказу о попытке автора, совместно с С. Н. Булгаковым, П. Б. Струве и М. В. Челноковым, предотвратить уже наметившийся роспуск Думы путем личных переговоров с Столыпиным. Но и помимо этих страниц читатель найдет в новой книге В. А. Маклакова ценные исторические показания, блестящие характеристики отдельных политических деятелей и вдумчивый анализ не утративших свою «современность» политических проблем. Многие из утверждений автора остаются спорными, но они всегда дают богатый материал для размышления.

В. А. Маклаков, повидимому, считает, что «Вторая Дума» завершает его «трилогию». Но хотелось бы думать, что у него найдутся и охота и возможность превратить ее в «тетралогию», написав еще одну книгу и доведя свои «воспоминания современника» до революции 1917 года.

М. Карпович

MARK VISHNIAK. *An International Convention Against Anti-semitism*. Research Institute of the Jewish Labor Committee. New York, 1946. \$2.50.

Книга эта принадлежит к числу тех, содержание которых гораздо шире заглавия. Разбору мысли о конвенции по борьбе с антисемитизмом посвящен только последний раздел последней главы. К своей основной теме автор подводит читателя рядом содержательных и интересно написанных очерков, говорящих об оклеветании евреев в

прошлом, о законодательстве в пользу и против евреев, о борьбе с антисемитизмом в порядке ограждения прав меньшинств и о борьбе с социально-патологическими явлениями в порядке международных конвенций. Возможность и желательность такого приема борьбы с антисемитизмом автор обсуждает по аналогии с международными конвенциями против терроризма и порнографической литературы, из коих последняя, по его мнению, принесла благотворные плоды. Инициатива новой конвенции, по мнению М. В. Вишняка, должна исходить от авторитетных, но частных лиц, чтобы затем быть подхваченной новыми органами международного общения. Сам автор, однако, не решился предложить даже набросок рекомендуемой им конвенции, очевидно в сознании того, что до практического осуществления его мысли пока еще, к сожалению, очень далеко.

Н. С. Тимашев.

МИХ. ОСОРГИН. В тихом местечке Франции. Париж, YMCA—Press, 1946. 223 стр.

В этой книге собраны записи, сделанные покойным писателем во время пребывания его в маленьком провинциальном городке Шабри, в июне — декабре 1940 года. Автор сознательно исключил из них «политику». Это — рассказ о французской катастрофе, как она отразилась в личной жизни и личных переживаниях его самого и окружавших его людей. «Мы — обыватели», настойчиво повторяет автор. Но в устах М. А. Осоргина слово «обыватель» теряет свой одиозный оттенок. Для него это синоним человека — не того абстрактного «среднего человека», на которого любит ссылаться Генри Уоллес, а просто человека, без всяких прилагательных, но зато во всей полноте конкретного существования.

От имени этого человека, который для него является единственной подлинной реальностью в нашем мире, М. А. Осоргин, на страницах своей книги, ведет тяжбу с «парадной историей». «Мировые события» ему не импонируют. Вспоминая слова Тютчева — «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые», — он не может сдержать своего негодования. «Какой вздор! — восклицает он. — Такой человек глубоко несчастен. Да будут прокляты роковые минуты (если бы минуты — года) мира! Да будут благословенны дни ничем в истории не отмеченные!». В другом месте он пишет: «Я был бы безмерно счастлив, если б однажды, проснувшись, мог узнать, что мне только приснился дурной сон, что мы продолжаем жить в старом мире старой жизнью мирных обывателей, не обогащая историков никаким материалом».

Автор не боится признаться, что в основе его восприятия «миро-

вых событий» лежит усталость — усталость от «жизни, составившейся из кусочков: все, что окружает, что становится близким и дорогим, внезапно рассыпается и исчезает — люди, вещи, навыки». Едва ли это признание может обесценить его мироощущение. В конце концов, почему человек не имеет права на усталость и, в еще большей мере, на отдых? Книга М. А. Осоргина трогает и волнует именно потому, что выраженные в ней чувства в той или иной мере разделяются нами всеми, разделяются миллионами людей — вероятно, подавляющим большинством человечества. Независимо от всяких теоретических соображений, этим она оправдана — как оправданы и восстание Руссо против цивилизации, и бунт Белинского против гегелевской «всеобщности», и анти-историзм Толстого, и гневные тирады Ивана Карамазова-Достоевского. В дни, когда это нужно больше чем когда либо, она напоминает о древней и вечной истине, что не «человек — для субботы, а суббота — для человека».

М. К.

О «ТРЕТЬЕМ ЧАСЕ»

(Письмо в редакцию).

В удушливой атмосфере споров и полемик «на злобу дня», люди и дела человеческие размещены по клеткам, внесены в категорию того или иного «враждующего лагеря». Г. П. Федотов, повидимому, счел необходимым внести и сотрудников «Третьего Часа» в заколдованный круг этих споров и полемик.

Не имея обыкновения возражать на критики, автор настоящих строк и на этот раз воздержался бы от ответа, если Г. П. Федотов удовольствовался бы в своей оценке «Третьего Часа» нападками общего характера. Но библиографическая заметка Г. П. в ном. 14-ом «Нового Журнала» создает ряд весьма серьезных недоразумений, которые необходимо рассеять как в отношении меня лично, так и в отношении моих сотрудников. Лишь после этого читателям «Нового Журнала», которые не все являются читателями «Третьего Часа», станет ясно, каковы цели и устремления этого религиозно-философского, а не политического сборника.

Г. П. ставит нам в вину, что мы не только все ученики Н. А. Бердяева (заявление весьма спорное, ввиду разнообразного состава наших сотрудников, но которое по существу едва ли может восприниматься как «аттестат на неблагонадежность»). Наш критик ставит нам еще в вину, что наши позиции простираются будто-бы между двумя полюсами: Бердяевым и Москвой, что наш голубь не то крас-

ный, не то серебряный, и что, наконец, один из нас вложил в уста Владимира Соловьева грамфонную пластинку с патриотическими лозунгами, сфабрикованными в Кремле. Да и сам Соловьев изображен у нас чуть ли не представителем славянофильского эпигонства, а пишущий о нем погрешен в патриотизме. *tout court*, т. е. по мнению Г. П., вероятно самого дурного тона.

Поистине обличения Г. П. Федотова так же тяжелы, как и многообразны. Начну с ответа относительно статьи о Соловьеве, которую писала я, и за которую несу полную ответственность. Г. П. меня упрекает в том, что я изобразила Владимира Соловьева националистом, тогда как он был на самом деле универсалистом и боролся против славянофилов. Но в авторе «Оправдания Добра» причудливо сплетались два начала: универсальное и русское. Он был представителем и вселенских устремлений, и русской национальной (не националистической, конечно) идеи. В моей статье я привела ряд цитат о русской национальной духовной мощи именно из писаний Соловьева, вызванных его полемикой со славянофилами («Национальный вопрос в России»). При этом я специально подчеркнула, что Владимир Соловьев с одной стороны клеймил «националистическое идолище», с другой — высоко ставил подлинное национальное сознание и способность к национальному строительству, выявленную русским народом.

Ибо тут и кроется недоразумение: Г. П. всюду, читая мою статью, заменил понятие о народе понятием о государстве, понятие о русской народной обороне — понятием о русской военно-государственной машине. Я писала: «Без духовной мощи русского народа (в 1941—1944-м годах) техническая и военная мощь не спасла бы Россию». А главное, вместо ликующих песнопений, я указала на огромные, до сих пор еще не вполне учтенные, жертвы, ценой которых русский народ победил Гитлера. Об этом нельзя, казалось бы, забывать и молчать, какова бы ни была оценка ныне происходящего в России.

В отношении к другой статье в «Третьем Часе» происходит под пером Г. П. дальнейшее смещение. В очерке А. Л. Казем-Бека, «Почин Стефана Пермского», Федотов усматривает лишь один факт: в освещении Казем-Бека, Св. Стефан Пермский ездил на поклон в Москву, тогда как на самом деле просветитель русского Севера был в конфликте с Москвой. Получается впечатление, что во дни Стефана Пермского Москва была уже настолько тоталитарной, сталинской, что поклонение или непоклонение этому «идолищу» являлось конечным критерием деятельности человека, и даже святого. А между тем Казем-Бек писал ведь специально не об отношениях Стефана Перм-

ского с Москвой, а о его «почине», т. е. о подвиге великого просветителя и святителя.

Таким методом, в полемическом пылу, вольно или невольно искажаются перспективы, намеченные «Третьим Часом». Даже голубь на обложке освещается зловещим заревом, когда на самом деле он был создан, чтобы отражать профетические зори Соловьевского неба.

Достаточно вчитаться в страницы сборника, чтобы убедиться, что он насыщен не националистическим, и даже не чисто русским национальным, а вселенским пафосом. И по составу сотрудников, и по выраженным ими идеям. «Третий Час» преследует в плане вселенском двойную цель: поиски новых путей для оживления духовной жизни повсюду, и общее дело представителей всех стран и христианских религий для сближения Церквей и их конечного соединения. Очевидно, что такое общее дело не связано с той или иной политической, государственной или социальной системой. Одна только проблема — братство, все-единство, обще-человечество в Духе, — стоит в центре работы «Третьего Часа». Эта работа ведется не в порядке шумных дискуссий, а в кружках и личных беседах, в тиши закрытых собраний; лишь самые первые результаты этих экспериментальных трудов предложены читателю на страницах сборника, который, согласно плану редколлегии, будет выходить постепенно на разных языках, отражая духовные искания и настроения разных стран и народов. Другими словами, «Третий Час» является чем-то вроде студии или лаборатории духа. В нем возможны промахи и недочеты, возможны неудавшиеся или незаконченные опыты, но невозможно подчинение какому-либо тоталитарному мировоззрению. Убеждать в этом не приходится хотя бы потому, что не стоило бы создавать студии и лаборатории духа, чтобы вырабатывать заново давно обанкротившиеся формулы, ничего общего с духом не имеющие.

Елена Извольская.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

•

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.

Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

•

Адрес редакции и конторы:

Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка
